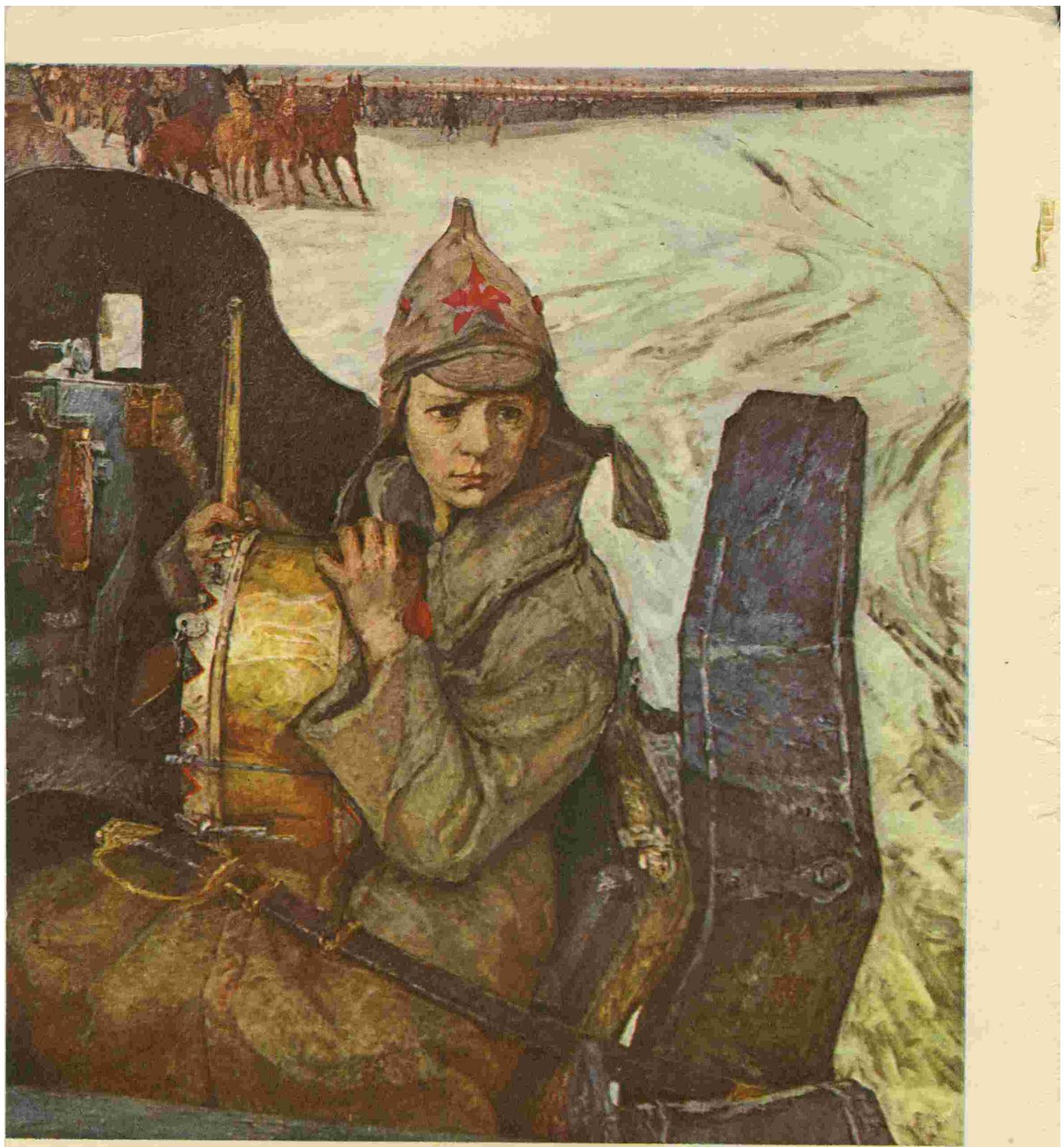




ЮНОСТЬ

9

1968

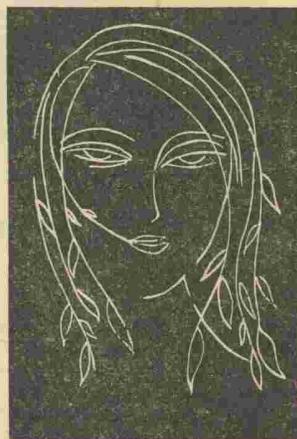


А. МАЗИТОВ.

Барабанщик.

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



ГОД ИЗДАНИЯ
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

9

[160]

СЕНТЯБРЬ
1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПЯТЬДЕСЯТ
КОМСОМОЛЬСКИХ ЛЕТ

Б. ПАСТУХОВ. Герой нашего времени. 2

● ПРОЗА

Иосиф ГЕРАСИМОВ. Двадцать второго. Повесть

П. БАГРЯК. Месть. Приключенческая повесть. (Окончание) 11

● ПОЭЗИЯ

Петрусь БРОВКА. Ровесники. (Перевел с белорусского Я. Хелемский) 9

Расул ГАМЗАТОВ. Грода, «Сегодня ночью было мне виденье...». Помогите! Прости. Перевели с аварского Я. Козловский и Н. Гребнев

Мухамед САДРИ. Моя отчизна. (Перевел с татарского Вл. Савельев) 9

САЙЯР. Мой стих... (Перевел с узбекского А. Глезер) 39

Владимир ГОРДЕЙЧЕВ. Курортная баллада. Горные вершины... 39

Джемс ПАТТЕРСОН. Обращение к веку

Николоз БАРАТАШВILI. Мерани. Злобный дух. Одиночная душа. Моим друзьям. Раздумья на берегу Куры. (Перевел с грузинского Ю. Ряшенцев) 66

Натан ЗЛОТНИКОВ. «Октябрьским лесом утомлен...», «Когда ты уезжала и когда...», «Еще не снился первый лед...», «Звезда горит средь бела дня...», «Легко оставил я стальщех...», «Деревянный Звенигород канет...», «Печально, друг, на этом полустанке...», «Ничто не изменится все же...», «Забытый сад. Я холодею...», «Все чаще, все легче, все чище...» 68

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ. Из книги «Кинематограф»: Тревожное отступление. Как показать зиму. Взаимосвязи. Как показать весну 69

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Е. ЛИПИНСКАЯ. Границы и грани 65

● ПУБЛИЦИСТИКА

В. СУХОМЛИНСКИЙ. Моя педагогическая вера 71

М. ШУР. В школе у Сухомлинского 72

Юрий ТЕПЛЯКОВ. Понедельник — день счастливый 76

Анастас МИКОЯН. Бакинское подполье при английской оккупации (1919 г.). Из воспоминаний 88

● КИНО

Лев РОШАЛЬ. Мгновение и время. (Заметки о документальных фильмах) 82

● ТЕАТР

Рена ШЕИКО, Нина ПЛЕХАНОВА. Уланова 100

● ДЕБЮТЫ

Катя НОВИЦКАЯ: «Прежде всего — искренность» 103

● СРЕДИ КНИГ

Маленькие рецензии и аннотации 104

Борис СЛУЦКИЙ. О Хармсе 106

● СПОРТ

Дмитрий РЫЖКОВ. дважды два — пять 107

● ПЫЛЕСОС

Марк РОЗОВСКИЙ. Слава. 109

Галка ГАЛКИНА. Я к вам пишу... Открытое письмо редакторам пекинской газеты «Гуанминь жибао» 110

На 1-й—4-й страницах обложки рисунок В. БОГАТКИНА.

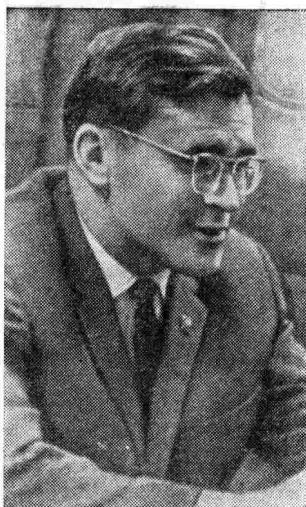
Художественный редактор Ю. Цишинский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. 255-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00467. Подп. к печати 16/VIII 1968 г. Формат бумаги 84×108^{1/16}. Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 1620. Заказ № 1923.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Борис Пастухов,

секретарь Центрального
Комитета ВЛКСМ

ГЕРОИ

Иногда думается: а почему бы нам не создать антологию комсомольских биографий? Такую, в которой судьбы разных людей, живших и боровшихся в различное время, сливаются в единый поток, образно и документально составили бы биографию комсомольских поколений? Это была бы уникальная книга. Перед читателем предстал бы огромный мир нового существования жизни, новой морали, мир возвышенных идеалов. Такой книги пока нет. Да и создать ее, видимо, не просто: комсомольцы разных поколений никогда не заботились об увековечивании своих имен. Они учились и работали, боролись и побеждали, меньше всего думая о славе. На огромных просторах Родины живут и трудятся поколения, взращенные Коммунистической партией. Их характер ковался год за годом, каждая эпоха добавляла в него что-то от себя; закаливали этот характер революционные бури, борьба за счастье народа.

Ленинский комсомол — это гигантский сплав мысли и дела многомиллионного юношества, это союз, который мог возникнуть и окрепнуть только в борьбе за самые прогрессивные идеалы — коммунистические. Богата комсомольская летопись славными делами. Каждое поколение оставило в ней поистине замечательные страницы. Попробуйте, например, сказать, какой год из пятидесяти был наиболее ярким и героическим. Труд, борьба, подвиг стали уделом всех комсомольских поколений. Все пятьдесят лет ВЛКСМ честно, искренне, с юношеской смелостью и энергией служат коммунизму.

За пять десятилетий Коммунистический союз молодежи вырос в массовую, монолитную, многомиллионную организацию. Нет в мире молодежного союза с таким высоким уровнем образованности, профессиональной подготовки, культуры, как наш.

Первые комсомольцы на своих собраниях, заглядывая в будущее, спрашивали: какими будут те, кто придет нам на смену?

Так каковы же те, кто ныне шагает в комсомоль-

ских рядах? Что роднит, к примеру, строителя Братска, ударника тридцатых годов и юного красногвардейца революционного Петрограда?

Те, кто был первым, как святыню завещали будущей смене неустанные, последовательные, настойчивые борьбу за осуществление коммунистических идеалов. Те, кто был первым, определили место молодежного союза в строю борцов за коммунизм: всегда на линии огня, на посты, указанном партией. Они закладывали основы наших нравственных принципов, комсомольского отношения к жизни. Их посев дал обильные всходы. Советский строй явился той плодотворной почвой, на которой выросли поколения молодых людей, беззаветно преданных делу партии.

Менялись высоты, которые необходимо было брать штурмом, уточнялись цели, вступали в бой новые резервы, совершенствовалось оружие. Поход, который протрубыли трубачи полвека назад, не прекращался. Это был поход во имя будущего, и маршрут его пролегал через поля сражений, через заводы и фабрики, тундру и тайгу, пустыни и хлебные стели.

Светлые цели рождали прекрасные дела. В боях и труде формировался новый тип молодого человека — юного коммуниста, борца, созидателя. Строитель Братска ушел далеко вперед по сравнению со своим ровесником — красногвардейцем Петрограда. Ушел далеко вперед и наш союз, ставший большой общественной силой, политической организацией молодежи, масштабы деятельности которой трудно измерить. Даже по отдельным примерам виден этот рост. Первая всероссийская мобилизация комсомола в 1918 году дала фронтам гражданской войны 3 тысячи юных бойцов, не считая отправленных местными комитетами. В первые три дня Великой Отечественной войны 900 тысяч комсомольцев по мобилизации ЦК ВЛКСМ встали в ряды защитников Родины от фашистского нашествия. В 1954—1956 годах осваивать целинные земли по комсомольским путев-

НАШЕГО ВРЕМЕНИ



кам отправилось 350 тысяч юных энтузиастов. За последние несколько лет на новостройки Сибири, Дальнего Востока, Севера было послано по комсомольским путевкам 2,5 миллиона юношей и девушек. Раньше счет шел на тысячи, сейчас — на сотни тысяч и миллионы.

Но разве дело только в количественном росте! Комсомол в социалистическом обществе стал необходимой и признанной школой политического, гражданского воспитания молодых поколений. Его главной задачей, возложенной на него партией и обществом, является обучение молодежи коммунизму. Эта задача не изменилась все пять десятилетий, она продиктована условиями, в которых мы живем и боремся. Об этом очень точно и емко сказал В. И. Ленин на III съезде РКСМ.

Если раньше комсомолец учился коммунизму в огне классовых битв, с винтовкой в руках, то сегодня он коммунизму учится в мирном труде, на заводе, фабрике, в колхозе и совхозе.

Если раньше комсомолец утверждал коммунистические идеи в бою с белогвардейцами и интервентами, то ныне поля его «сражений» — экономика, культура, наука.

Вспоминаются резолюции первых комсомольских собраний: «добраться, чтобы коммунизм в нашей древне восторжествовал в течение десяти лет...», «каждому комсомольцу подготовить себя идейно и нравственно к жизни в коммунистическом обществе...», «с целью оказания помощи в развертывании мировой революции всем членам ячейки изучить немецкий язык...». Вспоминаются заповеди, которые сообща, коллективно вырабатывались комсомольцами в первые годы. Среди этих заповедей и такие, как «привозгласить коммунистическое отношение к девушкам, как товарищам по общему делу...», «все силы, имущество и приобретенные средства отдать коммуне...», «запретить ношение галстуков, являющихся символом буржуазного мира...» и т. д.

Пусть некоторые из этих заповедей и резолюций

звучат наивно, пусть не всегда были они продиктованы действительными нуждами Коммунистического союза молодежи. Но разве не веет от них юношеской чистотой, раскованностью мысли, стремлением все подчинить единой цели — борьбе за будущее? А ведь надо вспомнить: принимались эти заповеди и резолюции тогда, когда в нашем союзе было в несколько сотен раз больше винтовок, нежели бактерий; из 602 делегатов III съезда РКСМ у 300 было низшее образование, у 70 — «домашнее, прочее, неизвестное»...

И сейчас, рассматривая фотографии прошлых лет, мы остро чувствуем свое кровное родство с парнями в буденовках, с шахтерами, пришедшими в степь донецкую, с теми, кто встречал Чкалова и челюскинцев.

Мне хотелось бы рассказать о впечатлениях от недавней встречи в Краснодоне. На юбилей подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» собрались представители разных комсомольских поколений: изотовцы, стахановцы, воины и те, кто сегодня продолжает их традиции. Герои труда и боев встретились под легендарным молодогвардейским знаменем.

Свыше 25 лет назад танкисты генерала Лелюшенко, овладев Краснодоном, открыли миру «Молодую гвардию». «Комсомольская правда» писала 14 сентября 1943 года: «Вглядись в портреты отважных организаторов «Молодой гвардии», товарищ! Ты видишь, как молоды они. Самому старшему из них было всего девятнадцать лет. У них еще не было жизненного опыта, тем более не было опыта подпольной работы. Но у них было могучее оружие, дающее человеку великую силу в борьбе, помогающее преодолеть самые тяжкие испытания: в их сердцах жила безграничная, неиссякаемая любовь к Родине, твердая вера в нашу победу, преданность партии».

В годы войны действовало немало подпольных молодежных организаций: на Украине, в Белоруссии, в Латвии, Литве, Псковской области. О многих из замечательных героев мы узнали лишь после войны. «Молодая гвардия» не была чем-то исключительным. Она оказалась тем идеальным примером, в котором мы находим собирательные черты, свойственные всей советской молодежи. Александр Фадеев писал о поколении молодогвардейцев, что самые, казалось бы, несоединимые черты — мечтательность и действенность, полет фантазии и практицизм, любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям земным и самоограничение — все они вместе создали неповторимый облик этого поколения.

Можно смело утверждать, что лучшие черты нравственного мира молодогвардейцев мы найдем и у их предшественников по Коммунистическому союзу молодежи и у их преемников. Преклоняясь перед героизмом комсомольцев Краснодона, мы понимаем: они особенно близки нам тем, что были самыми обычными ребятами. Они не ведали об испытаниях, которые выпадут на их долю, они специально не готовились к ратному делу. Они просто жили, учились, мечтали. И в то же время их поведение в грязный час не было случайным, оно определялось всей их мирной жизнью, и ее воспитанием, мировоззрением, всей социалистической действительностью. Советская жизнь дала им закалку, воспитала в них твердость духа, пламенный патриотизм.

«Молодая гвардия» явилась закономерной, ярчайшей, неповторимой страницей в бесконечной повести комсомольской доблести. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить те страницы, которые предшествовали этому подвигу.

В мае 1932 года рабкор «Молодого рабочего» (газета донбасских комсомольцев) сообщает:

«Собравшись в комитете комсомола, молодежь шахты «Кочегарка» встретилась с Никитой Изотовым. Решено было создать первый в Донбассе комсомольско-молодежный участок, который будет изотовской школой для молодых горняков. Никите Алексеевичу такое комсомольское дело пришлось по душе, и он дал согласие возглавить начинание шахтерской молодежи.

Через несколько месяцев ученики уже работали не хуже учителя. Вся страна узнала об изотовской школе. Лозунгом стало: «Найти, воспитать тысячи Изотовых!»

И нашли, воспитали...

На шахте «Центральная-Ирмино» в Кадиевке забойщик Алексей Стаканов на комсомольском участке за 5 часов 45 минут при норме 7 тонн добыл отбойным молотком 102 тонны угля...

Через тринадцать дней ученик Изотова Федор Арtyухов втрое превысил рекорд Стаканова. Изотов заявил, что хотя Стаканов и молодец, но он его побьет. И побил: дал за смену 240 тонн. Но рекорд продержался недолго: комсорг «изотовского участка» А. Степаненко «ахнула» 552 тонны... Никита перекрыл и это достижение — 640 тонн за 6 часов...

Так трудились предшественники молодогвардейцев.

Новую страницу шахтерской славы открыли пятидесятые годы. Герой Социалистического Труда Кузьма Северинов продолжил изотовские и стакановские традиции. Он выдвинул лозунг: «Ударничество плюс сила коллектива». Этот лозунг был горячо поддержан молодежью.

В наши дни широко известно имя шахтера Анатолия Сокола. Анатолий — депутат Верховного Совета УССР, член ЦК комсомола Украины. Он учится за-

очно на четвертом курсе политехнического института. Анатолий стал инициатором внедрения новейших методов труда. Это рабочий, который широко применяет в труде инженерные знания; его помощниками стали самые современные машины. Рабочий и государственный деятель, рабочий и студент, рабочий и новатор — все эти качества соединились в одном человеке, нашем современнике.

В буднях повседневной жизни всегда труднее выделить и осознать героическое начало. Для этого иногда полезно взглянуть на жизнь с более высокой отметки, «примирить» ее к прошлому и будущему. Мы живем в мирное время, и героизм трудовой отличается по своему характеру от героизма в бою. Но всегда героический поступок является не случаем, неожиданным порывом; как правило, он отражает сущность человека, его жизненную позицию. Основы всего этого закладываются в повседневной жизни и лишь проявляются в решающий миг.

Вот примеры, взятые нами из сегодняшней жизни молодежи Луганщины, — они подтверждают готовность нашего поколения к подвигу во имя счастья, во имя Родины. Не так давно были награждены правительственные наградами комсомольцы Прохоренко и Лихобабин. Когда в помещении электрораспределительного пункта одного из цехов Северодонецкого химкомбината произошел взрыв, они с риском для жизни проникли в горящее здание и накрыли фонтанирующий факел асbestosвыми листами. Разве Прохоренко и Лихобабин не братья молодогвардейцев?

Братом молодогвардейцев по мыслям и духу стал молодой луганский шахтер Владислав Титов. Спасая от аварии в шахте товарищей, он потерял обе руки. И выстоял, выдержал, не сдался в борьбе с бедой. Его повесть «Всем смертям назло» (она была впервые напечатана в «Юности») пронизана оптимизмом, верой, радостью жизни. Да, это человек поистине корчагинской плавки, молодогвардейской застали. В нем соединились огромная сила воли, подлинное богатство духовного мира, жажда действия, в нем сплавились воедино геройзм прошлых и нынешних лет. Владислав Титов восхищается молодогвардейцами. И, наверное, будь живы герои «Молодой гвардии», они бы так же восхищались Владиславом Титовым.

В прошлом году в музее «Молодой гвардии» побывал двухмиллионный посетитель. Молодые люди приходят сюда, чтобы приобщиться к подвигу, прикупить к его родникам. Они уносят отсюда колоссальный заряд жизненной энергии.

Половицы музея стерлись — идут и идут сюда те, кто стал наследником молодогвардейцев. Связь времен крепка. Именно поэтому подлинно массовым стало стремление молодежи прикоснуться к героическому прошлому, достойно продолжить и умножить славу прошлых лет.

И все-таки, наверное, неправильно забывать, что время быстрее всего вносит коррективы именно в облик молодежи. Речь идет не столько о внешних приметах времени — манере поведения, одежде и т. д., — сколько о глубинных процессах, отражающих богатство внутреннего мира человека.

Комсомол возник как союз пролетарского юношества. Боевой организацией трудящейся молодежи он остается и по сей день. Но в среде этой молодежи за годы Советской власти произошли колоссальные изменения. Она не просто овладела грамотой и культурными навыками, она поднялась на ту ступень,

с которой начинается штурм вершин науки и культуры.

Свыше 4 300 тысяч членов ВЛКСМ — рабочих и колхозников — учатся без отрыва от производства в высших и средних специальных учебных заведениях. Ежегодно около 2 миллионов человек участвуют в движении рационализаторов и изобретателей, а ведь для этого требуется довольно высокий уровень инженерно-технических знаний. В ВЛКСМ огромный отряд молодых специалистов различных профилей. В то же время каждый второй комсомолец на вопрос о своем происхождении с гордостью отвечает: рабочее.

Герой нашего времени, как в зеркале, отражает нравственные, идеальные, гражданские качества всего поколения. Это не молодой фанатик, каким его иногда тщится изобразить буржуазная печать. Это не нравственный неврастеник, которого некоторые литераторы заставляют блуждать в трех идеальных сосновых. Подлинный герой молодежи вышел из ее масс, впитал в себя все то лучшее, что дается нашей действительностью, советским образом жизни. Его отличают высокая идеальность и интеллигентность, культура и самоотверженность в выполнении своего долга, красота действия и мысли. Медицинская статистика утверждает, что современная молодежь на несколько сантиметров «подросла» по сравнению с предыдущими поколениями. К сожалению, нет таких цифр, которые как-то отражали бы нравственный и идеальный рост юношества. С своеобразным идеологическим барометром могла бы служить реакция молодежи на волнующие общество коренные проблемы. А такая реакция общеизвестна: она всегда конкретна и действенна.

В комитеты комсомола поступают заявления от парней с просьбой послать их во Вьетнам. На комсомольские субботники в фонд борющегося Вьетнама выходят миллионы юношей и девушек. Выходят и работают в полную силу, чтобы братья по классу могли еще успешнее бороться с империализмом. От вокзалов уходят поезда с комсомольцами-добровольцами покорять дикую природу, строить новые города. В комсомольских организациях идут бурные митинги, требующие положить предел поискам антисоциалистических сил где бы то ни было.

Много лет назад разлапистый тихоход «Колумб» высадил на дальневосточную землю группу ребят и девчонок. Киркой и лопатой, топором и пилой они создали новый город и назвали его Комсомольском. Комсомольск был первым в стране городом юности, он стал ныне городом-символом комсомольской славы. Комсомольск был и остается для нас примером, мы всегда будем восхищаться его строителями. Он стал, говоря образно, гнездом орлят, в котором были воспитаны сотни героев, известных всей стране. Алексей Маресьев, настоящий человек, провел там свою юность.

Сегодня новый Комсомольск может быть построен в десятки раз быстрее. И все для него — от проектов до мебели — может быть изготовлено комсомольцами. ВЛКСМ сейчас шефствует над строительством крупнейших индустриальных гигантов, современных городов, электромагистралей, газопроводов.

В 1968 году ударных комсомольских строек — 96, в том числе 8 таких, над которыми шефство объявлено впервые: Приморская ГРЭС, Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, газопровод Север — Центр, нефтепровод «Дружба» на Украине, железная дорога Асино — Белый Яр, Каховская оросительная система, Красноярское водохранилище и рисовые системы.

Наверное, можно с предельной точностью под-

считать экономический эффект шефства комсомола над ударными стройками. Он составляет весьма ощутимый вклад в общенародное дело строительства коммунизма. Но не менее важен огромный потенциал юношеской энергии, мужества, который там создается.

Строительство современных промышленных комплексов — дело не простое. Возникает немало трудностей, вызванных и объективными и субъективными причинами; нередко приходится принимать решительные меры для нормализации условий труда и быта молодежи. Но никакие трудности еще не помешали комсомольцам досрочно сдать подшефные объекты в эксплуатацию. Ибо в ударном строительстве ВЛКСМ опирается на самое ценное качество — энтузиазм молодежи. Основной состав комсомольцев-добровольцев — это молодые люди, глубоко убежденные в полезности своего труда на самых передовых позициях. И комсомольские стройки становятся для них школой политического и гражданского мужания.

Возникает вопрос: только ли юношеская романтика ведет парней и девчонок в дальние края? Такое объяснение наиболее употребляемо, наверное, потому, что общепринято. Но романтика давно перестала быть географическим понятием. Романтика обрела постоянную прописку в научных лабораториях, заводских цехах, на полях, в сфере обслуживания — везде, где идет поиск, где бьется живая мысль.

«Биография» нашей романтики уникальная, единственная в мире. Сегодня она вмещает огромный мир человеческих чувств, лучших мечтаний, дерзких планов. Где-то у самых ее истоков — комсомольское «надо!», решимость сражаться и трудиться везде, где это требуется народу.

Комсомол за пять десятилетий внес весьма существенные корректировки в философию подвига. Подвиг перестал быть уделом единиц. Он стал нормой поведения, жизни миллионов молодых людей, а возможностей совершить его — непочатый край.

Перелистайте учебники истории. Среди героев разных времен и народов — воины, полководцы, богатыри. И вдруг перед изумленным миром предстал герой нового времени — рабочий, строитель, хлебопашец. Страна, где труд был провозглашен делом чести, доблести и геройства, родила новый тип героя. Самым популярным стало слово «ударник». И естественно, что в шеренгу лучших шагнули многие комсомольцы.

У моральных ценностей другой запас прочности, нежели у ценностей материальных. Сдан в музей времени отбойный молоток Алексея Стаханова, стали историческими реликвиями «фордзоны», на которых перепахивали кульевые межи первые трактористы. Шахтер добывает уголь комбайном. Механизаторы Кубани выводят на поля современные мощные тракторы. А энтузиазм, рожденный Стахановым, Евдокией и Марией Виноградовыми, Марией Демченко и Пащей Ангелиной, стал точкой опоры для дальнейшего взлета, стартовой площадкой будущих подвигов, горизонты которых очень широки.

Сейчас специалисты уже тщательно изучили, за счет чего ударники первых пятилеток могли добиваться таких великолепных результатов. Называют и повышение технической грамотности, и новые методы организации труда, и многое другое. Но, вне всякого сомнения, принцип ударничества в те годы основывался на максимальном использовании личных резервов мужества, на том, что человек весь, до конца отдавался делу. В практике мирного строи-

тельства формировалась философия трудовой доблести как высокого проявления советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Труд переставал быть только средством для достижения материальных благ, он становился призванием человека. Молодые поколения вступали в жизнь под знаком серпа и молота. Один за другим следовали походы комсомола: за культуру на селе, всесоюзный поход за урожай, за высокую техническую грамотность и т. д.

Под руководством партии комсомол бросал свои лучшие силы на ударные участки социалистической стройки. Это были уже не кратковременные атаки, а решительное наступление по всему фронту.

В годы войны ударничество стало нормой жизни каждого. Фронт и тыл соревновались: и для тех и для других высшим критерием стала победа. Фронтовые комсомольско-молодежные бригады помнили опыт мирных дней на боевые тревоги военного времени.

Сейчас вступило в трудовую жизнь поколение, которое не знало войны. Оно родилось и выросло после салюта Победы. Молодые на мирных учениях овладевают наукой солдатской славы. На Западе много пишут о том, что в нынешних условиях в военных конфликтах решающее слово будет принадлежать технике. Мы гордимся, что усилиями партии и народа наши Вооруженные Силы оснащены новейшим боевым оружием. Но не менее гордимся и тем, что у пультов ракет стоят молодые люди, вооруженные высокой идеей, опытом прошлого, верностью будущему.

Наши дни внесли новые поправки в принцип ударничества. Комсомол стремится расширить его действие на все сферы жизни и деятельности молодежи. Опыт подсказывает: сейчас уже нет необходимости собирать комсомольцев со всей страны для решения той или иной задачи; то, что раньше было по плечу союзу в целом, сегодня под силу отдельным его отрядам. Очевидно и другое: сейчас у каждой организации должен быть свой фронт ударных работ. Речь идет не только о стройках. В одних случаях — это борьба за высокое качество продукции, в других — механизаторский всеобуч, в третьих — сельские клубы-спутники и т. д.

При таких масштабах деятельности необходимо постоянно заботиться о том, чтобы каждая комсомольская организация день ото дня становилась крепче, росла организационно и политически. Научный подход, анализ условий деятельности, учет интересов различных категорий молодежи, прогнозирование результатов — все это сегодня стало составной частью понятия «комсомольская работа». Умение выбрать главное направление, привлечь к нему внимание молодежи, мобилизовать усилия комсомольцев для достижения поставленных целей — прежде всего в этом заключается искусство комсомольской работы.

В первые годы жизни комсомола буржуазная печать изощрялась в остроумии по поводу революционного энтузиазма комсомольцев. Сейчас создано немало служб, которые пытаются выяснить истоки силы комсомола, выискивают его слабые стороны, яростно нападают на ВЛКСМ. «Комсомол — это коммунистическая школа, из которой вышли Космодемьянская, Кошевой, Матросов», — констатировала одна из буржуазных газет. Очень лестное для нас определение, оно довольно правильно выражает смысл деятельности ВЛКСМ. Мы всегда стремились и стремимся к тому, чтобы, когда это требуется Родине, в ряды ее защитников становились тысячи Космодемьянских, Кошевых, Матросовых.

Юдей дерзновенных дали все поколения комсомольцев. Комсомол возник в бою для труда.

Это не просто звучная фраза — первые комсомольцы в перерывах между боями мечтали о том времени, когда смогут учиться, строить паровозы, обрабатывать землю. Создательный труд на благо народа — таким видели будущее комсомола наши предшественники. И когда Владимир Ильич Ленин с трибуны III съезда РКСМ призвал молодежь учиться, призыв этот попал на почву, подготовленную всей недолгой тогда историей ВЛКСМ. Учиться коммунизму для того, чтобы лучше, успешнее его строить — многие поколения вошли в жизнь, руководствуясь этим заветом.

Ныне комсомол учится коммунизму, участвуя в решении намеченных партией экономических задач, в вузовских аудиториях, на ударных стройках. Он в буквальном смысле перешел из приготовительного класса в высшую школу. В этом процессе, пожалуй, и заключается объяснение массовости героизма молодежи. Можно с полным правом говорить о героическом характере молодого поколения, воспитанного партией и народом.

Сегодня политическая атмосфера накалена до предела. Идет сражение против оголтелого, бешеного антикоммунизма, против оппортунизма и догматизма. Империалисты предпринимают концентрированное наступление на единство социалистического содружества, пытаются взорвать его изнутри. В то же время мы стали свидетелями значительных побед пролетариата, одержанных в классовой борьбе с капиталом. Всех честных людей планеты восхищает мужество вьетнамского народа, борющегося за свою независимость.

Анализируя политическую обстановку в мире, апрельский (1968 г.) Пленум ЦК КПСС отмечал, что, испытывая серьезные потрясения и сталкиваясь с крупными провалами во внутренней и внешней политике, империализм, и прежде всего империализм США, наряду с авантюрами в военно-политической области все больше усилий направляет на подрывную политическую и идеологическую борьбу.

В печати уже неоднократно приводились цифры и факты, свидетельствующие о том, какой размах приняло идеологическое наступление буржуазной пропаганды на советскую молодежь. Используются все щели и лазейки для легального и нелегального экспорта чуждых идей в нашу страну. Эти идеи специальными службами обрабатываются, упаковываются в соответствующие обертки, украшаются наклейками. Буржуазная пропаганда берет на учет все, что может нанести нам идеологический ущерб — от пресловутой теории «конфликта поколений» до наиновейших пропагандистских вывертов о якобы наметившемся перерождении комсомола. Бросаются в бой политическая демагогия, обывательщина, делаются попытки эксплуатировать религиозные предрасудки и националистические пережитки, использовать недостатки отдельных молодых людей, такие, как погоня за сомнительной славой, стяжательство, мещанский эгоизм. Буржуазные пропагандисты всерьез предлагают создать специальные штабы политической войны, учредить «объединенное верховное командование идеологической войны» и т. д.

Расшатать монолитное идеальное единство советской молодежи, заронить сомнение в коммунистических идеалах — вот главная цель идеологических диверсантов.

Нынешние дни еще раз со всей очевидностью подтверждают истину, что путь к коммунизму — это борьба, суровая и нелегкая. А в борьбе как в борьбе: слабые не выдерживают, мужественные стано-

вятся героями и побеждают. Линию наших сражений нельзя, очевидно, изобразить в виде прямой, расекшей планету на две части. Она не всегда определяется только лишь географическими границами. Именно поэтому надо хорошо понимать диалектику революционных событий, чтобы крепли чувство революционного оптимизма, уверенность в победе.

Революцию часто сравнивают с могучим кораблем, плывущим в историю. Его экипаж — смелые, знающие свое дело люди, уверенно выполняющие долг. Ну, а если среди них попадется трус, нытик, паникер, которому свежий порыв ветра кажется предвестником гибели? Если встретится ренегат? Что же, пусть бегут с корабля в душный мирок мещанского благополучия, пусть уподобляются горьковским пингвинам. Потеря невелика. Корабль не свернет с избранного курса, у него верный компас — ленинское учение, у него надежный рулевой — партия.

У старого мира нет сил, которые бы были бы так же могучи, как коммунизм, нет учения, которое он, старый мир, мог бы противопоставить нашему, марксистско-ленинскому. Это доказано историей, опытом предшествующей борьбы. В то же время мы не можем мириться с выходками отщепенцев, льющих воду на мельницу буржуазной пропаганды, нам претит и позиция невменшательства, занимаемая отдельными людьми. В идеологической борьбе равнодушие часто становится объективным союзником враждебных сил. ВЛКСМ всегда боролся и будет активно бороться за идейную чистоту всей нашей духовной жизни.

Комсомол — решительный противник сладеньких проповедей идеологического благополучия. Ибо также история не раз показывала, к чему может привести классовая слепота. Вот почему каждая комсомольская организация стремится стать школой политической учебы, а вся деятельность ВЛКСМ призвана воспитывать у советского юношества классовое самосознание.

Советской молодежи органически присуща идейная стойкость. Коммунистическая убежденность — драгоценное качество юношества, воспитанное партией. Это качество проявляется в делах на благо Родины, в повседневном труде.

Что же такое коммунистическая убежденность?

Сознание правоты нашего дела, вера в непобедимость марксизма-ленинизма, нашей партии.

Уверенность в превосходстве социалистического строя над капиталистическим, борьба за торжество идеалов коммунизма.

Беззаветная преданность революционному делу, непримиримость к любым его врагам.

Основой воспитания убежденных и стойких борцов за коммунизм был и остается марксизм-ленинизм. Организуя идеологическую работу среди молодежи, комсомол стремится к тому, чтобы молодые люди не просто заучивали книжные истини, а творчески осмысливали принципы и требования марксистско-ленинского учения, приобщались к его революционному духу. Такая учеба дает силы, как говорил В. И. Ленин, «считать себя достаточно твердыми в своих убеждениях и достаточно успешно отстаивать их перед кем угодно и когда угодно».

Если быть самокритичным, то надо признать, что мы еще не добились, чтобы в поведении каждого молодого человека, в деятельности каждой комсомольской организации коммунистические идеи органически сочетались с коммунистическими делами. Успешное решение этой задачи зависит от единства действий всех сил нашего идеологического фронта, от правильного использования идеологического оружия, врученного нам партией, от значительного повышения уровня работы каждого комсомольского

коллектива. Это не дает повода для пессимизма, а, скорее, диктует необходимость еще более требовательного подхода к нашим очередным идеологическим задачам.

Мы знаем, что советская молодежь — гордость народа. Естественно, что наш долг — дать достойную отповедь тем, кто пытается извне или изнутри очернить наше юношество, выдать моральных уродов, нравственных калек за его типичных представителей.

На страницах комсомольской печати, на плакатах комитетов ВЛКСМ в последние годы были подвергнуты резкой критике некоторые литературные произведения, искающие идеиний и нравственный облик молодого поколения наших дней. Они, эти произведения, уподобились кривому зеркалу, уродующему лицо здорового и красивого человека.

Оказывая постоянную помощь и поддержку молодым литераторам, комсомол решителен и принципиален в тех случаях, когда сталкивается с фактами преднамеренного искажения действительности.

Иной журналист просит: подскажите человека с трудной судьбой, которого бы жизнь покруче ломала. Такие очерки время от времени появляются на газетных и журнальных полосах: с психологическими «размышлениями» автора, откровениями (часто придуманными автором) «переживающего» героя — с так называемыми «новаторскими» приемами, долженствующими отражать неземную сложность интеллекта иных неоперишившихся юнцов.

Конечно, в жизни случаются различные ситуации. Бывает и так, что некоторые молодые люди вместо дорог бредут по кочкам. Но на картах изображаются дороги, а не кочки! Молодежь ждет от работников литературы и искусства произведений, которые несут добрые семена классовой мудрости, без прикрас раскрывают диалектику нашего времени, запечатлевают навсегда образы молодых героев — творцов коммунистического строя. Героический характер нашего современника по сути своей противопоставлен «кантигерам» буржуазной беллетристики, кино и театра, «маленькому герою» — продукту бесчеловечных социальных условий, «герою» с вывиженной душой, с психологией, подпорченной комплексом неполноценности.

За последние годы во многих организациях прошли опросы молодежи о ее жизненных планах и целях. Подавляющее большинство юношей и девушки ответило, что смысл их жизни — в служении народу, в строительстве коммунизма. Разве это не убедительное доказательство монолитности юношества, его верности нашим идеалам?

Юность — время поиска, выбора путей. Никто не предполагает, что верные жизненные ориентиры избираются молодыми автоматически, без анализа, без раздумий. Так не бывает. Да и не нужна нашему обществу среднесуммарная личность, овладевшая умением в соответствующий момент хлопать в ладоши. С такими коммунизм не построишь. Обществу нужны бойцы, убежденность которых основывается не на фанатизме или автоматизме, а на глубокой и сознательной вере в дело, которому они служат. И нелепо изображать все так, будто поиски эти начинаются от нулевой отметки.

Наверное, одним из самых больших достоинств комсомола является его способность многократно ускорять процесс гражданского роста у молодежи. В нашей организации господствует климат деятельности, превыше всего ценится готовность выполнить свой долг, активность в общественной жизни. Нытикам и слюням неуютно в комсомоле, как неуютно и истерикам, способным только на мгновенный порыв, показной блеск.

Искусству революционной борьбы молодежь учится у коммунистов. Комсомол всегда гордился тем, что он является боевым резервом партии. Только за последние пять лет свыше полутора миллионов лучших членов ВЛКСМ рекомендовано в КПСС. Быть коммунистом — об этом мечтает каждый комсомолец. Что лежит в первооснове этого благородного чувства? Стремление продолжать дело, начатое Октябрем, единство мировоззрения, целей, идеалов, наконец, восхищение мужеством коммунистов.

Лучшие люди, которых мы знаем, — это коммунисты. Именно они лепили судьбы каждого из нас.

Первая учительница, научившая волшебству грамоты,уважаемый мастер, потративший немало сил, чтобы вывести неуклюжего паренька в рабочие люди, известнейший ученый, лекции которого выпало счастье слушать, командир в армии, новатор в цехе, агроном в поле, прораб на стройке — всюду, где бы ни пришлось нам трудиться, коммунисты заботливо помогали нам расти, со ступеньки на ступеньку подниматься по жизненной лестнице. На фронтах политруки поднимали роты в атаку бессмертным «Коммунисты и комсомольцы, вперед!». Так было и так есть: рядом с коммунистами в огне боя идут комсомольцы.

Наша планета за последние годы очень помолодела. В удельном весе населения каждой страны резко возрос процент молодежи. И нет такой страны, где бы не проявлялся большой интерес к юношеству, ибо именно ему принадлежит будущее. Буржуазный мир глядит на молодежь с тревогой и тайной надеждой, заигрывает, льстит ей, за-

искивающе похлопывает по плечу. А его идеологи изводят тонны бумаги, чтобы доказать, будто порыв молодости к будущему, протест против идеалов смысли и потребительства с годами пройдет, как «детская болезнь».

Политика нашей партии по отношению к молодому поколению — это аналитическая, строгая, научная политика воспитания наследников и продолжателей революционного дела. Она основана на стремлении передать в надежные руки огромное наследство, созданное за пять десятилетий. Это наследство — могучая социалистическая держава. Это самые передовые наука и культура. Это идеи, которые преобразуют мир. Это, наконец, то огромное, что вошло в нашу плоть и кровь с детских лет, — революция. На нынешнее поколение молодежи сама история возложила ответственность за завершение дела отцов, за полное построение коммунистического общества. У молодых наследников революции не может быть иного пути.

Партия доверяет молодежи, знает ее действительное мнение по тому или иному вопросу, строит идеологическую работу среди юношества с учетом его интересов, запросов, активно формирует его воззрение на мир, его отношение к жизни.

Молодежь ценит доверие партии, конкретными делами на общей коммунистической стройке стремится оправдать его.

И наш комсомольский юбилейный год стал, по сути, годом многомиллионного отчета юности СССР партии коммунистов о своем труде и жизни. Этот рапорт — ярчайшее свидетельство верности советской молодежи революционным традициям отцов, ее решимости всегда и всюду до победы сражаться за идеалы коммунизма.



Петрусь Бровка



Снимок 1924 года: П. Бровка — секретарь комсомольской ячейки и председатель сельсовета.

Ровесники

1

Далеких будней ход железный
Не позабуду никогда,
Я вижу городок уездный
И наши юные годы.
Оркестров маршевые ритмы
Звенят по-прежнему в ушах.
Мы шли в юнгштурмовках защитных,
Под флагами равняя шаг.
Среди карикатур и чучел
Торчал Пилсудский, как живой,
Глаза от ненависти пучил,
Топорщил ус колючий свой.
С Пилсудским рядом неизменно
Несли Деникина, Махно,
Осколенного Чемберлена
Штыком пронзали заодно.
А «синеблузники» раешник
Слагали, не щадя врагов,
Разя буржуев и, конечно,
Окрестных наших кулаков.
Все возвещало — лист газетный,
Иллюминации огни,—
До революции всесветной
Остались считанные дни.
Пускай порою был чрезмерным
Или наивным наш запал,
Мы в главном действовали верно,
Как Ленин и предполагал.

2

Пришли мы, чтоб навеки слиться,
С окраин, с полевых дорог.
На гимнастерках и на ситцах
Светился кимовский значок.



Первопроходцы комсомола,
Держали мы на страх врагам
В руках не только серп и молот,
Но и винтовку и наган.
Влекли открывшиеся дали —
И хлеб, и уголь, и руда.
Птенцы, мы быстро подрастали
И улетали из гнезда.
Просили дела наши руки,
И, с ходу сделав новый шаг,
С наказом взять рубеж науки
Мы поступали на рабфак.
Подруги в кожанках, в шинелях!
Я был в одну из вас влюблен.
Косынки ваши пламенели,
Как сотни маленьких знамен.
...С тех пор годов прошли десятки,
Но что ровесников семью.
Седых, по комсомольской хватке
Я их немедля узнаю.

Перевел Я. ХЕЛЕМСКИЙ.

□ □ □

Расул
Гамзатов



Гроза

Тигрицею, почувавшей добычу,
Гроза подкралась, и вблизи реки
Вдруг рев раздался, словно в шею бычью
Вонзились пожелтевшие клыки.

Казалось, вижу джунгли на вершинах,
Где молнии на темных облаках
Оранжевые, как дуги на тигриных,
От ярости рокочущих боках.

Мычало стадо и металось в страхе,
Но дьявольскому ветру все сильней
Противились чабанские папахи,
Почти дымясь над гривами коней.

Отмеченное буйством и величьем,
Вздымаая с сеном целые возы,

На Африку похожее обличьем,
Горам предстало пиршество грозы.

И думали, наверно, марсиане,
Что на земле в кругу материков
Шла не коррида в горном Дагестане,
А битва разъярившихся быков.

В осатанелом грохоте и гуле,
Где по каменьям пенилась река,
Мальчишка перепуганный, в ауле
Прильнул я к черной шубе старика.

Надвинув шапку на густые брови,
Как в ясный день прищуривший глаза,
Старик сказал: — Окрест ни капли крови,
Не бойся, милый, разве то гроза?

И вправду мир стоял неколебимо,
Не рушилось от грома ничего.
И, выдыхаясь, тучи плыли мимо
Высоких скал и сердца моего.

И выпрямлялись согнутые лозы,
И чабаны слезали с лошадей,
Но вскоре я узнал другие грозы,
Гремящие над судьбами людей.

Они друзей и близких уносили,
Не внемля ни отпору, ни мольбе.
Схожу с ума от горя и не в силе
Забыть о крови, смерти и пальбе.

И зарево стоит на небосклоне,
В огне Восток.
Нет выстрелам числа.
И Африкой мчат аспидные кони,
Багря кровавой пеной удила.

Перевел Я. КОЗЛОВСКИЙ.



Сегодня ночью было мне виденье.
Мне сон приснился: будто, наконец,
Такое я сложил стихотворенье,
Что встал из гроба старый мой отец!

Мою он слушал песню, словно чудо,
И после песню сам запел свою.
И вдалеке над нами тень Махмуда
Мелькнула вдруг у бездны на краю.

И сам Махмуд спел песню в этот вечер,
Во дни быльные стекшую с пера.
И встали из могил его предтечи,
Чтоб слушать эту песню до утра.



Мой юный друг, мой продолжатель милый,
Когда умру я — твой земляк Расул,
Сложи стихи, чтоб встал я из могилы
И, успокоенный, опять заснул.

Помогите!

Где-то маленький ребенок болен,
Плачет мать, эй, люди, поскорей!
Вы лекарство отыщите, что ли,
Приведите мудрых лекарей!

Руки к миру женщина простерла,
Ну, а мир не то чтобы суров —
У него своих забот по горло,
Чтоб услышать чей-то тихий зов.

Люди, неужели вам не страшно!
Поспешите, отвратите зло,
Чтоб глухое равнодушие ваше
Вам на совесть камнем не легло!

Горец к небу простирает руки,
Но никто его не слышит стон.
«Где вы, сыновья мои и внуки?» —
Еле слышно спрашивает он.

Старый горец плох, он тяжко дышит.
Кто сейчас помочь ему придет?
Дети — в городах, они не слышат,
И у внуков полон рот забот!

Страждет мир, что нами обитаем,
Стонет он, он подает нам знак.
Но молчим мы, время упускаем,
Словно ничего не замечаем,
Мы дрова бросаем в свой очаг.

Неужели, жизни не жалея,
Мир мы отдадим и предадим,
И погубим леностью своею,
И навеки канем вместе с ним!

Прости

И без вины готов я повиниться
За то, что жизнь людская так пестра,
За то, что слезы на твоих ресницах
Блестят сейчас, как на моих вчера.
На белом свете то весна, то осень,
Жизнь так непостоянна, и прости
За то, что конь тебя на землю сбросил,
Как сбросил мой меня на полпути.
Часы, твердя, что день прошедший прожит,
Бьют на твоей и на моей стене,
И боль моя тебя кольнет, быть может,
И боль твоя доставит горе мне.
Есть губы, не целованные сроду,
Глаза, вовек не видевшие свет,
Но губ, что не дряхлеют год от году,
И глаз, не знавших слез, на свете нет.
Мы лето молим о дожде и громе,
Мы дождь клянем осеннею порой,
И могут нынче быть поминки в доме,
Где был вчера, быть может, пир горой!
Мы вдаль идем, и путь людей неровен,
Бывает край у всякого пути,
И хоть я, может, в этом не виновен,
Прости меня, прошу тебя, прости!

Перевел Н. ГРЕБНЕВ.

Иосиф Герасимов

ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО

Рисунки Г. Пондопуло.



ПОВЕСТЬ

чтоб нырнуть в ледяную черноту воды и поплыть невесть куда.

— Вас погубила слякоть бульварная.
Вся ваша жизнь в белых туфлях прошла,—

пропел он, грубо фальшивя, держась обеими руками за перила и раскачиваясь.

Гулко хлопнула дверь на палубу, и женский голос, захлебнувшись ветром, позвал:

— Христи!

Парень, не отрываясь от перил, повернул голову через плечо, увидел низенькую женщину, прижимавшую обеими руками полы легкого плаща.

— Топай, душенька, сюда,— сказал он.

— Христа,— опять позвала она.— Ты какого черта, ведь простудишься...

Она была круглоголовкой, с яростно подведенными бровями, узкими скобками взмывавшими на гладкий лоб; жестко сжимала тонкие губы, делая вид, что сердится. Парень пошел к ней, чуть покачиваясь, говоря на ходу:

— Кому — Христа, а кому — Христофор Николаевич Кубликов, доктор Кубликов. Ясно?

— Это ты завтра будешь доктор. А сегодня просто Христа,— отвечала она смеясь.

Он подошел к ней вплотную, мягко щелкнул пальцем по носу, отчего она сморщилась, хлопнула его по руке.

— Эх ты, зубодерка,— сказал он.— Я же тебя шесть лет знаю.— Взял в ладонь ее круглый подбородок и поцеловал.

— Ты что? — отстранилась от него женщина.— Совсем сдуру?

Тогда он обнял ее, сильно привлек к себе, спрятав под полу кожаной куртки.

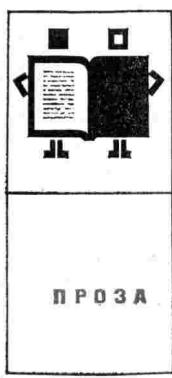
— Мы же с тобой прежде не целовались.

— А мне нельзя,— сказала она, прижимаясь щекой к его рубахе.— Я чужая жена.

— Ты жена, но не чужая. Если бы я тебе мигнул, ты бы плонула на Володьку и тю-тю, закатилась бы со мной на самый кошмарный край земли.

— Ну да! — насмешливо сверкнула она глазами.

— А ты хорошая жена?





— Плохая... — Она опять засмеялась, но ей не очень это шло: тонкие губы обнажали неровный ряд зубов, рот делался кривым. — Я скверно готовлю и не умею гладить рубашки.

— Дребедень. Самое главное — ты злая, — чмокнул он ее в лоб. — Помнишь, как ты орала на собрании, чтоб меня выперли с третьего курса?

— Тебя и надо было тогда выпереть.

— Ты орала, потому что была влюблена в меня, как кошка.

— Да ну тебя! — Она хотела выскоцить из-под его руки, но он еще сильнее привлек ее к себе.

— Стой смирно, Надька. И лучше скажи: ты всю жизнь хочешь быть зубодеркой?

— А ты?

— Пчелой.

— Трапач, — восхищенно сказала она, снизу заглядывая ей в лицо. — Редкий трапач!

— Наоборот, неимоверно серъезен. — Он сдвинул лохматые брови, надул губы, видимо, кому-то подражая, и не своим, хриплым голосом сказал: — Что есть пчела? Труженик. Мир для нее ограничен своим делом. Она не воспринимает человека, он для нее не существует. Нет для пчелы ни человека, ни человечества, на которое она работает. — И тут же, сбросив с себя эту чужую маску, сказал весело: — Волшебная жизнь!

— Очень похоже, — сказала она. — Но, может, хватит?.. Пошли к ребятам.

— Никогда, — упрямо сказал он. — Мне надоел твой муж с гитарой, и все вы мне успели надоест за шесть лет. Хочу куражу. Свободы. Конец золотым

временам. Завтра клятва Гиппократа, а потом — белый халат, белый кабинет, стерильно постная морда для посетителей. «Следующий!»... Я в кабак. Искать развлечений. Не тоскуй. — Он опять непринужденно чмокнул ее в лоб, выпустил из-под куртки и пошел, звонко топая по палубе, к ресторану.

Женщина смотрела ему вслед с жаждой тоской, потом лицо ее подобралось, сделалось строгим, почти чванливым, она механически поправила волосы, хотя они были плотно укрыты плащевой косынкой, и, огорченно вздохнув, пошла к дверям.

Кубликов вошел в ресторан, когда до закрытия оставалось не более чем полчаса. Официантки делали приборку свободных столиков, недружелюбно поглядывали на засидевшихся посетителей, с нетерпением ожидая, когда можно будет с полным правом выпроводить их отсюда. Ни есть, ни пить Кубликову не хотелось, повел его сюда одно желание — быть там, где пошумнее, многолюдней, а на теплоходе и было-то всего два таких места — вот этот ресторан да еще музикальный салон.

Он остановился у порога, оглядывая полуокруглый зал, чувствуя разочарование: посетителей за столиками было мало. Неподалеку от дверей пили двое: один — сухопарый, рыжеусый, с желтыми, злыми глазами, а другой — в щегольской вязаной кофте, грудь его крест-накрест, как портупея, обжимали ремни фотоаппаратов. А за этими двумя одиноко сидел в мятом пиджаке мужик с затянутым хмельным лицом, с собачьей грустью в глазах, мял в пальцах рублевку. Наверное, ни один ресторан в такой час под закрытие не обходится без подобного мужика, вяло и тоскливо канючащего: «Девушка, ну

еще... Девушка...», — и официантка, отворачиваясь от его тоски, сердито и устало фыркает: «Вам хватит, гражданин. Хватит! Освободите помещение». Так было и тут.

Кубликову уж захотелось уйти из этого места, но он перевел взгляд налево, и там, в стороне от окна, за которым в белом пространстве качался круг солнца, почти у самой буфетной стойки сидело пятеро девушек, и Кубликов сразу разглядел, как они сидят: поужинав, выпив кофе, собрав и сложив на уголок стола деньги для расчета; две из них курили сигареты и о чем-то говорили, но отсюда, от порога, нельзя было расслышать их слов.

Он не стал спешить, зная, что одна из них да заметит его и, может быть, шепнет о нем своей подруге, тогда они хоть как-то готовы будут к его появлению, и, чтобы занять себя на эти несколько минут, стал слушать, о чем говорил желтоглазый.

А тот сердился, рыжие усы его стояли торчком.

— Монахи не дураки были. Виноград на Соловках выращивали, бахчю. Золотое дно. Миллионы. А тут черт знает что: храмы пусты, система каналов нарушена, стена подле озера вот-вот полетит. По миллионам ходим, подбирать ленимся. А ведь святая земля, святая, не только потом, слезами, а и кровью политая. Разинцы в темницах сиживали, декабристы, да мало ли... Писать, писать надо.

— А сами? — лениво сказал его собеседник.

— А я что? Не то имя, — кокетливо и плаксиво сердился желтоглазый. — Учителяшка, рядовой народного просвещения. Тут настоящим первом громыхнуть. Ведь, боже мой, если поднять! Одних озер на Соловках, может, четыреста, ведь и не счел до сих пор никто. И рыбка и воздух. Четыре века творению, и такое богатство в разор? А Ломоносов-то о нем как...

Тут Кубликов кашлянул и громко, с раскатами в голосе произнес на весь ресторан:

— Уже на западе восточными лучами открылся, освещен, с высокими верхами причудливых стен вокруг из диких камней град.

— Именно! — так и привскочил на своем месте желтоглазый и, словно обсасывая в губах сладкий леденец, повторил: — Из диких камней град, — и тут же торжествующе посмотрел на человека с фотоаппаратами. — Вот!

Человек же этот неторопливо повернулся к Кубликову, оглядел его трезвыми, скучными глазами, сказал нехотя:

— Может, присядете?

Но Кубликов смотрел в другую сторону, он успел заметить, что, когда читал стихи, девушки разом повернулись к нему, да он и сделал это ради них, а все, что говорили двое за столом, было ему неинтересно, потому что таких разговоров он наслушался в этот день вдоволь. Теперь, твердо зная, что за ним наблюдают, он вежливо поклонился человеку с фотоаппаратами, сказал:

— Благодарю, но эти стишкы известны мне со школьных лет, — и решительно направился к девушкам.

Подойдя к столу, Кубликов пригладил ладонями длинные волосы, не спеша оглядел всех пятерых. Девушки примолкли, ожидая, что он им скажет, одни с любопытством, другие настороженно. Та, что сидела во главе стола, курила сигарету, картиною отставив палец с обручальным кольцом, скривила красивые, пухлые губы.

— Добрый вечер, — сказал Кубликов, стараясь быть серьезным. — Если это встреча фронтовых подруг, то возможен такой вариант — наблюдатель со стороны мужского пола?

— Нет, — категорично сказала та, с обручальным кольцом. — У нас девичник.

— Как интересно! — воскликнул Кубликов. — Никогда не был на девичнике.

Одна из девушек засмеялась, и Кубликов сразу ее отметил, она сидела напротив него, худенькая, с острыми, неуклонными плечиками, обтянутыми вязаной белой кофточкой.

— Я бы пригласила, — сказала она, все еще смеясь.

Кубликов взгляделся и удивился необычности ее лица: глаза синие, таких синих он и не видел никогда, подведенными черным карандашом, они выделялись отчетливо, а на розовых, здоровой свежести щеках — рыжие, яркие пятна веснушек; в этом лице смешалось что-то детское, уступчивое и жесткая неуклюжесть огрубевшего подростка. Голос ее и смех были звонкими, простодушно-доверчивыми, и Кубликов почему-то почувствовал себя неловко, ему не захотелось дальше продолжать игру, которую затеял. Он подвинул стул, сел.

— Я всего лишь на секунду, — и, повернувшись к этой девушке, сказал просто: — Идемте танцевать, а?

— Ну, что же, — ответила она. — Пожалуй...

Взгляды других девушек похолодели, а сидевшая во главе стола посмотрела непримиримо-жестко.

— Ну, мне так хочется, — сказала девушка упрямо. — Я и не помню, когда танцевала, — и решительно встала. — Не обижайтесь, девочки. — Тут же кивнула Кубликову: — Идемте.

Он встал, пропустил ее вперед и, когда она сделала несколько шагов, увидел, как хороша у нее фигура и ноги прямые, длинные. Кубликов хотел было повернуться, извиниться перед остальными, но девушка пошла быстро, и он заспешил за ней. Когда выходил из ресторана, успел заметить, как официантка, сердобольно ворча, поднесла измятому пьяничку рюмку водки и тот страдальчески, стремительно выпил, тоскуя глазами.

— Нет предела тупым щедротам, — сказал Кубликов.

— Вы что? — повернулась к нему девушка.

— Ничего, ничего... Не обращайте внимания. — Он легко взял ее под руку, и они пошли длинным коридором, устланым ковром, мимо дверей кают, где было тихо, только внизу в машине глухо стучало и ворочалось.

2

—Как же вас зовут? — спросил он.
— Даня или Даша, как хотите. А вот фамилия у меня смешная — Трещина. Правда, смешно? — Но сказала она это невесело. — У нас в роду всем женщинам не везет. Отец Трещин, а у меня так получается.

— Ерунда, — ответил Кубликов. — Меня вот тоже зовут Христофор. Каждый считает своим долгом спрашивать: а вы не родственник Колумбу? Надеюсь, вы-то не спросите?

— Спрошу. Вы не родственник Христофору Колумбу? — засмеялась она.

— Но, но, — погрозил он пальцем. — А то верну обратно на девичник. Я ведь сразу заметил, как вам там надоело, — сказал он это наугад, но, наверное, попал в точку, потому что у нее сразу поджались губы.

Они вышли к салону. Здесь у лестницы, ведущей в каюты второго и третьего класса, стояли распаренные танцами ребята, курили, поглядывали на стеклянную дверь, за которой громыхала в полную силу радиола.

— Ныряем,— сказал Кубликов, распахнул дверь, и они сразу же окунулись в горячую волну резких звуков и движений. Вокруг, покачивая бедрами в мягких спортивных брючках или сверкая коленками, в коротеньких пальтицах, двигались девочки и рядом с ними, сжимая кулаки, то откидываясь назад всем корпусом, то приседая, отбивали ритм мальчики. Было душно, тесно, но каким-то чудом Кубликов и Даня нашли себе крохотное пространство. Она встала против него и двинулась, словно сама любуясь легкостью своего тела, его свободой, склоняясь в разные стороны, и ее волосы цвета перестоявшей, убитой заморозками ржи падали поочередно то на одно плечо, то на другое, лицо вытянулось в веселой сородиченности.

— Молодец! — крикнул Кубликов Дане.

Она благодарно кивнула и тут же, подмигнув, указала в угол. Кубликов, не прекращая танца, оглянулся: там, за шахматным столиком, сидел маленький старичок с розовой лысинкой и спокойно читал газету, словно отгородившись от всего на свете в свою тишину и размеренность жизни. Кубликов громко рассмеялся. Теперь уж, войдя в азарт, он так яростно танцевал, что чувствовал движение всех своих мышц.

В радиоле сменили пластинку, и еще более быстрый ритм, порой сливающийся в стремительную дробь звуков, смешиваясь с выкриками на чужом языке, забился в помещении салона, и лицо Дани замелькало перед Кубликовым, словно оно было впечатано во все окна вагонов летящего на полном ходу поезда, и в этом мелькании была своя радость, которую хотелось удержать. Музыка смолкла внезапно, и, как шипение тормозов, прокатился по салону вздох и тут же недовольный, многоголосый шум разочарования:

— У-у-у!

Возле радиоплы, деловито закрывая ее, стоял тот старичок, что недавно читал в углу газеты.

— Спокойной ночи! — Голос у него оказался неожиданно сильным и густым.

Кто-то поканючил еще, кто-то начал упрашивать, но старичок отключил шнур от розетки, и стало ясно, что никакие просьбы не помогут.

Толпа вытеснила Кубликова и Даню в коридор, к лестнице. Здесь образовалась пробка, и они стояли, тесно прижавшись друг к другу.

— Хоть и мало, а хорошо,— сказала она.— Правда?.. Только душно. Может, пойдем на палубу, поышим. А?

— Если не боитесь,— ответил он.— Там ветер.

— Ой, да я не боюсь! Что вы! — улыбнулась она.— Я на двориках багром сортировщицей работала. Там прокалилася.

— А сейчас?

— Торцовщицей.

— Странно,—сказал он.

— Что?

— Странно, говорю. Вот уж никогда бы не подумал, что вы лесозаводская.

Они пробились сквозь толпу и вышли на палубу. Ветер дул все так же, чернота по воде расползлась еще дальше, а солнце теперь выглядывало на выпуклом горизонте рваным густо-бордовым краем, небо больше не было таким белым, а открывалось над головой тусклой голубизной, а слева и справа от солнца, там, где кончались багровые и желтые разводы света, над морем играла меловая, серебристая пыль, то был не туман, а именно пыль с глубокими белыми просветами. Наступил тот час северной ночи, когда она стоит на изломе суток, еще совсем немного, и солнце начнет опять набирать высоту, чтобы дать воде и земле не только свет, но и тепло.

Кубликов обнял Даню, и она доверчиво припала к его плечу.

— А как я вам показалась? — спросила она.— Мне интересно.

— Показалось, что вы все студентки. Школьные подружки.

— Почти так оно и есть,—сказала она.— Это мы все костромские собрались. Два года, как приехали в Архангельск в институты поступать. Одна поступила, а остальные по заводам разбрелись. А нынче решили собраться, на Соловки съездить, погулять. Да не вышло ничего из гулянки.

— Это почему же?

— Грустно получилось. Две девочки замуж вышли, одна ребеночка завела, одна студентка, а я вроде как ни к какому берегу не пристала. Вот и стали они меня жалеть, а на самом деле хвастиают сидят, кто ребеночком, кто мужем. А мне плевать! Мне и так хорошо. Я ведь тоже на заводе не последний штырь. Надоели они мне, не отдых получился, а одна тоска и усталость!

Она говорила, не жалуясь, голос ее был по-прежнему звонок, в нем не исчезла, а еще более укрепилась та простодушная доверчивость, которая сразу удивила Кубликова. «Поцеловать ее, что ли?»— подумал он, сжимая пальцами ее плечо и представляя, как все это будет просто и, наверное, хорошо, но что-то мешало ему склониться к ней, найти ее губы. «Жалко ее,— подумал он.— Да нет... Просто она еще как ребенок»,— и погладил ее волосы, которые взбил ветер. Они оказались очень мягкими, и рука его утонула в их темно-коричневом сплетении.

— А вы кто? — спросила она.

— Сегодня в полдень стану доктором, а пока — студент.

— Ой! — воскликнула она.— А я боюсь докторов.

— Почему?

— Мне кажется, они все про нас угадывают.

— Если бы,— сказал он.— Ни черта они не могут угадывать. Да и никто не может. Слишком уж не похож каждый человек на другого.

Она помолчала и сказала серьезно:

— Это верно.

И тут же вздрогнула, передернув плечами от озноба.

— Ого,— сказал Кубликов.— Ветерок-то все-таки пробирает. Пожалуй, застужу я вас здесь после жарких танцев. Пошли.

— Да, да,— спохватилась она.— Поспать хоть немного надо. Едва в общежитие успею заскочить — и на смену.

Они ушли с палубы, спустились по лестнице к катам второго класса. Здесь стояла сонная, сумеречная тишина.

— Девчонок бы не побудить,— шепотом сказала она, и лицо ее стало озабоченным.— Спасибо вам за компанию, хорошо было.

Он кивнул ей, и она торопливо пошла коридором, четко ступая красивыми, длинными ногами в туфлях на тоненьком каблуке, может быть, уже и не думая о нем. Сейчас вот она скроется с глаз, а завтра у нее начнется своя жизнь, в которой совсем даже малой точкой не будет Кубликова, как, впрочем, не будет и ее в его жизни, и, может статься, никогда, даже случайно они не встретятся, а если это и произойдет спустя много лет, то и не узнают друг друга. И когда Кубликов подумал об этом, ему стало жаль ушедшего в своей беспечности дня и того сладостного ощущения полной легкости и свободы, и из-за этой жалости, меньше всего думая о

Дане, когда она уже было взялась за дверную ручку каюты, он не выдержал и позвал негромко:

— Алло!

Она обернулась, посмотрела на него, словно проверяя, не почудился ли ей этот оклик. Кубликов быстро миновал пространство, разделяющее их.

— Есть предложение,— сказал он.— Приходите к нам на выпускной.

— Правда? — обрадовалась она.

— Ну, конечно. Я приглашаю. Встретимся у почтамта в семь. Пойдет?

— Пойдет! — воскликнула она и тут же приложила пальц к губам, словно сама себе подавая знак о тишине, и прошептала: — Ну, счастливо,— и быстро скользнула за дверь.

Кубликов вошел в свою каюту; сиротский, серый свет из иллюминатора освещал двухэтажную полку, внизу спала Надя в обнимку со своим мужем, он, как ребенок, прижался пухлым лицом к ее плечу. Как они сумели уместиться вдвоем на этой полке, черт их знает!

Кубликов сбросил ботинки и куртку, забрался на вторую полку. Слышно было, как плескалась вода, скрипело дерево и что-то стеклянно дребезжало, тонко и неприятно. Кубликов, стараясь заснуть, отвернулся к стене, но сон не шел. Откуда-то исподволь, все сильнее утверждаясь, наползала тоска и вместе с ней мысли о привычных заботах, которые стали в последние дни его студенчества остree и тревожней. Через день ему надо ехать в Северодвинск, где его ждет работа в больнице; другие еще будут отдыхать, а ему надо сразу приступить к делу, чтобы не упустить хорошего места в больнице, и хоть город этот близок от Архангельска, все же уезжает он туда надолго, может быть, навсегда, а в Архангельске останется мать, больная, одинокая, и еще отец, который не живет с ними вот уже пять лет, отец, которого многие считают в городе старым шалопаем, выпивохой,— добрый, широкодушный и веселый мужик. Кубликов любил его по-своему, жалел и злился на него за то, что мать так много от него натерпелась, и вот сейчас, когда Кубликов уедет, она совсем останется без защиты. «Я с ним, старым, поговорю,— думал он.— Я с ним серьезно поговорю». С этим он и заснул.

А «Буковина» шла своим рейсом, легко покачиваясь на малой волне. Белая ночь вокруг нее разгоралась в утро, потянулись за обоими бортами берега Двины в мятовой, росистой свежести трав, с курганами бревен, с плотами у затонов, и сильный, какой только бывает в очень ранние часы запах мокрого дерева и сосновой коры вошел в открытые иллюминаторы кают, дурманя сон людей.

Было около шести утра, когда «Буковина» швартовалась к пристани пассажирского порта Архангельска. На палубе нетерпеливо теснился народ, стояли с измятыми после короткого сна лицами, озабоченными, выжидающими. Кубликова прижали к борту, был он сейчас мрачен, непричесанные волосы лохматились на голове, незажженная сигарета торчала в уголке его губ, узкие глаза запали, став черными щелками. Он смотрел, как два матроса закрепили трап, стали по его краям, и толпа двинулась, растекаясь по широкой бетонной площадке, и в этой толпе, окруженная девушками, торопливо шла Даня. Кубликов вспомнил о ней и раздраженно подумал: «Черт меня дернул пригласить. Своих там, что ли, мало... Жалостливый дурак. Ну, на кой ляд она мне нужна?...» — зло поднял воротник куртки и стал пробиваться на выход.

Даня бежала настилом, и ей очень хотелось сбросить с себя туфли — так звонко, словно в помещении, слышен был стук ее каблуков со стальными набоеками, а улицы были пустынны, потому что стоял еще тот час, когда люди только вставали с постелей, растворяли окна, умывались, ставили чай. Все в поселке было деревянным, даже мостовая; двухэтажные дома с белыми кружевными наличниками окон обшиты тесом, и на них еще не просохли на солнце капли влаги — следы речного тумана. Как раз там, где Даня нужно было сворачивать к общежитию, висел щит с красной грозной надписью: «В поселке не курить!».

У крыльца возле покрашенной в зеленое скамейки стояла, щурясь на солнце, одетая в черный, лоснящийся на лацканах костюмчик комендант — тетя Таня, рябая, с гладким зачесом черных волос и блекло-голубыми, беспомощно-близорукими глазами, ждала, чтобы разглядеть, кто же это бежит. Когда Даня поравнялась с ней и крикнула: «Доброе утро», — тетя Таня всплеснула руками, пропела:

— Вот она, пропажа. Все на свете проблукала.

— Это что же я проблукала? — остановилась Даня, задыхаясь после бега.

— Известно что — жениха, — сказала тетя Таня и хитро собрала в усмешку губы.— Летчик твой Семен Семенович прибыл. Весь вечер томился. Я уж его к ребятам в красный уголок сунула.

— Да где же он? — ахнула Даня.

— С полчаса как подался. Могла у трамвая встретить, даже странно, что промахнулась.

— Улетел?

— А кто его знает. Говорил: может, к перерыву подскочит, а может, нет — как дела. В обиде ушел... Ну, ты иди, иди собирайся, до смены чуть осталось, переживай потом будешь.

«Вот тебе и история!» — растерянно думала Даня, входя в прихожую, где под лестницей стояли детские коляски и ведра. В коридоре были свежо вымыты полы, слабо пахло карболкой от уборной, в умывальной комнате плескали водой и негромко разговаривали. Она открыла дверь к себе, из трех кроватей занятая была только одна — спала Лариса. Даня сняла туфли, прошла босиком к шкафу, чтобы достать спецовку, и дверца под рукой скрипнула. Даня замерла, инстинктивно обернулась в угол, и тотчас взвизгнула пружина кровати.

— Ты, Даша? — сонно пробормотала Лариса.

— Я, я, — шепнула Даня.— Спи.

— Не-а,— капризно сказала Лариса и потянулась, высвобождая пухлые, розовые руки из-под одеяла: — Ох, хо-о-орошо, — протянула она, блаженно щуря глаза, и сладко зевнула, отчего ее плотные, крепкие щеки собрались тугими складками.— Твой Семен был.

— Знаю, — ответила Даня, торопливо снимая с себя одежду.— Эх, чаю не успею выпить.

— А он ничего мужчина, — все еще блаженно потягиваясь, говорила Лариса.— Сколько же ему годов?

— Поговорили, что ли?

— Посидели. Вина купил, дорогое — Кизлярского. Так годов-то ему сколько?

— Тридцать два.

— Еще совсем не старый мужчина. И губы такие...

Целоваться он, наверное, очень вкусно умеет.

— Пошла-ка ты!.. — рассердилась Даня.— У тебя только это на уме.

— А у тебя нет?

— Про наших что говорил? Про отца, про маму?
— Не упомнила... Нет, ничего вроде.

Даня собралась, затянула ремень на спецовке, подоткнула под него рукавицы и направилась было к дверям, за которыми теперь густо слышались шаги.

— Эй, постой! — окликнула ее Лариса, склонилась с кровати к своей тумбочке, обнажив широкие, пышные плечи, с вмятинами на коже от складок на простины. — У меня тут две конфетки есть и еще огурец. А вот хлеба... хлеба нету. На, пожуй.

— Давай.

И когда Даня подбежала к ней, Лариса вздохнула и сказала:

— Все-таки ты, Даша, дурочка ненормальная, без умственной хитрости живешь.

— Это почему?

— Я бы такого мужика — во как держала! — сказала она кулак. — Он бы у меня по проволоке, как циркач, ходил.

Даня махнула рукой и, заедая конфеты огурцом, выбежала на улицу, где тянулись на смену люди.

Больше было женщин и девушек, мужчины держались от них отдельно, шли небольшими группами, вперевалку, по-матросски, как привыкли ходить те, кто работает на воде или у воды, и шаги мужчин на деревянных настилах отдавались глухо, вплетаясь в разнобойный стук женских каблуков. Голосов почти не было слышно, изредка раздастся смех или кто-то громко кого-нибудь окликнет, — все покрывал шум шагающих людей, и звучали под их ногами доски: то вззигает на гвоздь, то тяжело треснет или запоет мягкой музыкальной нотой, как поют половицы в старых избах.

Даня шла в толпе, машинально отвечая на приветствия, и думала: «Ну, зачем мне так не везет? Вот, если случится что-нибудь хорошее, обязательно будет неприятность. Три месяца от Семена — ни сигнала, ни слова, — и вот прилетел. Это же надо, один раз и собралась-то на Соловки.. Ну что же мне с Семеном делать? Как быть с ним?»

За последние два года то и дело возникала у нее эта мысль и всегда навевала мрачность, потому что сама себе Даня не могла ответить ничего определенного. Все было странным и непонятным и прежде всего сам Семен, невысокий, плоскоголовый человек с сильными руками, с залысинами на выпуклом лбу. Он вошел в ее жизнь настойчиво, следя неотвязной тенью. Семен был их соседом на костромской окраине, но она не знакома была с ним до той поры, когда уж кончала учебу в школе, вернее, до того весеннего дня, когда он подошел к ней на берегу Волги и удивил тем, что знал про нее все до мелочей, которые скрывала она даже от домашних. Его нельзя было отшить, как мальчишку: он был старше ее на двенадцать лет, рассудителен, серьезен, и, если звал ее на прогулку, она шла с ним, хотя ей не хотелось этого.

Она сама не могла понять, чем он подчинил ее. И когда собралась уезжать в Архангельск, он сказал: «Ты учись, я на тебе женюсь. Это я давно задумал». Тогда она испугалась, потому что поверила: он сделает, как хочет. И вот уж прошло с тех пор два года, Даня насмотрелась на людей и на жизнь вокруг себя, и ей многое стало нипочем, но страх перед этим человеком не пропал. Семен иногда, правда, очень редко, прилетал в Архангельск и опять удивлял ее тем, что все про нее знал, и она робко ждала: он вот-вот скажет: «Ну давай поженимся», — и она не знала, что и как ему ответить, и сейчас, идя на работу, мучилась этим же.

Она не заметила, как миновала проходную, а потом прошла пружинно-мягкой дорогой, утрамбован-

ной толстым слоем опилок, и бетонной площадкой, где стояли высокие, словно поднятые на костили тракторы. От Двины, где была запань, от двориков с черной от древесины водой горько пахло знакомым запахом мокрых бревен.

Когда выдавалось вот такое ведренное утро, Даня любила, идя на смену, постоять минутки две на мостках у входа в цех, чтобы увидеть реку в той стороне, где большим черным мостом впечатывался в небо кабельный кран и темнела гора из накатанных бревен. Она и сейчас остановилась, посмотрела в этот сплющенный от солнца простор, где шел, дымя, черный, прокопченный катер, а правее стоял у причала кремовый, с круглой стеклянной рубкой лесовоз, над которым слабо полоскался синий с желтым крестом флаг. «Швед», — определила Даня. У причала тосковал пограничник, смотрел, как на корме, облокотясь о перила, плюет в воду бородатый, длинноволосый, как поп, шведский матрос, в майке, стянутой красными подтяжками.

«Эх, — подумала Даня. — Ну, чего я расстраиваюсь. Плюнуть бы и мне на все это дело». — И она вспомнила, что нынче ей надо идти на свидание, а потом ждет ее веселый вечер среди студентов и парень с зеленым блеском в глазах, и она приободрилась, с надеждою решив: «А может, я даже очень весучая».

В цехе стоял предрабочий шум, девушки, как всегда, собирались у садовой скамьи, поставленной на площадку у транспортеров. Над этой скамьей висел синий плакат: «Все 420 минут — производству!». В другом конце длинного помещения, где были пирамиды, звенело металлом и кто-то стучал по дереву молотком, и сюда отдавалось эхом: о-ух, о-ух.

Девушки не оглянулись на Даню, когда она подошла, говорили наперебой — и над скамьей, сплетаясь в общий гул, звенели слова:

— ...а я в мини-юбочке. «Salute» — кричу. А он: «When shall we meet» — «Доброе утро, значит, когда встретимся?» А я ему: «Any time now» — «Хоть сейчас», значит. Он грязится, как же, мол, я на вахте. Смех, да и только!

— Ребята трои сутки пили, упились по-змеиному, бесстыжие!

— ...наревелась, наревелась, до чего чувствительно написано.

— Тебе розову помаду, а ты кирпич мажешь...

— А он говорит: в отпуску, две недели знакомых обхожу, потом спать буду...

— На биноме Ньютона и срезали.

— До чего же, девки, шубка хороша!

«Прямо базар подняли», — подумала Даня, и ей захотелось прикрикнуть на всех, но тут раздался возглас: «Директор!» — и шум сразу стих.

Он вышел из боковой двери, что вела в инструменталку, остановился, пропуская вперед тех, кто шел за ним. Был директор, как всегда, подтянут, в черном, хорошо сшитом костюме, при белой нейлоновой рубахе с бордовым галстуком, и белым платочком в нагрудном пиджачном кармане. Его молодое загорелое лицо свежо, насыщено, и улыбался он крепкозубой, приятной улыбкой.

— Bitte, — сказал директор и повел рукой так, что из-под рукавов пиджака сверкнул белый манжет с запонкой.

В цех вошли двое: один — высокий, сухопарый, в немецкой, мышиного цвета военной форме, туго стянутый широким ремнем в поясе, с толстым желтым портфелем, другой — коротыш, в клетчатом пиджаке, лысый, в очках.

Девушки вскочили со скамьи, поправили прически, подтянули спецовки, а директор уже подходил, не



сгоняя улыбки. Лицо его могло бы показаться совсем добродушным, если бы не серые пронзительные глаза, смотрящие строго и озабоченно.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал он.— Гости из ГДР,— представил он тех двоих, и они поклонились — военный сухим кивком головы, а штатский еще взмахнул пухлой рукой.

— Почему не начинаем? — спросил директор, взглянув на часы.

— С транспортером возятся, — ответило сразу несколько голосов.

— Ясно, — сказал директор и тут же опять улыбнулся своей знаменитой на весь завод, как у эстрадного певца, белозубой улыбкой. — Есть новость, девушки. Бригаду за границу будем посыпать, в порядке обмена, на месяц. Кто-нибудь немецкий знает?

Девушки переглянулись, и кто-то из заднего ряда крикнул:

— Вон Даша Трещина учила!

Директор повернулся к ней, он знал их всех по имени, потому что часто приходил в цех, любил по вечерам заезжать в клуб, когда там бывали танцы, правда, недолго — на полчаса, а то и на час. Когда Даша пришла на завод, он уже был на нем директором, сам принял ее, сам направил на работу. «Потка сортировщицей, на дворики — это трудно. Потом поймешь производство, пойдешь дальше». Он никогда не кричал, не сердился, был ровным, часто веселым, но его боялись, и никто бы толком не смог объяснить, почему именно: то ли оттого, что было необычным видеть молодого, красивого, спортивного вида парня в директорах, то ли смущала его безукоризненная вежливость. Дело он знал свое хорошо, умел говорить о нем скучно и просто и, когда приезжало начальство, не суетился, не требовал от цеховых, чтобы наводили особый порядок. Он был внешне прост, и вот эта-то простота и казалась особой, почти загадочной.

— Хорошо язык знаете, Даша? — спросил он.

Она смущалась его прямого взгляда.

— Я в школе учила, сейчас уж подзабылось.

— Подучить придется, — сказал он и повернулся к немцам. — Вот таких девушек вам пошлем. — И те поняли его.

— О! — воскликнул коротыш в клетчатом пиджаке и неожиданно, протянув пухлую руку, приложил губами и похлопал ладонью Дашу по щеке. Его прикосновение было неприятным, словно от пальцев остался на коже сальный след, и Даша брезгливо отстранилась. Военный заметил это и сурово сверху посмотрел на своего товарища, директор тоже это заметил и повернулся к мосткам, указал на них рукой, сказал строго и спокойно:

— Bitte.

Но коротыша это не смущило, он улыбнулся Даше, галантно кивнул и пошел по лестнице. И в это время, шелестя и поскрипывая, заработали транспортеры, и тут же в другом конце цеха, взвизгнув на тонкой ноте и сразу же перейдя на вибрирующий ровный звук, включились пилорамы, и вот уже по цеху все задребезжало, забилось, сопровождаемое тупым стуком бревен, и, перекрывая этот шум, кто-то из девушек с тоскливой отчаянностью крикнул вслед директору:

— До чего ж хорош парень, а в холостых ходит. Отломится кому-то счастьице!

Напарницей Дани была толстуха Светлана, работать с ней было хорошо, а поговорить было не о чем. Светлана работала молча, а если выдавался простой, всегда что-то жевала, пряча в кулак. Они встали к станку, надели рукавицы, взяли плоские крюки с одним зубом на конце. Доски уж пошли по транспортеру, вываливаясь на стол, удары крюков присались одновременно, тупо и мягко войдя в белое тело деревесины. Дана и Светлана подтянули доску к себе — сначала влево до упора, и там, взвизгнув, с коротким зубовым скрежетом пила отsekla торец, отбросив его вниз, а потом — рывок вправо, и вот уже Даня нажала педаль, и, взвив фонтанчик опилок, с

тем же скрежетом прошла поперек доски пила, еще движение крюком от себя — и доска ровная, белая плывет по транспортеру к солнечной щели, в которой мельтешат, золотясь, как мошка, древесные пылинки, и там, за этой щелью, доска мягко и гулко падает.

У других станков девушки разговаривали, а Дане нравилось, что ее напарница молчалива: она не мешала ей думать. Дане не хотелось возвращаться мыслями к Семену, и она опять стала вспоминать того парня с «Буковины».

«А может, я ему приглянулась, — думала она. — Ведь все бывает... Вон девочки рассказывают, иной раз просто на улице встретишь, и начинают дружить. Конечно, все бывает. А он ничего, веселый... Ой, да что уж это я! Ну, пригласил на вечер, и хорошо. Мне бы потанцевать вдоволь, уж очень хочется... А ведь может и не прийти. Просто сболтнул и забыл. Он ведь немного выпивший был. Ну, и не буду надеяться. Интересно, как живет он: в общежитии или дома? Если в общежитии, то хорошо, вроде как бы свой...»

А в длинном цехе шла работа, тянулись доски по транспортерам, дрожали деревянные переходы и взвивалась вверх пыль к синему плакату «Все 420 минут — производству!».

В комнате на стуле висела приготовленная ему белая рубаха, пахнущая стиркой и утюгом, отчищен и отглажен темный костюм. Он оделся и, чувствуя во всем теле легкость, пошел на кухню, где был накрыт стол для чая.

— У меня бутылка есть, — сказала мать, — если хочешь...

— Ни за что, — ответил он. — Мне еще предстоит. Если бы ты могла хоть рюмочку, тогда другое дело.

— Но я не могу, у меня печень, — сказала мать.

— Вот и чокнемся чаем.

И когда они сели и мать разлила чай по чашкам, но пить не стала, а посмотрела на Христию долгим, горестным взглядом, он понял, что это и есть прощание, потому что другого времени для него не будет: впереди праздничная кутерьма на всю ночь, а утром он уже должен плыть в Северодвинск.

— Ты знаешь, — сказала мать. — Я сегодня целый день волнуюсь... Совсем не потому, что ты уезжаешь. Я с этим свыклась в мыслях. Просто у меня взвинчены нервы, словно предчувствие: вот-вот должно что-то случиться.

— Что же? — спросил Христя, насторожившись.

— Сама не знаю, — вздохнула она. — У меня такого давно не было. Боюсь, и все... Ты поосторожней на вечере. Не пей много. Ладно?

— Ладно, — сказал он.

Где-то в глубине его сознания мелькнула тень суеверного страха, она была отзвуком того тревожного чувства, которое засело в нем с утра. Еще на теплоделе Христа почувствовал неладное, будто откуда-то из белого пространства долетел к нему сигнал беспокойства, предупреждая о незримой опасности. Он старался подавить в себе это чувство веселостью и суетой, а вот теперь мать снова возвредила его. Если бы это сделал кто-нибудь другой, он сумел бы отмахнуться, но мать была по характеру спокойна, привыкла к неожиданностям и происшествиям: она работала врачом-травматологом, ее хорошо знали и ценили в этом городе, где множество людей работали в порту, на воде, с лесом, и, как ни береглись, получали ушибы и увечья. Вот почему предупреждение матери так насторожило его. Но ему тут же захотелось успокоить и ее и себя.

— Ты думаешь, в последний день что-нибудь должно случиться? Это ты не думай, — махнул он рукой. — Люди почему-то всегда считают, что в последние минуты что-нибудь да произойдет. Это какой-то непонятный закон психологии. Вот я по себе знаю. Сидишь на футбольном матче, и когда остается до конца пять минут, весь стадион взвинчивается. Обязательно думают, что сейчас случится на поле чудо. А как правило, ничего не случается.

— Смешной ты у меня, — сказала она. — Давай лучше помолчим.

Они стали пить чай молча, потому что все, о чем могли говорить, было обговорено раньше, а сейчас хорошо было посидеть тихо — не часто сидели они так прежде, и встречались не часто из-за торопливой суеты жизни, а этот грустный покой нужен был Христе и матери, чтобы вблизи друг от друга подумать и о том, о чем не всегда помнится на расстоянии.

«Она еще красивая, — думал он. — И не старая. А когда отец ушел, была совсем молодая. Только я тогда не понимал, что она еще совсем молодая... А теперь ей жить одной и одной, пока не состарится. Это же надо — такая несправедливость... И ничем не поправишь, ничем, хоть локти кусай! Пять лет одна, и дальше всю жизнь... Жалко ее».

«А я счастливая, — думала мать. — Такой у меня парень. Хорошо. Христя надежный. Он уедет, но не

Жили Кубликовы в двухэтажном доме стандартной застройки с почерневшими бревнами, скрипящей лестницей; занимали на втором этаже квартиру из трех небольших комнат. Получил ее отец от редакции. Самую маленькую комнату, где умещалась кровать, стеллажи с книгами, письменный стол, еще со школьных лет выделили Христе, в другой жила мать, а третья пустовала. Ключ от нее был у отца. Приходил он редко и ненадолго, иногда не показывался месяцами, а когда являлся, приглашал к себе Христя, а порой запирался там один, потом выносил на кухню порожнюю бутылку и исчезал.

Христя знал, что отец вот уже несколько лет снижает где-то в другом конце города то ли угол, то ли комнатенку, но ни разу там не бывал, да его туда и не звали. Все соседи и знакомые считали, что мать давно примирилась с тем, что отец живет отдельно, но Христя видел, как она мучилась каждый раз после его посещений, ходила осунувшаяся, с набухшими, красными глазами, из-за всяких пустяка поднимала крик, хотя в обычной повседневности была кротка, молчалива и терпеть не могла скандалов.

После шумного и нервного утра в институте, где были речи, поздравления, слезы, Христя пришел домой, заснул и, наверное, проспал бы до ночи, если бы его не разбудила мать. Она стояла у постели нарядная, в хорошо сшитом темно-синем платье, выглядела помолодевшей, нездоровые полукружия у ее темных глаз стали незаметными, щеки зарозовели, волосы были подкрашены в рыжеватый цвет.

— Вставай, пора, — сказала мать.

Он посмотрел на нее, щурясь, потом, изловчившись, выгнул свое крепкое тело, подпрыгнул в постели, обнял мать, привлек к себе, поцеловал в щеку.

— Ох, и красива! — засмеялся он. — Под венец... Прямо под венец! — сказал он, похлопывая ее по плечу. — И чтоб в церковь на коляске, и чтоб свечи, и чтоб пели: «Ве-еррую в единого-о-ого...»

— Ну, ну, — насмешливо погрозила ему мать.

Христя пробежал в трусах в ванную, пустил холодный душ и оттуда, перекрывая плеск воды, запел душераздирающим голосом: «Вер-р-рую...»

бросит меня... Ну, конечно, я счастливая, что же мне еще нужно, если у меня такой парень...»

— Я по воскресеньям стану наведываться,— сказал он.

— Ты не обещай,— вздохнула мать.— У тебя такая работа будет... Ну, а потом еще и женишься, ведь пора.

Она сказала это очень по-деловому, как уже о решенной неизбежности, и Христи рассмеялся:

— Это пока сложно, мать. Вот если бы найти такую, как ты, тогда может быть... Но пока те, кого встречал, были не интересны.

— В мое время врачи почему-то любили жениться на сестрах,— все тем же деловым тоном сказала она.— Среди них бывают хорошенкие.

— Может быть, и попадется,— опять засмеялся он.— Но когда я был там на практике, что-то мне не везло.

«Ну и хорошо,— успокоенно подумала мать.— Так пока лучше. Чаще будет приезжать... Ну, конечно, так пока лучше».

5

Семен появился в перерыве. Даня успела сбегать в буфет, выпить молока и возвращалась к мосткам, где в затишке на солнце загорала Светлана в малиновых трусишках.

— Нашла себе место,— сердито сказала Даня, и в это время ее окликнули. Она перегнулась через пеприла и увидела Семена. Он стоял на площадке, усыпанной опилками, и сверху казался совсем низким и широким, словно по колени ушел в мягкую древесную массу. Даня сбежала к нему, а он все еще, задрав круглый подбородок, смотрел вверх.

— Это что у вас тут за цирк,— сказал он, указывая на Светлану.— Не женщина, а борец-боксер.

— Ты бы хоть поздоровался со мной,— оборвала его Даня, потому что ей не понравилось, как он смотрел на Светлану, вкусно сжав пухлые губы, масляно щуря глаза.— Не видел, что ли, как женщины загают?

Семен внимательно посмотрел на нее и покачал головой:

— Ревность — чувство, имеющее злость.

— Какая там ревность,— досадливо поморщилась Даня.— Тебя как сюда пустили?

— По пропуску,— сказал он, мягко взял ее под руку.— Тебя повидать. Пойдем в тенечке посидим.

Они прошли в угол, где на валом лежали горбыли, сели на них. Семен снял фуражку, положил ее на колени, бережно расправив верх с масляным пятном посередине.

— Неприветная у нас получается встреча,— сказал он своим размежеванным, спокойным голосом.— Вечер ждал, ночь. Несерьезно. А между прочим, твой родитель Иван Никанорович просил с приветом передать, что ждет тебя через месяц в отпуск, как обещалась.

— Как они там живут?— спросила Даня.

— Ничего, хорошо живут. Приедешь, сама разглаголишь. Мне все рассказывать некогда. Пять минут перерыва осталось. А я должен про твою судьбу знать.

Даша промолчала, потому что, как и в прежние их встречи, почувствовала необоримую покорность перед ним, и его голос, очень ровный, почти лишенный каких-либо звуковых оттенков, и как он сидел перед ней, внимательно разглядывая ее лицо, смущали Даню, внутренне сковывая ее.

— Ты нынче в институт подавать будешь?— спросил он.

— Нет. Два раза подавала... Чего же еще?

— Тогда и делать тебе тут нечего,— говорил Семен.— Такую работу ты и у нас под Костромой найдешь. А по общежитиям мотаться, где одни безобразия, молодой девушке нет никакого резона.

— Как безобразия?— спросила Даня.

— Ночь ночевал, видел,— все с тем же непримиримым спокойствием говорил он.— Профессию получила, теперь про дальше надо думать.

— Мне хорошо тут.

— Чего уж хорошего. Двадцать лет, пора иметь свой законный угол...

— Мне хорошо тут,— упрямо повторила Даня, потому что почувствовала с тревогой, что сейчас он и может сказать ей то, чего она так боялась.

— Послушай,— сказал он и взял ее за руку, пальцы его были теплые, крепкие и слегка сжали ее ладонь.— Я ведь чего ждал? Чтоб ты не просто девчонкой была, чтоб ты самостоятельность имела. Я про семейную жизнь много сейчас понимаю, потому что среди своих друзей ее навидался. И не спешу. По нашим временам женщина обязательно свою самостоятельность иметь должна. Я за тобой сколько лет смотрю. И вот сейчас думаю — хватит тебе себя испытывать... Хватит!— В его ровный голос пробилась слабая, жалостливая нотка, и Даня, вздрогнув от нее, посмотрела на Семена внимательно и словно впервые за эту их встречу увидела его. Семен сидел перед ней в летнем кителе, воротник синей рубахи облегал его плотную шею, торчал вверх смятыми концами, черный галстук съехал в сторону, и все лицо его показалось Дане несвежим, с нездоровым, серым цветом щек, глаза смотрели печально.

«Ну, что ему надо от меня?»— тоскливо подумала Даня, и тут же все в ней вдруг воспротивилось этому человеку. «Да что он мне, кто он?»— И она отдернула свою руку, тотчас встала, сказала, упрямо тряхнув головой:

— Не поеду я никуда. Вот и все... А сейчас мне идти пора.

— Но она не успела от него отвернуться, как он опять схватил ее за руку, теперь уже сильно и больно.

— Кто завелся?— спросил он с тем, своим обычным спокойствием.

— Эй, Даня!— закричали в это время сверху.— Давай, транспортер пошел.

«Слава Богу!»— облегченно вздохнула она и вырвалась от Семена.

— Ну, еще посмотрим,— сказал он ей вслед, и от этих его слов, деловых и строгих, прежний, застоявшийся страх шевельнулся в ней, она метнулась от Семена, побежала в цех.

6

Было около семи пополудни, а солнце еще стояло высоко, день казался в разгаре, прокатывался по улице трамвайными звонками, шумом автомашин, и все было ярким: чистая, еще не успевшая потемнеть зелень листвы, обнаженная сталь рельсов, афиши городского цирка, слепые от солнца витрины магазинов, и Христи шел не спеша, наслаждаясь теплом и думая, что, может быть, идет в последний раз многолетним своим маршрутом от дома до института, и в этом была своя светлая боль. Он остановился на углу, там, где разбирали старые деревянные дома Немецкой слободы. Здесь были свалены в кучу черные бревна, желтые в пазах, было видно, как они еще крепки, не тронуты ни жучком, ни гнилью; один дом уже совсем разобрали, и

из земли торчали опиленные сваи, жестко, как кости, белея срезами, а у другого дома была раскатана только часть стены, и прямо на улицу выходил лепной потолок с потрескавшимися голопытыми амурчиками, со стен свисали ободранные обои, и в пазах торчал коричневый мох. Что-то было тревожное в этом разоре, как после тяжелой беды, и остатки старой, ненужной утвари: погнутые умывальники, проржавевшие кастрюли, сломанные стулья — вызывали глухое беспокойство, словно тут, на этом небольшом пространстве города, что-то треснуло и нарушило привычное течение жизни. Христия знал эти дома с тех пор, как помнил себя: тут жила девочка, с которой он ходил еще в седьмом классе из школы. От нее он слышал, что прежде был тут зал с поющими полами, и с той поры дом для него обрел таинственность, а сейчас был оголен так, словно показывал, что на самом деле никакой тайны не хранит.

Он постоял, будто прощался и с этим местом. «А слюнявый я сегодня», — усмехнулся он над собой и услышал негромкие голоса, сдержаный смех и обернулся. За бревнами, присев на нижнее, прижалась друг к другу три девушки в школьных формах, и одна из них манерно держала в оттопыренных пальцах сигарету, сложив губы трубочкой, выпустила дым, а две другие увлеченно и восторженно смотрели на нее. Христия сразу понял, что здесь происходило.

— Веяние времени! — сказал он громко. — Девочки хотят быть мужчинами.

Та, кто курила, вздрогнула и от испуга сунула сигаретку в карман передника.

— Выйду сейчас же! — прикрикнул на нее Кубликов.

Она выхватила руку, хотела бросить сигарету, но успела разглядеть лицо Кубликова и понять, что никакая опасность ей не грозит, и, кокетливо поведя глазами, спросила с наивной простотой:

— А у вас тоже в горле першишт, когда курите?

— Затягиваться не умеешь, вот и першишт.

— А вы покажите. — И она протянула ему свою сигарету.

— Курение — дело личного самообразования, — наставительно сказал Кубликов. — Учителя здесь не нужны, наоборот, их избегают. Желаю вам, — поклонился он.

— Спасибо, — очень вежливо ответили ему девушки.

Он пошел от них, довольный собой, и стал думать, что сегодня во всем следует быть добрым, и там, на торжестве, он не станет никому мешать, ни с кем не затеет спора — пусть запомнят его таким. Да и надо привыкать к строгости, потому что он теперь не мальчишка, а по-настоящему доктор, от которого, как сказано было нынче утром, люди будут ждать слов утешения и надежды. «Прошу, Христия, шалопай. Да здравствует доктор Кубликов!» И он тут же вспомнил «Буковину», как ехал веселый, бесшабашный с Соловков, и танцы в салоне, и девушку с необычной синевой глаз — все это казалось теперь очень давним, словно было не вчера, затуманилось в памяти, потому что между вчерашней ночью и нынешним вечером еще было утро со своими шумными, торжественными событиями.

«Я же ей свидание назначил, идиот», — вспомнил он, и остановился в досаде, и тут же сморщился: — «Ну, подождет, да уйдет, не велика беда». Но тут же Христия понял, что не сможет вот так отмахнуться от себя, потому что мысль об этой девушке начнет точить его, вызывая раздражение, и будет мешать ему чувствовать себя вольготно. «Ах ты черт!» — выругался он и взглянул на часы. Было семь. До почтамта можно было добежать минут за десять, а то и

меньше, и он сорвался с места, думая на ходу: «Может, и не придет, тогда легче...»

Возле углового, торчащего серым кубом здания почтамта было шумно и тесно, но, несмотря на многолюдье, Кубликов увидел Даню издалека и удивился, что так сразу узнал ее, потому что, когда бежал, ему казалось — успел забыть ее лицо. Она стояла у самой кромки тротуара, в синеньком костюмчике джерси, помахивая сумочкой.

— Ой! — воскликнула она, когда он подбежал. — А мне показалось, не придет.

— Это почему же? — отдуваясь, сказал он.
— Да так. — И спросила, словно еще не веря, что все должно случиться так, как они договорились:
— Мы идем на вечер?

«А есть в ней что-то необычное, — подумал он, и ему стало смешно. — Вот наши девчонки взвиваются! И без того страдали — кавалеров, мол, не хватает», — и, подхватив Даню под руку, повел ее от почтамта.

— Тебе здорово этот костюмчик идет, — сказал он, чтобы сделать Дане приятное, так как в нем шевельнулось чувство вины перед ней.

— У нас все девочки хорошо одеваются, — ответила Даня. — Мы в сезон по сто «ре» и больше зарабатываем. Можно хорошо одеваться. Каждую неделю в клубе консультация по моде. Это директор заботу провивил.

— Тяжело доски ворачать?

— Привыкла, а потом, я сильная. Это с виду только такая, а вообще сильная. Скажу, не поверите... В смену по пять тонн досок переворачиваю.

— Ого! — воскликнул Кубликов. — В наш век механизации.

— Механизация у нас хорошая, а доски ворачаем. Это точно, что пять тонн, экономисты считали.

Она говорила, гордясь собой, и Кубликову это нравилось. «Даже хорошо, что с ней приду», — думал он. — Не в том дело, что девчонки удивляются, а поменьше будет суеты. Очень даже хорошо».

Они подошли к институту, серому, плоскому зданию в грязных потеках, — вот-вот должен был начаться ремонт. Вошли в подъезд, где стояли парни с нарукавными повязками и Надя с коробкой памятных значков.

— Моя гостья, — сказал Христия, пропуская вперед Даню.

Дежурные и Надя знали, что никаких гостей сегодня на торжество приглашать не полагалось, но пропустили Даню, а Надя подумала и прицепила к ее кофточке значок с крестом и полумесяцем, но один из парней все-таки не сдергался и пробурчал в спину Христию: «Всегда у тебя что-нибудь». Христия повернулся к нему, но Надя успела схватить его за руку, притянула к себе и, скривив тонкие губы, кивнула в сторону Дани.

— А я про нее не знала.

— Теперь узнаешь, — ответил он, усмехнувшись, глядя, как Даня подошла к зеркалу проверить прическу.

— Но мы все-таки потанцуем, — сказала Надя, с надеждой заглянув ему в глаза. — Ведь в последний раз. Договорились? — вкладывая в это слово сокровенный смысл, шепнула она.

— Тебе это очень нужно? — спросил Христия.

— Нужно, — серьезно кивнула она и поспешила к дверям, доставая из коробки значок, так как в подъезд входили новые люди.

Христия оглядел со спины ее низенькую, плотную фигуру, с крепкими бедрами, подумал: «Дудки! Сегодня у меня есть защита», — подошел к Дане и повел ее в холл, где было светло, играл возле лестни-

цы институтский джаз, хотя никто не танцевал, все стояли группками и негромко разговаривали.

Даня остановилась, оглушенная музыкой, и ей показалось, что сейчас Христя поведет ее со всеми знакомить, и она заранее смущалась, но тут услышала, как кто-то требовательно позвал:

— Христофор!

Возле стеклянных дверей стоял коротконогий генерал, широкогрудый, голова у него была плотно посажена на туловище, так что казалось, у генерала нет совсем шеи, воротник мундира с золотым шитьем упирался в красные, мясистые щеки, отчего все лицо было вскинуто вверх, выдвигая вперед гладко обртый, тяжелый подбородок, и все же лицо его было приятным, потому что освещалось молодым блеском умных серых глаз и на голове мальчишеских торчали ежиком рыжие с просядью волосы.

А рядом стоял, широко раскинув руки, высокий человек, в пиджаке ржавой масти, который был широк ему в плечах, смят на лацканах, из кармана торчала красная записная книжка. Был этот человек без галстука, внейлоновой синей рубашке с расстегнутым воротом; черные волосы с седыми стрелками дикобразно падали, вздуваясь скобкой, назад; утюный нос с расщелинкой на конце морщился от удовольствия, и глаза с набухшими, малиновой окраски веками смеялись щелками под грибоедовскими очками, совсем чужими на таком изумленно-небрежном лице.

— Христофор,— еще раз позвал этот человек густым, с крепкими басовитыми раскатами голосом.

— Отец,— успел шепнуть Кубликов Дане и, не отпуская ее от себя, пошел навстречу отцу и сказал:— Здравствуй.

Отец обнял его, обдав крепким запахом табака и одеколона «Шипр», трижды расцеловал, вскрикивая: «Поздравляю!»— и тут же хлопнул генерала по погону:

— Ну как, Миша? Каков он у меня, а?

— Хорош,— перекатывая во рту, словно камушек, бкуву «р», протянул генерал.— Ничего не скажешь, хорошо.

— Вот, Христофор, вот,— все еще хлопая генерала по погону, захлебываясь радостью, говорил отец.— Мишу встретил. Двадцать лет не виделись, а встретил. Сенсация!.. А он, понимаешь, генерал... Тут у вас первый выпуск собрался. А я ведь их всех до одного знал. Знал, Миша?

— Знал,— добродушно подтвердил генерал.

— Их и осталось-то четверть в живых, а вот собирались. Через тридцать лет собирались. Молодцы-то какие!

Христя слышал, что в институт съехались те, кто кончал его тридцать лет назад, и утром, когда была клятва Гиппократа, в зале сидело человек пятнадцать пожилых людей, больше женщины, а одна из них, сухощавая, со смуглым, цыганским лицом— говорили, что она академик,— выступила перед ними, всплакнула коротко, но так как речей было много, она мелькнула меж другими. Знал Христя, что собираются эти пожилые люди сами, они долго списывались меж собой, разыскивали друг друга в разных городах. Под их вечер отвели столовую в первом этаже, и у них там должно было быть свое торжество и свои разговоры.

— А это кто?— повернулся отец к Дане.

— Даша,— сказал Христя,— познакомьтесь.

— А я вас знаю,— неожиданно сказала Даня.

— Прелестно!— восхликал отец.— Вы очень красивая девушка, Даша. И откуда вам известна моя персона?

— Вы к нам на завод приходили, заметку писали.

— Вот!— гордо повернулся отец к генералу.— Я, будь здоров, тут какая личность! Любой мальчишка в городе знает. Репортер, брат, репортер! А ты спрашивал, чем живу.

«Понесло его»,— усмехнулся Христя.

— Ну, мы пойдем,— сказал он,— нам пора.

— Да, да,— закивал отец.— Еще увидимся. Я ведь тут от газеты...

— И я надеюсь,— ласково сказал генерал.

Тут же отец обхватил его за плечи, заговорил торопясь:

— А я вот сейчас тебе случай напомню...

В это время джаз заиграл марш, кто-то из девушки закричал: «К столу! К столу!»— и все стали подниматься вверх по лестнице.

— А он и про меня писал,— сказала Даня, радуясь, что отец Христя оказался знакомым человеком.— Он всю бригаду перечислил и меня. Когда свою фамилию в газете увидишь, прямо не по себе становится. Правда, интересно, что я с ним знакомая?

— Он всем знакомый,— сказал Христя.— Достопримечательность города.

7

Столы в три длинных ряда были накрыты в актовом зале, густо уставлены закусками, бутылками с водкой, спиртом, разведенным брусничной водой, сладким вином; садились шумно, смеясь, окидая друг друга, и Христю тоже звали с двух сторон, но он не успел выбрать, куда ему пойти, как подсказала Надя.

— Мы тебе место заняли, давай к нам.

В этой компании был Володя— муж Нади, еще один парень с умным, красивым лицом— «Степан»— назывался он Дане,— а остальные— девушки. Они дружно стали ухаживать за Даней, думая, что она смущается, предлагая наперебой закуски, а Надя, которая села с правой стороны от Христя, спросила его шепотом:

— Почему же ты молчал, что женишься?

— Это кто тебе сказал?— усмехнулся он.

— Все наши об этом шумят. А она ничего,— сказала Надя, косо, оценивающе взглянув на Даню. Володя услышал их разговор, подмигнул Христе:

— Молодец, старик. Одобряю!

«Черт с вами,— самодовольно подумал Христя.— Так даже лучше».

В это время шум стал быстро стихать, потому что за столом, поставленным поперек зала, появился ректор института, невысокий, сухощавый, средних лет человек, с запавшими, покрытыми желтизной щеками, и вместе с ним преподаватели института. Ректор постучал пальцами по микрофону, стало совсем тихо, и он начал говорить приятным, мягким голосом, что все поздравления, которые можно было сказать, сказаны нынче утром, а сейчас пришла пора выпить перед расставанием, повеселиться, и, приподняв стакан с вином, произнес свой тост:

— За первого вашего пациента, коллеги, и пусть он будет здоров!

Слова его были покрыты аплодисментами, смехом, криками «ура».

Христя подмигнул Дане, чокнулся с ней, и она засмеялась, потому что почувствовала себя легко и просто за этим столом.

Потом возле сцены поднимались и говорили в микрофон тосты разные люди, и если первых двух выслушали еще хорошо, то затем шум не прекращался и слов нельзя было как следует расслышать, но все равно аплодировали и опять кричали «ура!».

В одном конце зала задумчиво пели, в другом девичий голос прокричал частушку:
Ты что наделал, окоянний.
Купил перстень деревянный.

А за столом, где сидели Даня и Христя, начали спорить. Затеял спор Степан, он сидел, широко развалившись на стуле, непринужденно обняв двух девушек, и одна из них хрюстела соленым огурчиком, держа его, словно пирожное, отогнув мизинчик.

— Человек,— хмурился высокий лоб, говорил Степан.— Человек не есть Homo sapiens, которому просто сто пятьдесят тысячелетий. Человек — это общество. В высшем смысле мы сейчас имеем дело со сплетением мозговых центров в одно целое для решения задач, непосильных одному. И чем дальше мы будем жить, тем сильнее будет этот обобщенный коллективизм. В принципе морфологическая эволюция человека прекратилась с той поры, когда он стал человеком, изменились лишь его отношения к природе, все усложняясь и усложняясь. Вот почему краеугольный камень — общественная нервная деятельность...

— Точно,— сказала девушка под рукою Степана и сноса откусила от огурчика.

Он, довольный, погладил ее по голове.

«Умный парень,— думала Даня,— все они тут умные. Мне хорошо с ними».

— Дребедень,— сказал Христя.— Вся эта трепотня пасует перед практикой. Я костоправ и буду вправлять кости каждому персонально, совсем не думая о его мозговых извилинах. Человек не только общество, человек и сам по себе. Ясно?

— Вот! — внезапно воскликнул Володя, и его округлое, с по-детски припухлыми губами лицо налилось краснотой, стало злым.— Ты всегда был такой! — И он сердито посмотрел на Надю, которая сидела слишком близко к Христе.— Тебе на всех плевать, было бы тебе самому хорошо. Я всегда про это думал, а сегодня скажу напрямик!

— Ты что? — удивляясь его внезапной ожесточенности, спросил Кубиков.

— Он ревнует,— с холодной невозмутимостью сказала Надя.— Он видел в окно на «Буковине», как мы целовались, и ревнует.

Володя еще больше покраснел, по-рыбьи глотнул воздух и сказал надуто:

— Пошлость.

Степан захохотал, сильнее прижимая к себе девушек. Тогда Володя опять повернулся к Христе и, не громко, нарочито отделяя слова, сказал:

— А разве тебе не плевать на всех? Скажи, на третьем, когда была эта история с Лидкой, скажи...

— Правильно,— кивнул Христя.— После того, как вы хотели меня выпереть из института, я потерял к вам интерес. Вы притворялись, что хорошие товарищи и даете мне под зад ради меня же самого. Вы были принципиальными хранителями морали и делали вид, что не понимаете: история с Лидкой — это наша история, она только для двоих. А вы влезли в нее, как идиоты-правдолюбцы, и чуть не отправили девчонку на тот свет. А вам казалось, что вы охраняете общество.

— Кроме меня,— сказала Надя.

— Правильно, кроме тебя,— подтвердил Христя.— Ты отстаивала свои интересы...

— Какие интересы? — задирало спросил Володя.

— Она писала мне любовные записки.

— Ну, знаешь! — вскочил Володя.

Но Надя взяла его за плечо и усадила на место.

— Я писала,— сказала она.— Успокойся.

— Ну тебя к черту, Володька! — вздохнул Христя.— Ты опсихел от своей любви к жене. Я про тебя все знаю. Замучаешь ведь ее. Пое-

дешь в свою Вологду и будешь беситься от ревности каждый раз, когда она будет уходить в поликлинику. Но ты не бойся, она тебе не изменит, она просто так станет держать тебя на поводке.

— Я не буду его держать на поводке,— сказала Надя.

— Ты и про меня все знаешь? — спросил Степан.

— И про тебя,— усмехнулся Христя.— Твой путь прям и ясен. Станешь писать заумные статьи в «Медицинскую газету», и за это тебя будут любить женщины.

— Точно,— сказала девушка с огурчиком.

— Ну, а ты сам? — с уверенным добродушием спросил Степан.

Даня увидела, как сжалась в кулак лежащая на столе левая рука Христи. «Зачем они так начали ссориться? — думала она.— Ведь как хорошо было!». И она положила свою руку на его кулак, чтобы успокоить его. Но Христя не заметил этого.

— Что с меня взять,— вздохнул он.— Костоправ и есть костоправ, — и тут же подобрёвшим голосом сказал: — А знаете, ребята, мне хотелось посидеть сегодня без старых обид. Ведь все равно расстаемся. И никто ведь, по правде говоря, не знает, как у кого сложится. Давайте выпьем, а?

— Давайте,— подхватил Степан.

— Давайте,— сказала и Надя своим спокойно-холодноватым голосом.

Тогда Володя посмотрел на нее, лицо его обрело прежнее полудетское выражение, и он тоже сказал:

— Давайте.

Христя приподнял стакан, повернулся к Дане, увидел ее руку, лежащую у него на кулаке, улыбнулся ей, сказал:

— Ну, выпьем.

А она смотрела на его лицо с раскосыми глазами, в которых, как тогда, на теплоходе, появился зеленоватый блеск, на губы с косыми срезами к уголкам и думала: «А он добрый... Он даже очень добрый».

— Лучше я перегожу, — ответила она ласково, боясь его обидеть, и объяснила: — В меня столько сразу не убирается, и я пьяной не люблю быть.

В это время сильный вскрик через микрофон покрыл шум в зале, от него многие вздрогнули, наступила неожиданная тишина, и в ней с профессионально дикторским пафосом прозвучали слова:

— Товарищи молодое поколение!

Даня обернулась к сцене, там у ректорского стола стоял, морща узкий нос с расщелинкой, взлохмаченный, держа в одной руке микрофон, в другой бутылку с шампанским, отец Христи.

— Позвольте напомнить вам, — яростно говорил он, — что в этот день двадцать шесть лет назад началась война. Позвольте предложить тост за тех, кого мы в сорок первом из этого зала отправляли на войну. Салют наций!

Он отпустил пальцы с бутылки шампанского, и пробка с выстрелом пролетела над столом, разбила вдребезги стакан, там сразу взвизнули девушки, а отец Христи стоял, высоко подняв бутылку, и из нее вываливалась белая пена, падала ему на пиджак.

— Завелся,— сказал за спиной Дани Христя, и она вздрогнула от тоски его голоса.

Пока Христя пытался пробраться узким проходом между стульев, отец исчез так же неожиданно, как и появился; не было его внизу, в холле, где начались танцы, оставалась только столовая, там шло торжество первого выпуска, и идти туда было так же неловко, как в чужую квартиру. В столовой

был свой мир, а здесь — другой, и они не смешивались.

— Хочешь, я пойду? — сказала Даня. — Вот увидишь, приведу, он меня послушает.

Но Кубликов уж рассудил, что если отец ушел в столовую, то беспокоиться не стоит: там у него друзья, они приглядят за ним. Должны ведь и они знать, что когда он выпьет, начинает порой так куролесить, что об этом потом говорят по всему городу.

— Пойдем-ка лучше танцевать, — сказал Кубликов. Даня внимательно посмотрела на него.

— Нет, — ответила она решительно. — Ты в беспокойстве будешь, пошли вместе, — взяла его за руку, крепко сжав, и он удивился, какие у нее сильные пальцы, и, невольно подчиняясь, пошел за ней.

Они прошли коридором, где были плотно закрыты стеклянные двери аудиторий и откуда-то из глубины неслись звуки баяна.

— Я, знаешь, как с пьяными умею, — говорила Даня. — В общежитии парни ворвутся, взяли себе моду без стука двери открывать. А в это время, может, кто переодевается. Я сначала их боялась, а теперь так шугану! Меня пьяные пугаются. У меня с ними талант есть разговаривать. А ты не смейся, не смейся, я тебе точно говорю.

Двери в столовую были распахнуты, зал ее был широк, с квадратными колоннами, лишнюю мебель из него вынесли наверх, и помещение казалось пустым и неуютным, от дверей была видна только часть праздничного стола, возле которого сидел здоровый, плотный мужчина, играл на баяне. Даня повела Христа в глубь столовой, чтобы можно было увидеть всех, кто был здесь, и внезапно остановилась.

Возле колонны стоял знакомый генерал и рядом с ним худенькая женщина; генерал, положив ей одну руку на плечо, гладил ее по черным волосам, мягко, как ребенка, и его серые умные глаза были влажны, а женщина смотрела на него с такой глубокой тоскующей болью, что казалось, он сейчас не выдержит и громко закричит. Христя узнал ее. Это была та самая женщина, что выступала перед выпускниками утром, и о ней говорили, что она академик. Но тогда, на сцене, она выглядела пожилой, с усталым, запавшим лицом, только высокий лоб ее казался гладким, без морщин, и по тонким чертам можно было угадать, что прежде она была красива. А сейчас было видно, что она и на самом деле красива той строгой красотой старинных икон, где женщины с суровыми и печальными глазами, горестно поджатыми в целомудрии губами, с лицом простоты и нежности.

— Милая ты моя, — говорил генерал, поводя по ее голове пухлой рукой и тяжело сглатывая. — Любимая... Да, как же можно было так. Как же несобразно все...

— Не надо, Миша, не надо, — сказала с трудом женщина. — Пощади ты меня.

Оба они — у исцарапанной, с облупившейся зелено-краской колонны — были внезапны здесь, в полупустом зале, и Даня не сразу пришла в себя и, когда опомнилась, потянула за собой Христа, стараясь ступить тише.

Они вышли к середине зала и теперь хорошо увидали весь стол, освещенный белым светом из окон; за столом сидели женщины, их было не более двадцати, и сидели они вне всякого порядка — в одной стороне полукругом, в другой, сбившись в тесную кучку, говорили, смеялись, а одна утирала слезы. Отца Кубликова здесь не было, и Христа, досадуя, что вошел сюда, поддавшись Дане, хотел было повернуться, чтобы побыстрее уйти, но их окликнули:

— Молодые люди, просим, просим!

Звала их полная женщина, которая сидела посередине стола, особняком от других, держала в пальцах папирус. У нее было строгое, величественное лицо с крепким, орлиным носом, ее плотные плечи обтягивали черное платье с глухим воротником, шею обивала золотая цепь с камнем.

— А ну, смелее, — сказала она сильным, хрипловатым голосом, двинула за спинку стул, хлопнула по его сиденью, приказав: — Садитесь!

— Мы ведь на минутку, — сказала Даня.

— Что там на минутку, — поморщилась женщина, и под ее властным взглядом Даня смущалась, вопросительно посмотрела на Христа.

— Ты его не спрашивай, — сразу все подметила женщина. — Гость — раб хозяина, а вы тут гости. Садитесь, вам говорят.

Христя не понравилась ее резкость, и сама она не понравилась. «Тоже мне командующий», — сердито подумал он и хотел было сказать, что им с Даней тут нечего делать, но не успел, потому что она и это угадала и опередила его.

— Не хмурься, не хмурься, — погрозила она ему папирою. — Иши самолюбец. К столу ведь зовут, не землю копать. Иди сюда. — И, улыбнувшись неожиданно доброй улыбкой, попросила: — Не обижай ты меня.

И он смущался этой улыбки, растерянно пожал плечами:

— Ну, что ж...

Женщина усадила Христа от себя по правую сторону, Даню по левую, деловито спросила:

— Вина или коньяку?

— Нет, — сказал Христа, — на сегодня мне хватит.

Ему и на самом деле не хотелось пить, выпитое в актовом зале не опьянито его, он был трезв, и ему нравилось быть таким.

— Ну и правильно, — согласилась женщина. — Тогда фрукты, — и сняла с вазы два крупных апельсина. — Молодцы, что зашли, — сказала она, сдавив в жестких губах папирус. — А то я было решила сама туда, к вам. Может, думаю, твистану с ними, а то кручинка заедает. Вы жуйте, жуйте витамины. — Она посмотрела, как Кубликов срезает ножом сочную, толстую кожуру, скривила губы, выпустив длинную струю дыма. — Хирург, конечно. Это правильно. Самая деловая профессия среди врачей...

В это время от группы женщин, что сидели с краю стола, отделилась низенькая, кругленькая, с пышной прической окрашенных в медный цвет волос, блестя бойкими глазами, крикнула баянисту:

— А ну, Захар, дай-ка нашу плясовую.

Баянист в торжественной суровости вскинул голову, раздвинул меха и заиграл «камаринскую».

Женщина притопнула ногой в лакированной туфельке, подбоченилась и, мелко семяня, прошла по кругу, потом охнула с нарочитым испугом, присела легко раз, другой и... раскашлялась, остановилась, схватившись за грудь, глаза ее погасли, она покачнулась, к ней подбежали, подхватили под руки, поднесли воды.

— Ничего, ничего, — бормотала она, бодрясь, а баянист, надменно отрешенный, все играл и играл свою «камаринскую».

— Забыли, — хрипло сказала женщина с папирою. — Все про себя забыли. — В ее словах было не осуждение, а потаенная грусть. — Думают, раз собирались тут, то им и по двадцать лет вернулось. А уж старость и болячки... — Она шумно вздохнула, поморщив орлиный нос. — Вот и те забыли, — кивнула она в сторону генерала. — Молодости хочется.

— У них любовь была? — тихо спросила Даня.

— Любовь,— сказала женщина.— Да что поделалася? Всёна да еще много всякого другого... Такое время любви не терпит, да и мужчинам для нее не оставляет. Вот,— повела она рукой по залу, откинувшись на спинку стула, и дерево тихо охнуло под ее могучим телом, женщина скорбно улыбнулась.— А ведь мужчины и без того народ слабый. Вы же медики, знать должны: на сто женщин рождается сто семь мужиков. А куда они потом исчезают? Беззащитный пол. А мы их по законченной несправедливости на войну да в другие беды. Беречь надо мужиков, беречь,— подмигнула она Дане.

— Я всегда это утверждал,— усмехнулся Христя.
— Ты молодец,— похлопала его по спине женщина.— Только встреч таких не надо,— вздохнула она.— Тридцать лет — это слишком много.

— Все же интересно, —уважительно сказала Даня,— взять да и встретиться.

— Трагично. Я-то сама ехала, думала: вот своих увижу. Да уж слишком многое переплелось, перепуталось, накрутилось на твою жизнь, что и сама себя узнать не можешь... Впрочем, вру. Не у всех так, нет, не у всех. Вы вон их послушайте.— И она указала на двух женщин, что сидели поблизости друг против друга и говорили через стол, на котором было свободное пространство, будто кто-то нарочно сдвинул с этого места бутылки и закуски.

Одна была желтолица, скучающая, с сухим блеском монгольских глаз, седые кудрявые волосы белыми лохмотьями вздымались вверх, другая смотрела на нее маленькими сверлящими глазами, у толстых, искаленных кривой гримасой губ торчали проволочки острые волосы; несмотря на всю разность их лиц, их роднила общность выражений — у обеих напряженная изготавка, словно только дай сигнал, и вскочат одновременно, и жесткая непримиримость взглядов.

— Ваши штучки,— говорила толстогубая,— всегда шли наперевес... всегда... и я буду до конца...

— Хорошо, что мы выперли вас с кафедры,— говорила, перебивая, желтолицая, хлопая сухонькой ладонью по столу.— Столько вреда... столько вреда... Не наука, а сверление дырок в бубликах. Это мы-то жестоки? А ты забыла о своем доносе? Ты забыла эту ужасающую терминологию...

— Донос?! — воскликнула толстогубая.— Вот твое, твое письмо было доносом...

— Ага, не нравится! — сказала желтолицая и так хлопнула ладошкой по столу, что зазвенели все бутылки на столе.— Когда идут до конца, вам не нравится?

— Дурочки,— вздохнула рядом с Христей и Даней женщина, брезгливо повела своим крепким носом.— Две «принципиальные» идиотки.

Дана испуганно посмотрела на нее.

— Ничего, ничего, девочка,— сказала женщина и опять скорбно улыбнулась.— Мысли всплыли... Все изменились за тридцать лет, а эти... Я на брюхе поплзала, ранеными под огнем таскала, а они лаялись, больницы строила, а они лаялись, на пенсию собираясь, а они все еще лаяются. И врачами-то никогда не были. А вот обождите-ка, к концу вечера начнут целоваться и слезы лить друг у друга на плече. Эх, выпью-ка я еще! — Она налила себе в рюмку коньяку, дернула полными плечами в предвкушении.— За вас, ребятки! — И выпила легко, не морщаась.

— Ну, мы пойдем,— сказал Христя, поднимаясь.— Извините нас.

— Да, да.— Глаза ее были добры и насмешливы.— Твистаните там за меня.

— Спасибо вам,— уважительно сказала Даня.
А в холле шли танцы, ребята из джаза старались

вовсю, у микрофона, вихляясь, как на шарнирах, широко расставив ноги, самозабвенно ударяя по гитарным струнам, выпятив пухлые детские губы, пел Володя:

А как-то Коля Курочкин
Забросил в море лот.
И на эту уドчуку
Клюнул кашалот.

Те, кто танцевал, прихлопывая в ладоши, отбивая ритм каблуками, в отчаянном бездумье дружно подхватили:

Вот беда, вот беда,
До чего ж обидно.
Нет кита, нет кита,
Нет кита, не видно!

Это мелькание знакомых лиц, скрещение обнаженных женских рук, стук каблуков, грохот джаза — вся неуемная беспечность танца после полупустой столовой представилась Христе никчемной, и, на мгновение вообразив, как он сейчас, подхватив Даню, ворвется в эту толпу, будет, как и все, хлопать в ладоши, с отвращением подумал: «К чертям все это».

— Пошли-ка отсюда,— сказал он.

— Хорошо,— тотчас отозвалась Даня и заглянула ему в лицо.— Мне и самой хотелось.

Но он увидел, что это неправда, что она осталась бы тут еще, и пошла бы танцевать, и соглашается с ним только, чтобы угодить. «Обойдешься», — зло подумал он и решительно повел ее к дверям, а вслед им все еще неслось:

Вот беда, вот беда,
До чего обидно.
Нет кита, нет кита,
Нет кита, не видно!

9

Стояло безветренное спокойствие полночи, когда Христя и Даня вышли на пустынную набережную. Христя закурил и подошел к деревянному парапету, который далеко тянулся вдоль берега, был окрашен в серое и сейчас казался сделанным из легкого металла, покрытого слабой серебристой окалиной; Двина за ним лежала тихая, без тумана, другой берег виден был хорошо в чистой зелени с матовым блеском, словно бы под росой, но на самом деле росы не было, потому что тут же на газонах набережной трава стояла сухая; над противоположным берегом небо бледно розовело, но этот свет не ложился ни на воду, ни на землю, не смешиваясь и не мешая общему топазно-голубому излучению, идущему от всех предметов.

Дана смотрела, как, сунув руки в карманы пиджака, Христя курил, его узкое, скучающее лицо четко вырисовывалось в прозрачном воздухе, на большом лбу собралась продольная морщина, мягкие длинные волосы рассыпались и отдавали, как и все вокруг, матовым блеском; во всей фигуре его было отчуждение. Даня видела, что он думал о своем и, может быть, совсем забыл о ней. Ей было обидно, что он так стоит, ей хотелось, чтобы он обнял ее, привлек к себе, хотелось почувствовать упрогость его рук, как тогда на теплоходе, и она, огорченно вздохнув, сказала:

— Может быть, я пойду?

Он медленно повернулся, посмотрел запавшими глазами, лениво пожевывая в полных, резко очерченных губах сигарету, вздохнул и сказал:

— Понимаешь, приходят разные мысли.

— Бывает,— согласилась она со вздохом упрека. Он наступился еще больше и опять повернул лицо

к реке, она испугалась, что он снова будет стоять, курить, совсем забыв о ней, и сказала:

— Обними меня.

— Тебе холодно? — спросил он.

— Нет, просто обними.

Тогда он посмотрел на нее, в узких его глазах потеплело, он протянул руку, погладил ее по волосам, не спеша обнял, прижав к себе, как ей и хотелось, выбросил сигарету за парапет и медленно повел Даню по набережной.

— Скажи мне, про что думаешь? — попросила она.

— Тебе интересно?

— Да.

— Понимаешь, иногда думаешь без слов. Я не знаю, как это объяснить. Есть мысли, а когда надо высказать их, не получается. У тебя так бывает?

— Бывает. Но ты все-таки скажи. — Она погладила его пальцы, сжимавшие плечо, взяла в свою ладонь, чувствуя их тепло.

— Тут вот в чем дело, — сказал он. — Ждешь, когда кончится одна твоя жизнь, которая тебе уж опостылела, потому что все, что мог ты в ней получить, получил, а теперь должна начаться другая. И вот, когда дождался, прежняя жизнь ушла, вдруг вздрогиваешь, так как не знаешь: а новая-то, может, и не будет лучше прожитой. Ведь сколько людей мучились надеждами да планами. А послушаешь их: достаточно случая, чтоб все полетело вверх тормашками. И тогда понимаешь, что у людей больше несбыточного, чем исполнения желаний. Тогда зачем же желать, зачем загадывать все наперед? Меньше разочарований. Делай свое дело — и конец, живи куда выведет. Но вот это-то и страшно, если подумать.

— Нет, — сказала Даня, — мне не страшно.

— Это как же?

— А так... Я раньше тоже загадывала, да ничего не получилось из этих загадок. Сейчас работаю, и все. И мне хорошо.

— Это неправда, — сказал Христи. — Ты можешь сама не понимать, но это неправда.

Она приостановилась, заглянула снизу ему в лицо, и он увидел совсем рядом в ласковой насмешливо-сти ее глаза; сейчас они не казались необычно синими, а имели свою темную глубину, и рыхие пятнышки веснушек были рядом, и тонкие гладкие губы, приоткрытые в доверчивости.

— Глупый, — тепло выдохнула она. — Все это правда. Я тебе расскажу. Ну, идем, — потянула она его.

Они двинулись дальше по асфальту, вдоль которого стояли незажженные фонари, их колпаки, как огромные капли, повисшие на черных кронштейнах, лучились из самой сердцевины, а все стекла домов, обращенных к реке, были словно свежевымыты, иказалось, что за ними горит черное пламя; листва тополей будто покрыта тонким слюдяным налетом, и голыши под берегом, и песок пляжа, и даже асфальт под ногами исходили негромким сиянием, — это был свой, земной свет, а не отражение льдисто-голубого неба, свет, лишивший все вокруг теней, непостижимый свет белой ночи.

— Ты знаешь, у нас девочки очень мужественные есть. Четверо даже ребенок родили, растят сами, без отцов. Да отцы, может, про это и не знают. Все общежитие у них в нянках, правда, больше пенсионерки.

— Откуда ж у вас там пенсионерки? — удивился Христи.

— А у нас есть такие женщины — и по двадцать пять лет на заводе, вот уж и на пенсию ушли, а все

в общежитии живут. Очень любят с детьми посидеть. И ты думаешь, те девочки, что родили, несчастные, да? Как бы не так. У них гордость есть своя — материнство. Они и между нами больше привилегий имеют, потому что каждая понимает: тут смелость своя нужна — взять и пачана вырастить. Очень смелые девочки, только у одной были переживания и история, прямо драма. Эта девочка — ее Клаша зовут, ремесленное окончила, сама из Плесецка. Знаешь такой город? Ну вот. У Клаши родители очень крутое нрава, она их всю жизнь боялась. А тут у нее один солдат был, она с ним познакомилась, потом солдат в запас уволился, уехал, даже не сказал куда. Вот этой подлости трусливой я совсем понять не могу. Приди и скажи: «Уезжаю от тебя, не было у нас любви, не получилось». Конечно, трудно это услышать, зато принять и простить легче. А то какой же ты мужчина, если бегством, как последний трус, спасаешься. Все равно ведь когда-нибудь такая подłość в жизни проявится и напомнит о себе. Я в этом убежденная... Так вот, когда Клаша на последнем месяце была, поехала в отпуск к своим, а родители ее не приняли. Или, говорят, с мужем приезжай, или мотай к тому, чей ребеночек, а нам вне закона не нужен. Старосветские помещики, а не родители. Отвезли мы ее в больницу, потом встречу устроили: цветы, подарки, все как полагается, в дирекцию завода обратились, в завком, чтобы ей комнату в первую очередь в новом доме выделили. У нас выделяют, только не все хотят, рассуждают так: если я одна жить буду, то и за ребенком некому будет приглядеть, а ясли в очень большой перегрузке, туда места добиться тяжелее, чем квартиру получить. Самая наша тяжелая проблема. В общем, все мы это сделали, а Клаша все равно невеселая ходит, много задумывается. Однажды берет отгул, ей полагалось, говорит: «Поеду к своим, может, увидят внука, душой растопятся». Сутки ездила, приезжает одна. «Где же мальчишка?» — спрашиваем. «В Плесецке», — говорит, — принял». А сама ходит такая, словно месяц без воздуха в изоляторе пролежала, по ночам рыдает или же бредит, мечется. Мне Лариса и говорит: «Беда. Не иначе как к прокурору надо бежать». А у нас, знаешь, свой прокурор есть, в поселке живет. Очень хороший человек, семья у него большая — пятеро детей. Все наши девочки жену его знают, она портниха, шьемся у нее. Такую семью и на прокурорскую зарплату не обеспечишь. Для нее это приработок, и нам облегчение. Шьет она чудесно, и не надо в очереди в ателье стоять. Девочки ее очень любят. Да и сам прокурор — простой мужчина, может и совет дать и помочь. Естественно, он многих наших знает. Вот Лариса с двумя девочками и пошла к нему. «Ничего», — говорит, — найдем мальчишку. Только, — говорит, — не верю я, чтоб Клаша на крайность решилась...» Он-то не верит, а нам все же страшно. Раз появилась такая мысль, от нее нелегко отделаться. Прокурор это дело следователю не дал, сам занялся. Приходит к нам, говорит: «Ты, Клаша, только не лги. В Плесецк ты не ездила, это уж я знаю, звонил туда. Ну, и рассказывай, как и что случилось». Она и рассказала. Еще когда до родов свои ее не пустили, у нее появилась мысль — сбить ребеночка, а потом в ней эта мысль против ее воли укрепилась. Решила она сдать мальчишку в Дом ребенка. Пришла туда, ей говорят: от живых мамаш не берем, мест нет. Можем поблажку сделать, если справку принесете, что содержать не можете. А как такую справку возьмешь? У кого? Ни в завком, ни в комитет комсомола за ней не сунешься. Мелькнула у нее мысль: подкинуть. Взять да бросить ребенка тут на улице... А если и не подберет никто? Это уж совсем

надо быть без сердца, чтоб просто так его бросить. Не решилась. Вот со своим горем и забрела она на вокзал. Села на скамью, а рядом две женщины очень приятные, увидели ее мальчика, залюбовались, стали над ним ворковать. Клаша с ними разговорилась. Оказывается, сестры, обе безмужние, бездетные. Интеллигентные женщины. Тогда она и решилась. «Подержите,— говорит,— мальчика. Мне сбегать надо за вещичками, я тоже в Москву еду». Конечно же, как они откажут. Дождалась Клаша поезда, спряталась на перроне. Видит: женщины с ее ребенком у вагона стоят, беспокоятся. И вот уж минута до отхода поезда осталась, Клаша представила, как мальчишку сейчас увезут, не выдержала, хотела к этим женщинам кинуться, а за день у нее нервы подточило. Она и ударились об асфальт. Подобрали ее, отнесли в санчасть, пока приводили в чувство, поезд, конечно, ушел... Вот такая история. Прокурор, естественно, после ее рассказа нам мальчика нашел. Оказывается, уезжала одна из женщин, а другая наша — архангелогородка, она к себе мальчишку и взяла, только не сообразила тут же в милицию подать, а в Москву написала, несурзная. Клаша ведь ей сказала, что в Москву едет, она и поверила. Когда же мальчишку нашли, у нас целый диспут начался про моральное поведение. Некоторые девочки кричат: все равно Клашу надо привлечь, если не через суд, то по комсомольской линии. А я — против. Зачем привлекать? Она и так душевную свою травму получила, и хватит. Настояла я на своем. Если, думаю, ее еще раз пнуть, она всю свою гордость растеряет, станет жаться, как пес приблудный. А ей надо все обиды свои подавить. По-моему и вышло. Она сейчас хорошо живет. И мальчишку у нее замечательный... Ну, а больше у нас никаких историй у девочек не было. И это правильно. Сейчас девочки все самостоятельные. Но ребята не всегда это понимают, им часто хочется, чтобы женщина в подчинении ходила, во всем им поддакивала. Я, между прочим, заметила, мужчины больше за старомодность держатся. А не понимают, что если женщина с тобой на одной ноге, имеет свое отношение к жизни, то им же, мужчинам, легче, как в физике: одинаковое разложение сил — и движению легче.

— Век мужественных женщин и женственных мужчин,— улыбнулся Христя.— Это не моя мысль, это я где-то слышал.

— Нет,— сказала серьезно Даня.— И мужчины есть гордые... Всякие есть мужчины.

Они вошли в сквер, здесь цвели желтым и розовым кусты, на гранитном постаменте стоял черный Петр Великий, державно выкинув вперед руку с тростью, хмуро смотрел на реку, где была пристань и стояли, темнея сплетением балок, подъемные кranы; здесь пахло рыбой, дегтем и влажным тряпьем. Христя прижал к себе покрепче Даню, и она опять посмотрела на него снизу вверх, в нем пробудилась нежность к ней, он хотел склониться и поцеловать ее, но что-то помешало, он не смог понять, что же именно,— то ли эта обнаженная откровенность взгляда, то ли потому, что лицо ее, освещенное задумчивым светом белой ночи, было обращено к нему сейчас в беспредельной доверчивости, он только почувствовал, что не сможет прижаться к ее губам, и, будто наткнувшись на преграду, откинул голову назад; она уловила это движение, и едва заметная тень огорчения скользнула по ее глазам; тогда он, мгновенно поняв это, повернул Даню к себе, ладонью приподнял ее лицо, но она вдруг с болезненной жалостливостью сказала:

— Не надо... а?

И он сразу же отпустил ее.

— Ладно,— сказал, удивляясь сам себе.

Они остановились на асфальтовой дорожке, и Христя, чтобы отвлечь Даню от только что случившегося, указал ей на причалы.

— Смотри.

Там были навалены ящики, бочки, и меж ними, закутавшись в шинель, дремал сторож, а на гладкой воде стояли впритык три одинаковых буксира с высокими черными кормами, на которых белели надписи: «Пурга», «Выгуга», «Бурган».

— Я их с детства знаю,— улыбнулся Кубликов.— Дивизион хреновой погоды.

Но Даня не засмеялась его шутке.

— А я не люблю зиму,— сказала она.— Темнота да холод. Сейчас представила, как это будет. У нас от реки, знаешь, как тянет, бывало, в цеху в щели мокрого снега набьет, даже тоскливо делается. Или утром на смену против ледяного ветра... Ух! А сейчас хорошо... Странно в этом городе: летом круглые сутки свет, а зимой сплошная темнота. Сейчас и город другой и шумит весело. Ты послушай.

Он прислушался, и то, что казалось застывшей тишиной, стало наполняться тихим звоном, жужжанием моторов, глухими ударами, образуя один ровный, приглушенный гул.

— Заводы,— сказала Даня.— Всё доски пилият. И мне на будущей неделе в ночную.— И тут же попросила: — Пойдем от реки, а то и верно что-то холодно становится.

Он обнял ее, как прежде, и они вышли на улицу, где тянулся длинный дом, белая стена его сейчас обрела цвет свежевыстиранной, подсиненной простины, и на ней, как на экране, отчетливо выделялись силуэты трех мужчин, они шли вперевалку, дружно отбивая каблуками шаги, и когда подошли поближе, стало видно, что это иностранные моряки — в синих курточках, с такими же погонами, в беретах, все трое смуглы и горбоносы, оценивающе оглядели Даню, дружно улыбнулись крепозубыми улыбками, перекинулись незнакомыми словами, и, когда прошли мимо, Христя оглянулся и увидел, что и моряки оглядываются.

— Ну вот,— сказал он,— как на тебя засматриваются, а ты жалуешься.

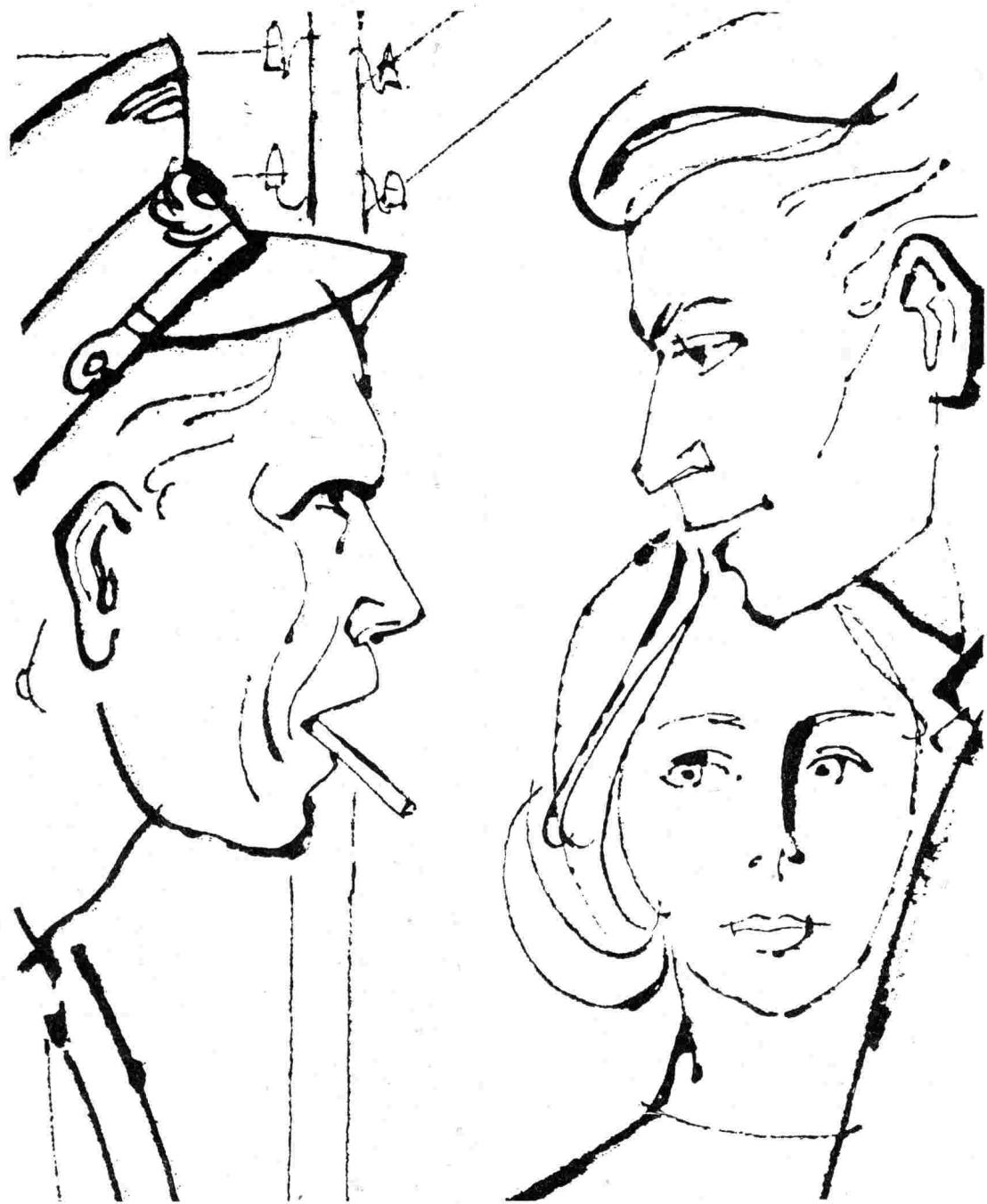
— Разве я жалуюсь! — ответила она.— Я ведь совсем о другом. Я ведь про то, чем жить.

— Да, да,— сказал он, возвращаясь мыслями к тому, что тревожило его смутной своей неопределенностью почти весь вечер.— Я почему-то об этом прежде мало думал, а может быть, и не мало, да забыл... Но ведь нельзя же так плакать, как щепка по течению,— куда вывезет.

— А я не щепка,— сказала Даня,— я сама себе рулевой. Да мне и не нужно ничего.

— Что, даже замуж не хочешь? — спросил Христя.

— Почему же? Замуж хочу,— просто ответила Даня.— Только у нас ребят мало. А потом, у меня к ним требовательность есть. Ко мне ребята так, заря не пристают, они больше к тем, где легко дается. Вон Лариска в нашей комнате мне говорит: «Ты хоть и видная и, можно сказать, красивая, а у мужчин авторитета нет, потому что они серьезности в девушках не любят». Бывает, конечно, обидно про все это слушать. Да и как же не обидно. Но ведь и с собой ничего поделать невозможно... Это ведь я при тебе такая легкая. Но ведь ты что? Повернешься сейчас и уйдешь, и нет тебя навсегда. А потом и буду вспоминать: было это или не было? Мне ведь тоже с кем-то поговорить надо. С тобой легко, потому обязанностей нет ни у тебя ко мне, ни у меня.— И



тут же остановилась, придержала его, вслушиваясь.—
Постой-ка.

Они вышли на длинную улицу. Свет излучался с обеих ее сторон, от стен домов и оконных стекол, густел в глубине, скрещиваясь по центру, стушевывая очертания зданий, призрачно дымился; что-то непонятное блестело в конце улицы неровным, сияющим кругом — может быть, излучина реки, а может быть, какой-нибудь зеркальный щит, и казалось, что в этой далекой глубине улицы горит белый огонь вольтовой дуги и от него идет серебристый дым;

оттуда же раздавался скользящий звук, нарастая, отдаваясь эхом за домами.

— Трамвай,— обрадованно воскликнула Дания.—
Ой, как повезло!.. Это дежурный.

— Да зачем он нам? — поморщился Христя.
— Устанем пешком. Мне же к семи на смену.—
И, схватив Христя за руку, побежала.

А трамвай уж летел навстречу, сияя лобовым стеклом, один, без прицепа, грохоча и повизгивая.
— Стой! — крикнула Дания.

Трамвай протяжно заскрипел тормозами, хлоп-

нули двери, Даня и Христя вскочили в вагон, он был совсем пуст, насквозь пронизан дымным светом.

— Вот как хорошо! — воскликнула Даня.

Трамвай сорвался с места, полетел по пустой улице. Кубликов бросил в кассу монетки, сел напротив Дани, взял ее руки в свои ладони.

— Ох и наговорилась я! — сказала Даня, сладко жмурясь. — На целый месяц вперед. Болтушка, верно?

— Нет, — сказал он. — Мне было интересно.

За окном навстречу мчались молчаливые дома, длинные дощатые заборы, подъемные краны за ними и, опять дома, огромные штабеля досок, груды серого кирпича и небо с глубокой, прозрачной голубизной, а спереди было лицо Дани, ставшее близким ему в своей ласковой доброте; трамвай то тормозил на остановках, задерживаясь на короткое мгновение, но в него так никто и не садился, то летел, набирая скорость, и Христя было хорошо от этого движения, порой казалось, что они отрывались от земли, а все эти дома, заборы, деревья вращались вокруг, изнывая в светлой тоске бессонной ночи.

— Ты устал? — спросила Даня, видя его задумчивое лицо.

Но он в ответ только крепче сжал ее руки.

— А я спросить хотела... Там, за столом, вы спорили. Они тебя одной девушкой корили. Что, тебя обидели когда-то, да?

— Чепуха, — сказал он. — Ужасная чепуха.

Она поняла его и вздохнула:

— Ну и хорошо.

«Хорошо... Хорошо», — повторял он про себя, слушая, как, вибрируя стеклами, подрагивая на стыках, поет трамвай, наполненный светом, летящий в пространстве, словно обретя бесконечность движения и лишившись его изначальных причин. И Христя чувствовал, что это и есть покой, которого ему так хотелось в эту ночь. Ему хотелось ощутить полное равновесие душевных сил, и оно пришло, неведомо отчего и откуда, но пришло, унося сомнения, оставив лишь сладкую тревогу предчувствия: и этому будет конец; и он наступил — поющими на тонкой ноте тормозами и скрежетом стали.

— Вот и приехали, — сказала Даня.

Они спрыгнули на песчаную насыпь, здесь шел ремонт дороги, были собраны в кучу булыжники, лежали черные доски, снятые с тротуара; Кубликов постоял, оглядываясь, приходя в себя, словно пытаясь сообразить, куда занесло его.

— Вон там, за деревьями, наш поселок начинается, — сказала Даня.

Все здесь выглядело не так, как в городе: и трава на обочине, и тополя за ней, и деревянные мостки были грубы в своих объемах, не излучали света; за то время, пока они ехали трамваем, нарушилось ночное чудо, поднялось солнце за домами, окрасив небо в мягкий оранжевый тон, и предметы стали отбрасывать слабые тени, а среди деревьев появился мутновато-серый сумрак, жидкий, как туман; и вот из него, как только Даня и Христя вышли на край обочины, выступил человек, хрустнула под его ногой ветка, и тогда он стал весь виден отчетливо: приземистый, с полусогнутыми руками, в серой летней форме и с серым, нездоровым, плоским лицом.

— Семен! — охнула Даня и невольно прижалась к плечу Христи.

Он подходил, полусогнув длинные руки, не спеша, с тем внешним спокойствием, за которым угасается нервная напряженность, и Христя мягко отстранил от себя Даню, чтобы в случае чего она не помешала ему.

— Приветствуешь, — негромко сказал Семен, обращаясь к Христе. — Моя фамилия — Ухтомов, техник по авиационной части. А про вас мне ничего знать не нужно. Про вас мне и так все понятно.

— Что же вы хотите? — спросил Христя, внимательно следя за этим плотным, низкорослым человеком.

— Совсем немного, — вежливо ответил Семен. — Я временем ограничен, у меня в пять утра полет. А мне с Даней разговор надо иметь без свидетелей.

— Ясно, — сказал Христя, посмотрел на Даню и удивился перемене, произошедшей в ней: она сникла, словно уменьшилась в росте, и сделалась совсем похожей на девочку-подростка, стояла, выдвинув вперед угловатое плечо. И впервые за их встречу Христя с жалостью к ней подумал: «Да я же ничего про нее не знаю». Он успел привыкнуть к Дане, а сейчас оказалось, что за ней есть своя, незнакомая ему жизнь, вестник которой и явился этот человек на дороге, предъявив свои права, и ничего не оставалось Христе, как повернуться и уйти, — он стал посторонним. Христя понимал, что уйти — справедливо, но эта справедливость была для него обидной; он помедлил, огорченный вздохнул и уже собрался проститься, как Даня встрепенулась и сказала:

— Нет, я не хочу...

Как только она увидела Семена, прежний страх перед ним возник в ней, но он тотчас же сменился болью: она отчетливо поняла — то светлое, хорошее, что явилось ей, когда они ехали трамваем, оборвалось так стремительно, так грубо, что она вся сжалась от такой жестокости. «Да что же это! — воскликнула она, не столько думая сейчас о Семене, сколько об этой нелепой жестокости. — Почему же так у меня?» И она отшатнулась от Семена, который приучил ее бояться себя, хотя когда-то втайне она гордилась, что вот он, взрослый и серьезный, считает ее своей невестой, а у сверстниц такого нет и некоторые из них даже завидуют ей. Она представила, как сейчас Христя уйдет, а она останется с этим ненужным ей человеком; и все в ней взбунтовалось.

— Уйди! — крикнула она Семену. — Уйди совсем. Слышишь!

Семен искоса взглянул на нее, наклонил тяжелую голову, сдвинул к затылку фуражку, обнажая запястья, и провел ладонью по лбу. Он не любил спешить, он привык все обдумывать, прежде чем принять решение, а уж когда решал, был упрям: так научила его жизнь, потому что он много видел в ней аварий и людских превратностей, рос без матери и отца, которые подорвались, возвращаясь с поля в телеге, на мине под Орлом, и еще в детском, вспоминая об этом, учился держаться особняком, примериваясь к людям. Он видел, что они иногда осуждали его, но ему было плевать на эти осуждения, слишком он уж хорошо знал цену неосторожности и, избрав себе правило — не спешить, был таким и в работе и в домашней жизни и этим достигал того, чего хотел: и хорошего заработка и умения со многими ладить. «Та-ак, — думал он. — Тут еще недалеко зашло, тут даже еще вообще никуда не зашло. Девочки в общежитии этого студента не видели. И Лариса. Она только нынче про него услышала. Значит, я вовремя успел... Все вовремя.

Тянуть нельзя. Надо Дане тут все сворачивать и ехать, а там будем думать. А то, что кричит сейчас,— чепуха...»

— Ну, вот что,— сказал Семен.— Я-то уйду, мне в аэропорт надо, и этот товарищ со мной уйдет. А к тебе, Даня, такое дело. Заявление ты на завод подавай, с родителем твоим мы обговорили. Он, надо, письмо в дирекцию пришлет, что по старости ухода требует. Вот и весь разговор. Еще хотел что-то сказать, но жаль, обстановка не соответствует.— Семен повернулся к Кубликову и позвал: — Ну, что же, пойдем, товарищ.

Но Даня загородила путь Семену, что-то взбунтовавшееся в ней теперь совсем окрепло, и она, заглядывая ему в лицо, торопливо заговорила:

— Ну что тебе от меня надо, Семен? Чего?.. Ты же никто мне. Слышишь? Никто... Я сама по себе. И не нужен ты мне вот ни столечко, вот ни капельки. И не приезжай никогда, не приходи никогда. Я не знаю тебя и знать не буду.

— Та-ак,— сказал Семен. Кожа на лице его натянулась, стала похожей на маску, и странной показалась на этом лице усмешка.— Вот послушайте ее,— кивнул он Кубликову, словно призывая его в союзники.— Чужой?.. Я не чужой тебе, Даня,— наставительно сказал он.— Сейчас хоть и нет помоловок, но считай, что у нас была. И с родителями твоими обговорено и с тобой. Решено — и точка.

— Ты что говоришь? — сказала она, и от той, еще не прошедшей боли слова ее прозвучали с такой тоской, что Кубликов внутренне вздрогнул, увидел, как смятенно повлажнели у нее глаза, и сказал себе: «Что же я стою, дурак!». Тут же к нему пришла его прежняя отчаянность. Он взглянул на Семена и сейчас увидел его совсем в ином свете — этот человек в летней форме, с нездоровым, серым лицом, говорящий с убогой назидательностью, показался ему смешным.

— Ну вот что,— сказал Христя, приглаживая ладонью свои длинные волосы.— Валяйте-ка вы, милый, отсюда к чертям собачьим.

— Как? — повернулся к нему Семен.

— А вот так,— подтвердил Христя.— Ножками. Я вызвался проводить эту девушку и провожу... С приветом! Двинулись, Даша.— И, обняв Даню за плечи, повел ее к мосткам.

— Стой! — властно раздалось позади.

Даня слегка вздрогнула под рукой Христи.

— Не бойся,— сказал он ей тихо.— И не надо оглядываться. Ну его к лешему.

Она благодарно взглянула на него.

— Стой! — опять донеслось им вслед.

И Христя не удержался, обернулся, увидел, как Семен стоит на обочине, возле кучи булыжников, подавшись вперед корпусом, согнув руки в локтях, и крикнул еще раз:

— С приветом, милый!

И тогда в Семене пробудился устоявшийся в нем с детства детдомовский закон — не уступать, а то наступят на тебя; всегдашнее его упрямство идти до конца в своих решениях взяло верх. Мучаясь обидой на насмешливость этого парня, Семен закипал злобой, отчетливо ощущая свою потерю. Нельзя было дать Дане уйти, и он быстро склонился, выхватил из кучи булыжник.

— Назад! — закричал он.

Христя видел набрякшее в ненависти лицо Семена, и в нем тоже вспыхнула злость, и тогда он с мальчишеской лихостью крикнул:

— Жила тонка!

Этот крик был последним сигналом для Семена, и он, вскинув руку, с силой запустил булыжник.

Христя успел заметить летящий в него камень, рванул за себя Даню, склонясь; черная тень мелькнула у глаз, колючая боль обожгла ухо, ударила в плечо, и Христя вскрикнул, не удержался на ногах, упал на колено, и тут же взвизгнула на высокой, нервной ноте Даня.

Этот крик мгновенным страхом отозвался в Семене. «Убил!» — стремительно подумал он, и все, что несло в себе это страшное слово, открылось перед ним — то был конец всего на свете, конец его нормальной жизни, работе, надеждам, та безысходность аварии, которую всячески избегал он, и, осознав это, он сорвался с места, побежал к Христе.

— Живой? — задохнулся Семен, и глаза его метнулись в испуге, он отстранил Даню, увидел перекошенное лицо Христи и облегченно вздохнул.— Ох ты, живой!.. Да как же это я? Да что же это я?

— Сволочь! — воскликнула Даня и размашисто ударила Семена по лицу.

Но тот словно не почувствовал удара, схватился за голову, примя фуражку, и пошел, покачиваясь, к насыпи, «Вот так... Вот так,— думал он.— И застегнуться на всю жизнь недолго».

Его ошеломило сознание того, что именно он, помимо своей воли, мог решиться на такое, и страх гнал его с этого места. Семен, все убыстряя шаг, выбрался на полотно трамвайной дороги и пошел по нему к городу.

Христя поднялся, глядя Семену вслед, ему захотелось догнать его, сбить с ног, но он тут же подавил в себе это желание, приложил руку к горячemu уху, чувствуя под ладонью кровь, и вспомнил мелькнувшую у глаз тень, вздрогнул, отчетливо поняв, что не успел отвести голову и... он так явственно это понял, что никогда не испытываемое им прежде ощущение минувшей смерти перехватило дыхание.

— Да кровь же у тебя, кровь! — воскликнула Даня, быстро достала платок из сумки, приподнялась на носках, стала обтирать Христю и всхлипнула.— Вот же, проклятый, что сделал.

Он взял у нее платок, приложил к виску, быстро ощупав его, понял, что ничего страшного не произошло. Боль в плече отпускала, и Христя, словно бы заново представив всю нелепость случившегося, улыбнулся.

— Ты что? — удивилась Даня.

— А ведь мог и убить,— сказал он.

— И мог,— все еще всхлипывая, сказала она.— И еще как мог.

Она плакала, как ребенок, не вытирая слез, и они скатывались по ее возбужденно покрасневшим щекам, и это показалось ему совсем смешным, он облегченно рассмеялся, провел пальцем по ее слезинке.

— И чего смешного, дурачок,— с нежностью сказала она и тут же спохватилась: — Идем же, у нас аптека есть. Ты держи, держи платок.

Она взяла его под руку и, поглядывая, не идет ли у него кровь, повела к поселку.

А Семен в это время, быстро пройдя с километр, остановился, страх угас в нем и сменился тоской. Впереди тянулся длинный забор, доски его были плотно пригнаны друг к другу, иссохшие на ветрах и солнце, их скучно-серое однообразие нарушила черная надпись: «No smoking»; вдоль этого забора, розовея отполированной гладью рельсов, шло трамвайное полотно, и эта отмеренная шпалами дорога показалась Семену бесконечно унылой, как его жизнь. Не столько умом, а всем чувством своим он угадал это сходство и поразился, потому что думал всегда, что умел жить правильно и уверенно, а толь-

ко сейчас увидел, как много пустоты было в его жизни. «Эх ты, Даня, Даня!» — горестно подумал он, потому что теперь знал: она нужна была ему, чтобы заполнить пустоту его жизни, потому он так и тянул с женитьбой, желая продлить свои мечты; он любил жить мыслями о Дане и получать в этом на- дежду на добро, а сейчас этой надежды не стало.

«Напьюсь я сегодня», — подумал он, хотя пить не любил и от запаха водки его мутило.

II

Они прошли деревянным тротуаром в тишине, окна вторых этажей домов и белые кружевные наличники возле них покрылись мягким желтым светом, остро пахло свежепилеными дровами то ли от длинных поленниц, то ли этот запах долетал с биржи, ее было видно справа от поселка, и там высокие штабеля досок теперь при утреннем свете казались густо-медовыми.

Они свернули к общежитию в том месте, где висел щит «В поселке не курить», и услышали, как негромко кто-то поет старую песню:

Темная ночь, только пули свистят в тишине...

Даня прислушалась, сказала:

— Кажется, наши пенсионерки гуляют.

Они вошли в сонный коридор, стараясь ступать тише, Даня приоткрыла дверь в свою комнату, заглянула в нее и обрадованно махнула Кубликову:

— Иди, никого нет.

Он вошел следом за ней, оглядывая это небольшое помещение с белыми стенами, где стояли три кровати, три тумбочки, неуклюжий шкаф, круглый стол, покрытый белой скатертью, и на нем графин с водой.

— Садись, где хочешь. Вот моя койка, — сказала Даня, указывая на правый угол у окна. — Сейчас аптечку достану. — Она тут же раскрыла шкаф, вынула бинты, йод.

— Это уж я сам, — улыбнулся Христя.

— Ой, я и забыла, что ты доктор.

Он подошел к зеркалу, что висело в простенке возле дверей, стал разглядывать свое ухо. Да чепуха. Припухло немного и царапина. Он, морщась, сма- зал ее йодом и снова вспомнил мелькнувшую у его глаз тень. «Ведь совсем немного», — подумал он. — Вот так, наверное, это и случается, внезапно, не успеваешь опомниться. Потом явится такой, как я, осмотрит, запишет: от удара тупым предметом... Вот так-то.

Он увидел в зеркало, как Даня наблюдает за ним с выражением нежности и тревоги. Она стояла у подоконника, на котором сидели две пластмассовые куклы.

— А они зачем здесь? — спросил Христя, поворачиваясь. — Играешь?

— Это не я, — смущенно ответила Даня. — Это Ларискины, она возиться с ними любит, платья им шьет... А у меня другие, я сама делаю.

— Да ну? Покажи.

— Ерунда, — еще больше смущившись, ответила она. — Ты лучше приляг. Тебе отдохнуть надо... Вот ложись-ка тут. — Она быстро подошла к своей кровати, взбила подушку и, ухватив его за руки, требовательно сказала: — Полежи немного.

Ему нравилась ее забота, он повиновался, снял пиджак, прилег на постель, опустив ноги на пол.

— А все-таки покажи свои игрушки, — сказал он.

— Да вон одна на тумбочке стоит. Это я так... На

доски насмотрелась, стала из дерева делать. В свободное время — забава.

Он повернул голову и увидел среди флаконов, коробочек с пудрой и другой мелочью деревянного толсторожего карлика, со вздутой, как парус, бородой, веселым лицом пьяницы и пройдохи.

— Здоровово! — восхищенно воскликнул Христя, беря карлика и рассматривая его. — Неужели сама?

— Да ну тебя, — конфузливо отмахнулась Даня. — Меня еще отец стамеской научил работать... Ну, а тут дерева много. Вот у меня их полтумбочки.

— Покажи.

Она с подозрением взглянула на него, словно проверяя, не смеется ли он над ней, неуверенно склонилась и вынула из тумбочки несколько деревянных фигурок, небрежно высыпала их на постель.

— На вот, хочешь — смотри.

Полулежа он стал рассматривать их: был тут лыжник, склонившийся к ботинку, чтобы завязать шнурок, сделанный из сучка, и еще один карлик, теперь уже плачущий, и мужик, несущий бревно, и женщина, сидящая на пне...

— Отлично, — сказал Христя, — их хоть сейчас на выставку.

— Если будешь смеяться, — сказала Даня, — заберу.

— А я не смеюсь. Ты же талантливая девчонка, честное слово.

— Да ну тебя, — отмахнулась она, покраснела и стала быстро собирать игрушки.

— Неужели тебе никто не говорил? — удивился Христя. — Ведь это действительно хорошо.

— Девочки говорили, — вздохнула она. — Тоже про выставку, да глупость это.

— Постой, — ухватил он ее за руку. — Подари мне одну.

— Ой, да хоть все бери.

— Нет... Ты мне вот этого карлика, пьяницу, подари.

— Я же сказала — бери.

Он взял его, еще подержал в руке, наслаждаясь, попросил:

— Сунь в пиджак.

Даня охотно сделала это, присела рядом с Кубликовым на кровать.

— Смотри ты какая, — сказал он, откидываясь на подушку и словно пытаясь так, на расстоянии, получше разглядеть ее. Вот так можно прожить с кем-то рядом, и ничего о нем не узнаешь, — и тут же он вернулся мыслями к тому, что случилось у настыпи. — Послушай, все же кто тебе этот техник по авиационной части?

— Я же тебе сказала: никто, — пожала она плечами. — Он сосед наш в Костроме. Прицепился, и все... Знаешь, я не хочу о нем. Ладно?

— Ладно, — согласился он.

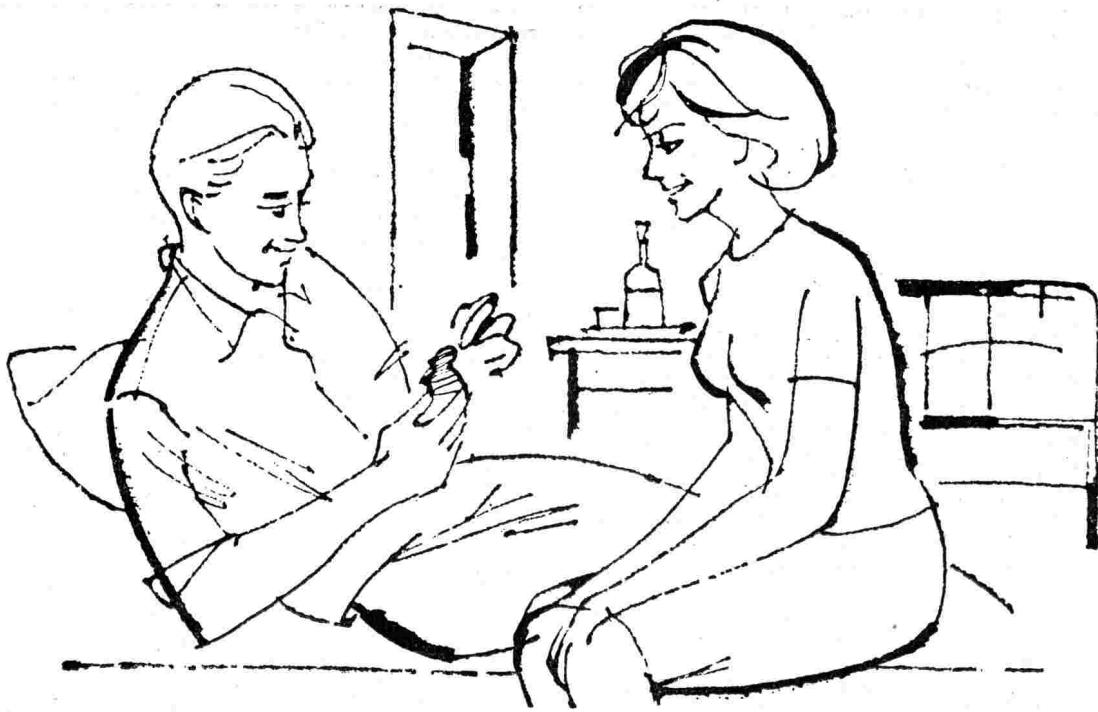
Тогда она протянула руку, погладила его по лицу и по волосам и вздохнула:

— Только я за тебя испугалась, так испугалась, что сердце остановилось... Ужас какой.

Глаза ее округлились, будто она готова была заново пережить тот страх, что сковал ее при Семене, и Христя не выдержал, прятанул ее к себе, жалея, крепко обнял и поцеловал, сам задохнувшись от свежести и ласки ее дыхания; она не отстранилась, прижалась к его груди и так, заглядывая ему в лицо, тихо провела пальцами по его бровям, а потом по губам, сказала шепотом:

— Ты хороший... Я сама хочу тебя поцеловать. Можно?

Он улыбнулся ей в ответ, она опять провела рукой по его щеке, склонилась медленно, пытаясь



продлить это мгновение, любуясь его лицом, прежде чем прижаться к нему губами, и тут за спиной ее скрипнула дверь и кто-то воскликнул:

— Ой!

Даня быстро повернулась. На пороге стояла Лариса, хмуряя, плотные щеки ее привяли, смятый плащ, который держала она, сполз на пол.

— Если помешала, уйду,— сказала она, готовая закрыть дверь.

Но Даня уж заметила, как устала и зла Лариса.

— Нет, нет,— торопливо сказала Даня.— Ты проходи.

Лариса прошла по комнате, волоча плащ по полу, насупившись, посмотрела в сторону Кубликова, который сел на кровати, пробурчала:

— Все святошей была, ишь, водить начала.

— Да что с тобой? — всплеснула руками Даня.— Да разве можно так?

— Можно,— зло ответила Лариса, швырнула плащ на стул, сбросила с ног туфли так, что один полетел под кровать, второй в угол.— Все можно,— повторила она, с размаху ударила кулаком по подушке, внезапно тонко всхлипнула, повалилась на кровать и тяжело, вздрагивая плечами, зарыдала.

— Ой, да что же это? — подбежала к ней Даня.— Лара... Ну, ты что?.. Слыши, Лара!

Христя встал, взял со стола графин, налил в стакан воды, деловито подошел к кровати, жестко взял Ларису за плечо, сказал строго:

— Пейте!

Она взмахнула рукой, не глядя в его сторону, чуть не выбила из его рук стакан, еще громче заголосила.

— Пейте! — повторил Христя.— Хватит истерики.

И тогда она оторвала лицо от подушки, взглянула на него опухшими глазами.

— Пошел ты! — крикнула.

Но он сильнее сжал ее плечо, поднес стакан к губам, и она вдруг отшатнулась, присмирела, испу-

ганно посмотрела на него и сначала покорно, потом с жадностью стала пить.

— Вот так,— сказал Христя.

Лариса еще раз вздрогнула телом и, обессилен, обмякшая, опустилась на подушку.

— Ну, что там у вас? — спросил Христя, а Даня погладила Ларису по голове, но он отвел ее руку, показывая, что не надо этого делать.

Лариса, снова всхлипнув, но теперь ужетише, отводя глаза к стене, протянула хрипло:

— Гришку погнала...

— Совсем? — ахнула Даня.

— Со-о-всем,— тяжело промычала Лариса и тут же приподнялась, заговорила быстро, глотая слезы: — Я ему что? Я ему как? Ни поговорить, ни мнением поделиться. А нам ли поговорить не о чем! — с надрывной ноткой в голосе воскликнула она.— Ему только одно и надо...

— Ну и правильно, ну и хорошо,— жалея ее, заговорила Даня.— И молодец, что направила.

— Да я же теперь одна осталась,— снова всхлипнула Лариса и слизнула языком слезы.— Он же в кандидатах у меня был. Где я другого добуду?.. Скажи-ка мне, Данька, где другого добуду?

— Это что у вас за шум? — раздалось от двери. У порога стояла комендант тетя Таня, щурилась бледно-голубыми глазами, близоруко вглядилась в Христю, сказала осуждающе: — И мужчина посторонний среди ночи.

— Это ко мне,— сразу же вступила Даня.

— Ну и что? Правила есть, для всех писаны.,, А ты что, Лариса, заревана?

— Она Гришку направила.

— А-а...— понимающе протянула тетя Таня, помчала, потом решительно сказала: — Ну, делов-то куч! Ну, и пусть поревет. Чего ей мешает? Пусть поголосит. Полезно.— И улыбнулась.— А ну, пошли-

ка к нам, мы у Нюя гуляем. Ну, чего на меня смотрите? И нам погулять надо. Пошли, кому говорят? И ты, молодой человек, иди. Поглядишь, какой у нас обряд. А Ларисе мешать нечего.—И она широким жестом указала на дверь.

12

— **В**от и гостюшки вам,—сказала тетя Таня, пропуская вперед Христию и Даню.

За круглым столом сидели две пожилые женщины, обе празднично одетые — одна в черном зорхатном платье с беленским кружевным воротничком, пышногрудая, с черными, быстрыми глазами, смешливым, сморщенным лицом; другая с грунной, строгой осанкой, в розовой новой трикотажной кофте, с тяжелым двойным подбородком, с той приветливой добротой во взгляде, какая бывает у хлебосольных женщин, привыкших к достатку в доме, уверенных в себе и в своей жизни. На столе стоял старенький самовар, до блеска начищенный, недопитая бутылка «Столичной», тарелки с закуской; небольшая эта комната отличалась от той, где жила Даня, тем, что по углам ее стояло множество коробок, верх шкафа был забит разными отжившими предметами — лампой, статуэтками, вазочками; кровати укрыты пышными атласными покрывалами, на одной стене висел яркий ковер с оленями, на другой — среднеазиатской расцветки, и там же большая фотография моряка с бравыми усами, а над столом — голубой абажур; комната была опрятна, с обжитым, устоявшимся уютом.

— Вот эту черноглазенькую у нас Нюй зовут,— говорила тетя Таня, усаживая Христию.— А другую Анной Васильевной величаем. Для отличия, а то обе Нюры, и спутать можно... Ну, вот. А тебя-то как?

— Христофор,— ответила за Христию Даня.

Женщины по очереди протянули через стол руки для пожатия: черноглазая — быстро, грунная — не спеша, с достоинством.

— Даня, ты своя здесь,— командовала тетя Таня.— Наливай гостю... Себе не смей, на смену скоро идешь. И нам пlesни. Сегодня ведь какой день? — повернулась она к Кубликову.— Противостояние по науке, а для нас — поминовение усопших. Это мы себе сами такой праздник сделали. Молодежь о нем не помнит, да и в государстве нашем больше победу праздновать любят. А нам, бабам, этот день важен. Война началась, и вся наша жизнь долго под ней ходила. Вот мы самовар в этот день и делаем. Ну, налили!... Новые гости, пойдем по новой. Помянем мужиков наших,— торжественно сказала она, и рябое лицо ее посупровело.

— Помянем,— быстро отозвалась Нюра.

— Необходимо помянуть,— важно сказала Анна Васильевна.

Они протянули стаканы в сторону Христи, и он чокнулся с ними, выпил, с трех сторон ему заботливо пододвинули тарелки с закусками — селедку, хлодец, колбасу, он понял, что надо взять всего понемногу, чтобы никого из этих женщин не обидеть.

— А парень у тебя ничего, Даня...— протянула Анна Васильевна.— Глазами на моего Виктора смахивает, такой же разрез узкий. Только мой покрупней был. Я сама крупная, так мне и мужчина высокий нужен. Ел хорошо. Каку посуду ни нальешь, все вычистит. На фотографии-то незаметно, какой большой он был,— повела она головой в ту сторону, где висел портрет заретушированного усатого моряка.

— Конечно же, он крупный был,— подтвердила тетя Таня.

— Ты же не встречалась. Откуда знаешь? — сказала Анна Васильевна, и ревнивая нотка проскользнула в ее голосе.

— То ли знаю, то ли нет,— невозмутимо сказала тетя Таня.— Но представление имею. Я обо всех мужьях представление имею. Весь поселок при мне свадьбы играл.

— Ты счастливая, детей нарожала,— вздохнула Анна Васильевна.

— Конечно, с детьми хорошо,— быстро подхватила Нюра.— И дом свой есть.

— Ну да, я счастливая,— спокойно сказала тетя Таня и повернулась к Христе: — У меня ребята постарше тебя, довоенного рождения. Хорошие ребята. И дом свой есть, это они правду говорят. У нас в сороковом поселок дотла сгорел. Как с гаража занялось, на биржу перекинулось — дерево кругом, так в одночасье уголья остались. Вот мой мужик и говорит: «А ну его к лешему — барак». А до пожара тут в поселке главным образом бараки и стояли. «Будем,— говорит, — сами строиться». Нам дом рубить легко было. Я шоферкой работала. Ух, лихой шоферкой была!

— Еще какой лихой! — радостно стрельнула глазами Нюра.

— На газогенераторах возила. Такие грузовики были, чуркой березовойтопились, как самовар. Встанешь где, кочергой в нем ворочаешь, угар в глаза. Там-то я свои зрачки испортила. Сейчас ужасно как плохо вижу. Правда, у меня глаза медленно угасали. Я и на легковой была, директора возила. Потом уж, когда комиссия запрет наложила, пошла сюда комендантам. Страшно было: ведь сто двадцать, если по новым считать, получала, а тут — шестьдесят. Привыкла себе не отказывать: и мясо в воскресенье и колбаса, а на шестьдесят не расшикуешь. Ничего, обжилась. Потом ребята стали помогать. Как же, конечно, я счастливая. И с мужем ведь до сорока третьего прожила, больше других...

— У тебя и ухажеры были! — опять весело восхлинула Нюра.

— А что, и были,— не смущалась тетя Таня.— Я ведь ничего баба, хоть и рябая, а ничего. Да и мужчины необычность любят.

— Ты домом не хвастай,— строго сказала Анна Васильевна.— Эта твоя собственность ни к чему. Мне в прошлый год завком квартиру давал?

— Еще как давал! — подтвердила Нюра.

— Вот. А я ее молодоженам переправила. Я по общежитиям тридцать лет. Мне раньше давать надо было, а теперь мне тут веселей и домовитей. И мужиками ты не хвастай, Татьяна. Мой какой был? Глаз с меня не спускал, бывало, скажет: «Тебя, Анна, без всякого бережения на люди выпускать опасно, уведут, красива». Идешь с работы, бывало, а он уж у проходной, кричит: «Хона!... Не война бы...

— А может, споем? — предложила Нюра и подмигнула Христе: что, мол, их слушать.

— А, еще споем,— оборвала ее Анна Васильевна,— и поговорить надо. Вот парню еще долить бы... Ты чего сидишь гостьей, Даня? Ухаживай... Я ведь ту ночь хорошо помню, когда война началась. Вот такая же тиши светлая была за окном, а потом сразу будто потемень упала, и жутко стало. Виктор проснулся, глянул за окно, меня побудил, говорит: беда. И правда — беда. Тут уж по всему общежитию крик стоит, радио включили...

— Да что это ты! — вдруг возмущенно сказала тетя Таня.— Опомнись, матушка. Да мы же днем про то узнали, в цеху, на заводе.

— Ты, может, и днем,— спокойно сказала Анна Васильевна.— А я про ночь хорошо помню. И в песне

так зафиксировано. Так и поется: «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нас разбудили, так началася война...» И не спорь.

— А ну вас,— махнула рукой Нюра, откинула назад голову и чистым, совсем молодым голосом запела:

Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч...

Тут же тетя Таня подхватила:

Ты говорила, что не забудешь...

— Эх,— покачала головой Анна Васильевна, но не стала перебивать песню, сложила на груди руки, прикрыла глаза и тоже вступила в нее:

Нежных и ласковых встреч.

— Хорошие они, верно? — шепнула Даня Кубликову.

Он посмотрел на ее восторженное лицо, и ему остро захотелось выпить, он взял стакан, в котором было налито немного, и выпил водку одним глотком.

— Тихо! — внезапно оборвала песню Анна Васильевна и прикрыла ладонью рот Нюры.— Кому сказала? — и напряженно прислушалась к наступившей тишине, тут же вздохнула: — Клашкин мальчишка ревет. Не иначе, описался... Ох ты, дела,— сказала она, поднимаясь из-за стола.— Клашка ведь на смене.

— И как ты их слышишь? — удивилась тетя Таня.

— Ушами,— невозмутимо сказала Анна Васильевна, направляясь к дверям, и кивнула Кубликову: — Вы уж извините. Я быстро обернусь.

Теперь стало видно, какая она высокая и большая, идет впереди на крепких ногах.

— Как она детей чувствует,— вздохнула тетя Таня, когда Анна Васильевна вышла.— Ее бы в ясли определить.

— В ясли — образование нужно,— сказала Нюра.— Да она и тут вместо няньки.

— Беда с девками,— покачала головой тетя Таня.

Христи закрыла, повернувшись к портрету на стене, только сейчас по-настоящему разглядывая его: матрос был молод, хоть и усат, с крепкой шеей, отчаянными глазами.

— Веселый, наверное, был,— сказал он, задумчиво выпуская дым.

— А кто его знает,— ответила Нюра.— Его же не видел никто.

— Как не видел? — не понял Христи.

— А очень просто,— хмыкнула Нюра.— Анна этот портрет в сорок втором на базаре купила. Вместе торговались.

— Ой! — воскликнула Даня и с упреком посмотрела на Нюру.— Зачем это вы?

— Что зачем? — поджала губы Нюра.— Я Анну с шестнадцати лет знаю. Вместе плавали в цеху давали, вместе жили. Мужа у нее и не было никогда. А в сорок втором на архангельском базаре один фотограф такие портреты для женщин делал. Анна вот этого и выбрала. Теперь его за мужа считает, привыкла.

— Это правда,— хмуро сказала тетя Таня.— Ну, да и что? Может, ей такое забвение нужно.

— А я ничего,— сказала Нюра.— Пусть верует. Я не против. Я сама за поминование его душой.

И Христи внутренне вздрогнул, потому что странная мысль пришла ему.

— А если он жив? — тихо сказал он.

— Матрос-то? — спросила Нюра.— Ну и пусть себе живет. Мы же не по нему, по своим парням страдаем. А их сколько там головы сложило!

— Тихо,— толкнула ее в бок тетя Таня, потому что в это время скрипнула дверь.

Анна Васильевна вошла, озабоченно улыбаясь.

— Угомонился,— вздохнула она.— До чего же приятный мальчишка растет... Ну, что же вы молчком сидите? Давайте все же споем.

Даня взглянула, как нервно дымил сигаретой Кубликов, спохватилась, сказала извиняющимся голосом:

— Мне на смену надо собираться.

Анна Васильевна взглянула на будильник, на нем было шесть.

— Полчаса еще посидишь.

Но Даня уже встала из-за стола.

— Мне Христофора проводить надо.

— А-а...— понимающе протянула Анна Васильевна.— Что же, дело молодое,— и тут же, склонив голову в полупоклоне в сторону Кубликова, протянула: — Спасибо, что гостями были, и нам приятно.

Он встал, оглядел трех женщин, которые смотрели на него с любопытством и добротой, и сумел только ответить:

— Спасибо,— и быстро пошел к двери.

— Ты меня у крылечка подожди,— шепнула ему Даня в коридоре.— Я переоденусь.

Он вышел на улицу, остановился возле скамьи, докуривая сигарету; было уже утро, солнце стояло над домами, и особо чуткая тишина разливалась вокруг, и в эту тишину из глубины общежития выплыла негромкая песня:

Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч...

«Хорошие они, верно?» — вспомнил он восторженный шепот Дани, и ощущение несоразмерности жизни, которое испытал он, покинув институтский вечер, вернулось ему: люди представляли перед ним в своей завершенности судеб, смысл которых укладывался в несколько слов, и, хотя каждый человек был отличен от другого, эти люди имели объединенность — они прожили одно и то же, хотя и старались найти свое, и каждый видел свою жизнь длинной, насыщенной сложнейшими неожиданностями, но уйти от общих закономерностей не мог, и онито, эти закономерности, были кратким мигом общего движения. «Как же сложно все это,— думал он.— Как трудно увидеть себя во всем этом потоке и определиться. Ведь не только же работа и дело... Есть и другое, чем жив только ты. Но что?»

Свистящий звук самолета врезался в тишину, и тут же, словно ударило с откатом тяжелое орудие, гул расплылся над домами, звякнули стекла окон — это самолет, преодолев звуковой барьер, ушел в синюю глубину неба, словно возвращая своим ударом конец ночи. Еще минут полчаса, и заскрипят, запоют доски настилов под шагами людей, идущих на смену.

— Я готова,— сказала Даня, выбегая на крыльцо.

Она была в серой спецовке, которая еще больше подчеркивала стройность ее фигуры, под поясок были подоткнуты красные рукавицы, волосы укрыты косынкой, и, несмотря на бессонную ночь, лицо свежо; Даня, видимо, только что умылась, и несколько капель воды запуталось в пряди выбившихся из-под косынки волос.

— Пойдем, я тебя до остановки провожу.

Они пошли рядом по черным доскам, и Христя чувствовал, что теперь, перед расставанием, тень отчуждения пролегла между ними; только сейчас он по-настоящему понял, что покидает этот город, через два-три часа он сядет на теплоход и отправится в Северодвинск, где бывал множество раз и не очень любил его строгие улицы с кварталами стандартных домов, с тяжелым памятником Ломоносову — стоит он там со свитком в руке, наступившись, совсем не похожий ни на поэта, ни на ученого, а скорее на обдувотого ветрами боцмана. И Христя будет жить в этом городе, каждый день ходить мимо этого памятника, работать в поликлинике, и жизнь его замкнется в свой круг, а вот этот поселок, Даня и вся прожитая с нею ночь окажутся навсегда вне этого круга.

И Данячувствовала, как они отдаляются друг от друга, понимала, что только так и могло быть; она не давала в себе утвердиться надежде с самого начала, хотя иногда, помимо воли ее, эта надежда обреталаскую власть, но не она была главной, а светлая покорность мгновению, когда несет тебя на радостной волне, без будущего и прошлого. «Хорошо мне было,— думала она.— Ну и спасибо, и этого хватит».

Улица оборвалась, справа вытянулись тополя, а за ними желтая насыпь с трамвайными путями, а слева был дом из серого кирпича, один такой на весь поселок, и у этого дома на асфальтовой площадке стояли две машины с зелеными огоньками.

— Повезло мне,— сказал Христя останавливаясь.— На такси мигом буду. А то ведь и мне уезжать скоро.

Она повернулась к нему. Он взял ее руки в свои, слабо улыбнулся, и Даня хорошо увидела, что эта его улыбка с виноватой печалью и есть конец.

— Вот,— вздохнул он.

И тогда Даня поняла: все, о чем только что думала и что чувствовала,— неправда и не может быть правдой, потому что только надеждой и прожила она краткое время рядом с этим парнем, и вот этой-то надежде, а ничему иному, и наступал предел. Его лицо еще было близко, освещенное утренним солнцем, открытое для нее, большелобое, узкое, с раскосыми глазами зеленоватого блеска, и длинные

волосы его — все это еще было для нее, но оборвется минута, и этого не будет никогда, навечно. «Да как же мне дальше...» — с болью подумала она и судорожно, цепко прижалась к его груди, постояла так, задыхаясь, и осевшим, глухим голосом, откачнувшись от Христя, сказала:

— Иди... Слышишь, иди же.

13

Христя открыл дверь в квартиру своим ключом и понял, что в доме не спят: из комнаты отца слышны были голоса. Едва он сделал несколько шагов по коридору, как навстречу ему из кухни вышла мать. Он тотчас увидел, что она провела бесконную ночь, большие полукружия под глазами отчетливо выделялись, лицо осунулось, было постаревшим. Она изучающе посмотрела на Христя.

— Ты что-то не в себе,— сказала, вздохнув.— Хорошо, что трезвый, но не в себе... И что это у тебя с ухом?

— Пустяки,— ответил он и кивнул на комнату отца.— Кто там?

— Миша Раменский приехал и еще Федотова. Отец их привел.

Христя вспомнил генерала и женщину, которую тот гладил по лицу у колонны.

— Почему же сюда? — спросил он.

— А куда же он поведет? — сказала мать.— Не к себе же в угол. Да и я их знаю... Они хоть и старше меня, но я их хорошо знаю.

— Что же ты не с ними?

— А я была. Да вот чемодан тебе взялась собирать. Приготовила все... Я их угостила. Мы хорошо посидели.

Он видел, что она хоть и бодрится, но очень устала и встревожена.

— Все-таки тебе надо было отдохнуть,— сказал он, направляясь к своей комнате. Но она остановила его, позвала тихо:

— Христя! — И сказала нерешительно, просяще:— Ты зайди к нему. А?.. Хоть попрощайся. Я тебя очень прошу. Ладно?

Он понял, что ей нельзя отказать, хотя ему никого не хотелось видеть.

— Ладно,— ответил он и пошел к комнате отца, без стука открыл дверь.

В комнате было душно, жарко, генерал сидел, расстегнув мундир, обнажив белоснежную нижнюю рубаху, которая туго облегала его широкую грудь, ладонью подпирал голову с рыхким ежиком волос и слушал отца, а тот склонился к нему, чуть ли не тыча в щеку длинным носом с расщелинкой на конце. Они так были увлечены своим разговором, что не услышали, как вошел Христя. На кровати спала женщина в платье, поджав под себя ноги в чулках, черные волосы ее разметались по подушке, и сейчас опавшее, с высоким лбом лицо ее было бледно, губы и во сне оставались горестно поджатыми, она спала так тихо, что не слышно было даже ее дыхания.

— Только ты меня и можешь понять, Миша,— говорил отец, стараясь произносить слова тише, и от этого его басовитый голос звучал глухо.— И осудить не можешь. Я не к женщине ушел и не бросил никого, к себе ушел... Ты пойми, к себе, чтобы людей не терзать. Вот не мог иначе, хоть тресни.

— Да, да,— задумчиво кивал головой генерал.

Христя стало неловко, и он громко сказал:

— Доброе утро.

Отец повернулся к нему, посмотрел на него так, словно приходил в себя после сна, и суетливо вскочил со стула.

— А-а, Христофор,— потирая длинные руки, сказал он.— Ты проходи, проходи... Мы вот тут с Мишей... Ну, иди же. Чаю вот,— обернулся он к столу, на котором стоял чайник.— Еще горячий...

— Не надо,— сказал Христя.

— Рад, очень рад,— поднялся со своего места генерал, но мундир застегивать не стал, взгляделся в лицо Христя умными глазами.— Отгуляли, молодые доктора?

— Отгуляли,— ответил Христя, ощущая скованность под его взглядом.— Я только на минутку... Помешал вам. Проститься зашел.

— Нет, уж погоди,— опять засуетился отец.— Прекрасно, что зашел. Великолепно! Посиди с нами. Хоть немного... Как же так — не посидеть?

— Да, да,— сказал генерал и подвинул Христя стул.— Прошу вас...

И когда все трое сели, наступило неловкое молчание, какое бывает, когда во время интимной беседы двоих подойдет со стороны чужой, и Христя хорошо это чувствовал.

— Ну вот,— вздохнул отец.— Так о чём это я...— потер он в задумчивости лоб, хотя видно было, что он помнит свой разговор с генералом и еще живет им.

Генерал искося, все тем же внимательным взглядом посмотрел на Христя и, желая помочь отцу, сказал:

— Между прочим, коллега, пуль из плеча вашего отца мне пришлось вынимать. Капитан Кубликов дважды под нож хирурга попадал, лихой был, батальоном командовал... Наверное, и не рассказывал, как его резали. Ну, конечно же, тех, кто лечит, не вспоминают,— приятно улыбнулся он.

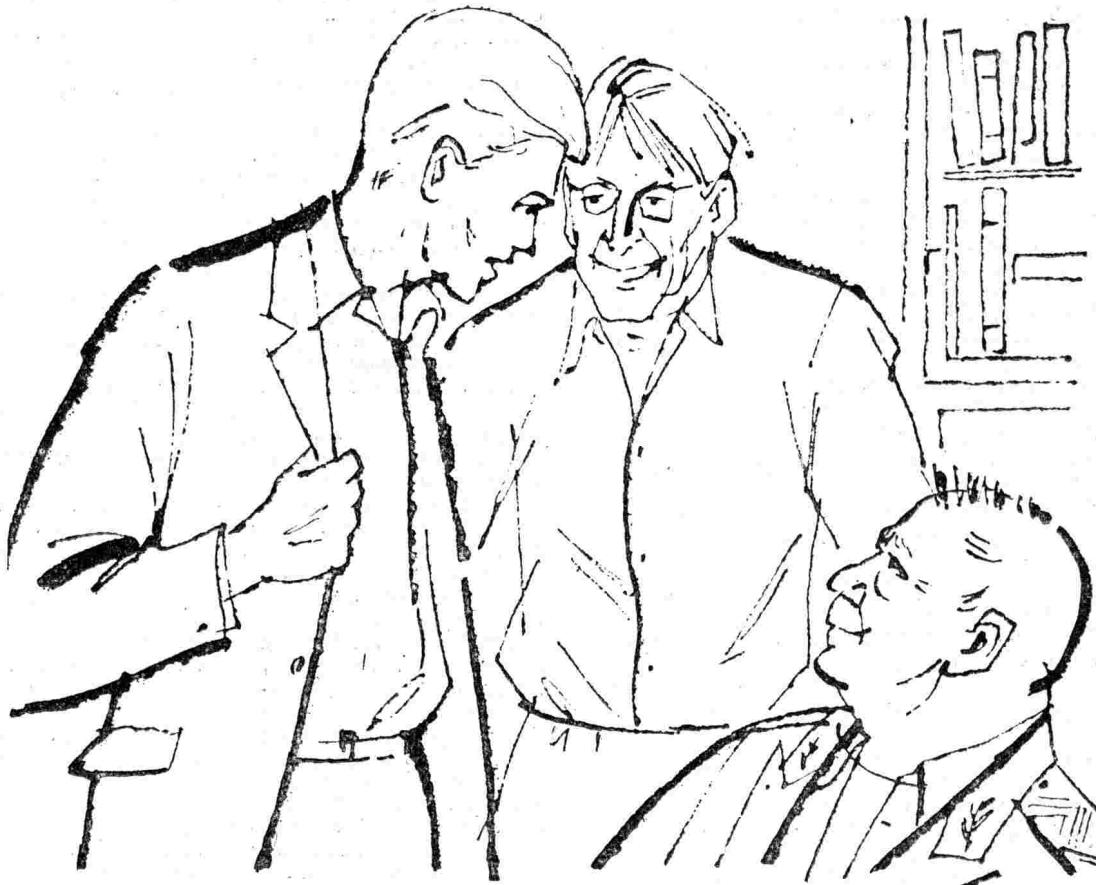
И отец сразу же подхватил:

— Ну как же я не помню? Ну что ты, Миша?.. Только меня не два, а три раза резали. Первый вот здесь, в Архангельске, когда я сержантом был. Меня на Карельском фронте осколком в бок садануло. Повезло, почти домой попал. А здесь такая оказия получилась. Мы в палате с одним морячком лежали, смешной был морячок, до войны в Ленинграде складом модельной обуви заведовал. Всех женщин в госпитале так оценивали: вот этой бы я туфельки-джимми подарили, а этой босоножки. А дело было под праздник — Первое мая. Узнал мой морячок, что у меня жена в Архангельске, говорит: бежать тебе надо. Какой же ты мужчина? А мне еще тогда ходить не разрешалось. Ну мы и разработали целую боевую операцию. Достали обмундирование, а сапог нет. Морячок все разведал, прибегает. Есть, говорит, старшая сестра, баба могучая, сорок первый размер носит, это я тебе, говорит, как обувщик, докладываю. Она свои сапоги в ординаторской оставляет, по госпиталю можно только в тапочках шлепать. Все равно ей до утра дежурить, выкрадем. Выкрадали, конечно. Сходил я домой, а морячок по своим делам. Утром возвращаемся, а нас уже ждут: комиссар госпиталя и та сестра. Оказывается, она о подмене договорилась на праздник, а без сапог из госпиталя выйти не могла, подняла шум: украли. Сделали проверку, нас не обнаружили. Тут такой шум поднялся, комиссар кричит, в трибунал дело сдадим, мол, за дезертирство. Но обошлось, только нас из госпиталя в батальон вызыдавших направили. Был такой в школе у Красной Мельницы. Страшное заведение. Пришли мы туда с морячком, а там на одиннадцать человек суп в тазах выдают. Самых натуральных эмалированных тазах. Садятся вокруг него и начинают работать ложками. А мы же из госпиталя, у нас ложек нет, облизнулись у этого таза. Так день прожили и стали на фронт проситься.— Отец рассмеялся, но смех его прозвучал искусственно, и во всем его рассказе было что-то неестественное, натянутое.

— Вот так,— вздохнул он и тут же, будто стыдясь своего неумелого притворства, болезненно сморщился, махнул рукой, сказал решительно: — А, да что там!.. Я докажу свою мысль, Миша. А то когда же еще?.. Ведь столько молчал. А он ничего, взрослый,— кивнул отец в сторону Христя.— Да и знать ему надо. Ведь уедет, а потом начнет по-своему судить.

Генерал ничего не ответил, даже не шевельнулся.

— Я репортер, Миша. Репортер. Ты вдумайся,— быстро и глухо заговорил отец.— Факты, только факты. «Сегодня состоялся выпускной вечер...» «Бригада



каменщиков выполнила норму....» И тэ дэ и тэ пэ. Не талант, не гений, не очеркист, не фельетонист. А с меня этого хватает, мне и не надо больше. Вот она,— кивнул он на спящую женщину,— умница, человек с мировым именем, ты — генерал. Вы добились того, чего хотели. И у меня нет зависти, я тоже получил свое. Я живу минутой, вот это ты должен понять, Миша. Я научился этому там, когда мы по минам ползали, в блиндажах под хлипкими накатами спали. Минуту прожил лишнюю, и радуйся, она твоя, может, следующей не будет. Другие от этого отошли в мирной жизни, забыли, а я — нет, во мне это пожизненно засело, как осколок. Сначала мучился, потом сдался. Зачем себя переиначивать?.. Вот теперь ты все должен понять, Миша. И ты,—повернулся он к Христю.— Она чудесная женщина, твоя мать. Может, на всем свете и нет больше таких. Умна, красива, спокойна. И как ждала меня! Но, может быть, и беда-то наша вся в том, что встретились еще до войны, а я тогда совсем другим был. Потом уж прожили мы много лет в разных измерениях: я — куда минута понесет, а ей нужны были покой после тяжелой работы, внимание, забота о будущем. К старости такой разрыв острой, невыносимее. Замучил я ее, вывернул всю. Что же мне оставалось, как не уйти? Из-за простого уважения к чужому достоинству. Каждый живет чем-то. И, может, это не так уж мало. Я не жалуюсь, друг мой. Не на что. Ты понял меня, генерал?

— Да, да,— опять покивал головой генерал и иско-

са взглянул на Христю, тут же встал, потрогал чайник.— И верно, не остыл... Ну, молодой доктор, я все-таки налью вам чайку. И себе.

— Эх, жаль, выпить у нас не осталось! — горько вздохнул отец.

— Ничего, обойдемся,— сказал генерал, разливая чай по чашкам. Одну подвинул Христе, другую взял себе, с наслаждением отпил глоток, почмокал губами.— Хороша заварка, а?.. Между прочим, здесь, в Архангельске, вода свой особый аромат имеет. Помню, когда уехал отсюда, долго к другой не мог привыкнуть. Детством пахнет, а, Николай?— подмигнул он отцу и тут же опять с доброжелательством обратился к Христе.— Не отставайте, коллега.

И Христи, повинувшись ему, взял чашку.

— Чаепитие в России всегда было ритуальным обрядом перед деловой беседой, расставанием да и при встречах,— широко раскинувшись на стуле, говорил генерал. Он был хитер и умен, старался не смотреть на отца, обращался к Христе, словно они были давними знакомыми.— Смешно вспоминать, но на войне в госпитале мы с собой самовар возили. Тульский, настоящий, с медалями. Он у нас заслуженный был: во время бомбёжки пробило. В оружейной мастерской залатали, а не бросили... Помнишь, Николай?

— Нет,— сказал отец и снял свои прямоугольные очки, устало потер красные веки. Во всех его вялых жестах сквозила обида, и Христи понимал, что направлена она генералу; отцу не нравилось, что тот

словно бы оставлял его исповедь без внимания. Христя знал эти приступы обидчивости у отца, он становился в это время беспомощным, словно ребенок, и Христя всегда жалел его в такие минуты.

— Ну, конечно же, не помнишь,— сделал вид генерал, что не уловил отцовской обиды, и опять повернулся всем туловищем к Христе, выплевив вперед тяжелый подбородок.— Это был наш быт, мы его и помним.

Женщина на кровати шевельнулась, генерал насторожился, затих, но она не проснулась, только отвернула лицо к стене; генерал облегченно вздохнул, задумчиво покачал головой. И Христя понял, что сейчас-то ему и нужно уйти.

— Извините,— сказал он, поднимаясь.— Мне пора.

Тогда встрепенулся и генерал, взглянул, как сидел, все еще хмурясь от обиды, отец, решительно поставил чашку на стол, поднялся, застегнул мундир на одну пуговицу и сказал тихим, но властным голосом:

— Ну вот что, Николай. Ты от меня совета не жди, ты сам себе на все вопросы ответил. Я лекарь, да не по душевной части. Каждый из нас, старина, так много потерял и так многому научился, что и не имеем мы права учить друг друга. Уважать и сострадать — это другое дело, это обязанность, и я ее приемлю, как, впрочем, и ты. А большего и не просят, уволь.

— А большего и не надо, Миша,— прикусив дужку очков, тихо и виновато, словно теперь стыдясь своей обиды, сказал отец.— Только чтобы ты понял — больше и не надо ничего,— и тут же встрепенулся.— Эх, до чего же выпить хочется, даже в горле звенит!

— Ну, ну,— улыбнулся генерал и шагнул навстречу Христе, взял его за плечи, сказал просто:— Рад, коллега, что познакомился. Удачи вам.

14

А в это время Даня дошла до проходной, возле нее к забору рабочий прибивал плакат: «Товарищи! Желающих заработать в свободное от работы время приглашаем на навалку досок на биржу пиломатериалов. Расценки аккордно, с возва...» — прочла Даня и вяло подумала: «С отгрузкой, значит, зашиваемся». Со стороны поселка еще не двигался поток людей, оставалось несколько минут до той поры, когда заполнится рабочими главная улица, и Даня не спешила, только сейчас чувствовалось за ночь. Хотелось лишь одного — завалиться бы куда-нибудь в затишке на свежие доски, заснуть под солнечным теплом.

Зеленая «Волга», раздраженно урча, перебралась через насыпь ремонтируемой дороги. За рулем, морщась, как от зубной боли, сидел молоденький шофер. Он затормозил у проходной. Сквозь боковое стекло Даня увидела директора, он был, как всегда, в черном костюме, при белой рубахе, с белым платочком в нагрудном кармане пиджака, а рядом с ним сидела женщина, на голове ее башенкой поднимались желтые, соломенные волосы, ярко горели накрашенные губы, и вся она была яркая, с капризным, броским лицом. Даня узнала ее — это была буфетчица Нина из клуба, крикливая, бойкая. Оней девушки говорили, что она из-под прилавка продает ребятам водку во время танцев. Нина обняла директора, поцеловала в щеку, и тогда он взял ее руку и тоже поцеловал, сначала пальцы, потом ладонь, и что-то сказал, но сквозь плотно закрытое стекло нельзя было расслышать его слов.

«Вот ведь что делается,— подумала Даня.— Столько хороших девушек по нему сохнут, а он себе такую выбрал. И смотри, как у них, даже шоfera не боятся. И ведь умный человек, это же надо!»

Директор вышел из машины и, не закрывая дверцы, склонился, собрав черные складки на прямой спине, сказал Нине что-то шепотом, и она рассмеялась, очень звонко и громко,— даже вахтер выглянул из проходной. Тогда директор захлопнул дверцу, машина сорвалась с места, и Даня снова увидела лицо шоferа, скошенное набок,— может быть, у него и правда болели зубы.

Директор прошел мимо Дани с отрешенным лицом. Она посмотрела ему вслед и зло подумала: «А вот пойду и скажу ему все как есть!»

Даня догнала директора у бетонной площади, где лежали штабеля свежих досок и по ним ходили две учительницы, гулко топая тяжелыми каблуками.

— Товарищ директор!— окликнула Даня.

Он быстро обернулся, узнал, и его знаменитая на весь завод белозубая улыбка эстрадного певца блеснула ей навстречу.

— А-а, Даша Трецина,— сказал он в щедрой приветливости, протягивая руки и обнажая снежные манжеты из-под рукавов пиджака.— Очень хорошо, что встретил. Есть новости...

Она, наступившись, посмотрела ему в лицо, сказала:

— У вас помада на щеке. Стерли бы.

— Вот как,— невозмутимо сказал он и выхватил из нагрудного кармана платочек, спросил озабоченно:— На левой?

— На левой,— подтвердила Даня,— пониже глаза.

Он послюнявил платок, быстро потер загорелую щеку, спросил:

— Теперь порядок?

— Порядок,— сказала она.

Директор аккуратно сложил платок, сунул в карман испачканной стороной, чтобы скрыть ее, доверительно взял Даню под руку, повел по залитой солнцем площадке.

— Так вот, Трецина,— деловито заговорил он.— Обсудили мы с парткомом и завкомом кандидатуру вашу, решили включить в бригаду за границу. Рад за вас. Это, понимаете ли...

— А я не поеду,— хмуро перебила его Даня.

Он приостановился, помолчал и спросил:

— Как это понять?

— Очень просто,— ответила Даня.— Мне и тут хорошо.

— Странно,— протянул он.— Очень даже, я бы сказал, странно. Другие рвутся...

— А я не рвусь,— ответила она.— И вообще... Нинка ваша девочкой обсчитывает. Это вы можете у любой спросить.

— Какая Нинка?— остановился он, строго глядя на Даню, но тут же понял, о ком идет речь, в задумчивости провел рукой по щеке.

— Это вы серьезно?— рассеянно спросил он.

Но Дане не было его жалко, она покачала головой и сказала:

— Эх, вы! У нас такие девушки, умереть от любви можно. А вы кого себе выбрали, даже стыдно подумать!—И, высказав это в его смущенное лицо, повернулась и, чувствуя злую удовольствие, пошла по мягкой дороге, усыпанной грязными опилками.

Она остановилась на любимом своем месте, на мостках у входа в цех, откуда была видна река, запань на ней, дворики, окорочная станция. Двина горела желтым пламенем, отдавая золотистый, призрачный дым, и, разрезая его, маленький и пятнистый, как жук, буксир тянул тяжелую баржу, набитую ящика-

ми. На запани, широко расставив ноги, работали баграми лесокаты; окорочные машины стояли, и в одной из них застряло бревно, с правой стороны белое, а с другой еще бурое; на двориках в черной воде плавали белые бревна; а на том месте, где вчера грузился шведский корабль, теперь был другой, в розово-желтой окраске. Над ним в безветрии повис зеленый флаг. На корме корабля стоял негр в красной рубахе, смотрел на скучающего возле причала пограничника и ел мороженое.

Даня вдохнула в себя душистый, пропитанный запахом мокрой коры и речной свежести воздух и внезапно с грустью подумала о директоре: «Зачем это я? Может, у них любовь... Не надо бы. Да и про Нинку я хорошо не знаю, просто слышала, сама не знаю. Ведь мало ли что могут болтать!.. Эх, как же нехорошо вышло! Ведь так и озлиться совершенно на весь мир можно».

Уже пошли девушки на смену. Они проходили мимо Дани, под их ногами, выгибаясь, похрустывали доски. Долетали обрывки разговора:

— Есть по Волге в завкоме туристские.
...в магазине сапожки-аляски, блеск!
— Ох, и чулиди же нашел!
— На лесотехнический подавай, самое верное.
— Крем «Лада» — прелесть...

Они шли мимо, пронося каждая свою непрожитую жизнь, и последней из них в задумчивой лени шла напарница Дани — толстуха Светлана, остановилась, жуя бублик, сказала с набитым ртом:

— Пошли... Смена.

И, глядя на ее здоровое, бездумное лицо, Даня вздохнула: «Вот поживу еще год и заведу себе ребенка, как у Клашки. Только мальчишку бы хорошо», — и пошла вслед за Светланой в цех.

15

Скрежет и звон трамваев, шелест автомобильных шин, грохот дизелей и подъемников у строящихся домов наполнили улицы города, и он разворачивался в этом шуме и солнечном блеске, пока Христя ехал набитым людьми автобусом, прижалвшись к открытому окну. Всюду были люди: в очереди у стеклянного кафе «Весна», на остановках, на тротуаре, у дощатых прилавков базара, где зеленели груды огурцов и лука, блестели серебром гипсовые статуэтки Пушкина и Венеры, которыми шумно торговал бородатый мужик в шляпе, и у пристани, возле синей ограды, сидели на чемоданах, читали, смеялись, пели под гитару, ели горячие пирожки, обтирая жирные пальцы обрывками газет.

Христя с чемоданом, в своей будничной черной куртке, которую любил за уютный скрип кожи, взяв билет, прошел на пристань, возле которой стояли три небольших речных теплохода, нашел надпись на щитке «Северодвинск», спустился по трапу и вошел в салон, где все места уже были заняты.

Неподалеку от входа, там, где у окна была небольшая приступка, на скамье расположились двое мужчин — один в бушлате, пожилой, другой молодой, в клетчатом, ярком свитере. На приступке, положенная на газету, желтела разваристыми ломтями треска, стояли бутылки с пивом, мужики пили его из картонных стаканчиков; большой мешок нагло лежал рядом с ними на скамье.

Христя постоял, подумал, подошел к этим мужикам, вежливо сказал:

— Разрешите, — и сволок мешок на пол.

Мужики недружелюбно посмотрели на него, но он так же вежливо объяснил:

— Скамейка для людей.

Христя сел, прикрыл глаза, болела голова, давило на виски, и во рту была неприятная металлическая горечь. «Не заболеть бы только», — подумал он.

А мужики рядом, чмокая от наслаждения треской и пивом, разговаривали.

— Ты и на Мудьюг съезди, — говорил пожилой, — островом смерти зовется, если интересуешься. А вот Двина-матушка, она же река особая. Думаешь тут дно — песок, как на пляже? То навозной. У нее дно все бревнышками устелено, где плоты было, где так от заводов уносило. Тут лесу — куча. В других местах купаться опасно, нырнешь да на бревно...

Христя понял, что задремать не удастся: эти мужики будут говорить рядом всю дорогу и обо всем на свете, потому и расположились так, хотя встретились, наверное, совсем недавно, как попутчики где-нибудь у прибазарного буфета. А как ему хотелось именно задремать, чтоб отпустила головная боль, и не думать о том, что услышал он в комнате отца...

Может быть, прежде Христя не придал бы особого значения тому, что услышал, ведь отец, бывало, приходил к нему в дом и в приступе печали говорил: «Неправильная у меня жизнь, но мне другой и не надо». Христя привык к этому, но сейчас эти отцовские слова предстали перед ним в своей законченности и обрели особый смысл. «Мне хватает обыкновенной любви к ближнему» — вот эта-то фраза и была удивительна, хотя, казалось бы, в ней не крылось ничего необычного, но именно она заставила его увидеть отца совсем не таким, каким казался он прежде. Христя чувствовал теперь, что за отцом стояло что-то большое, еще по-настоящему не осмысленное им, требующее не жалости к этому человеку, а уважения.

«Не сейчас, не сейчас, — думал он, стараясь отбросить от себя эти мысли. — Потом... когда приду в себя».

Он открыл глаза, по дрожанию пола и стуку машины понял, что теплоход отчалил.

— А если в Каргополь двинешь, — говорил рядом пожилой, в бушлате, — там старины навалом...

Христя встал и вышел на палубу. Теплоход разворачивался на середине Двины. Отсюда хорошо был виден город, который уходил далеко по берегу в обе стороны, стущевываясь нагромождением кранов, корабельных мачт, заводских труб, а в центре зелено-старинное здание гостиного двора. За ним вздымалась похожая на огромный прибрежный знак телевизионная вышка, а вправо среди кустов стоял черный Петр, слева желтел песок пляжа и видно было, как много там собралось людей, и сюда, к середине Двины, долетал многозвучный гул городских улиц. Ничего не осталось от светлой тишины ночи, стояло шумное утро под высоким солнцем, и, увидев его, Христя подумал: «Так куда же я еду? Зачем?»

И то, что узнал он раньше, узнал, прощаясь с Даней, но еще не принял душой, вернулось к нему. «Я же нужен ей, так же нужен, как и она мне». И теперь только поняв это, поверил, что не может выбросить из своей жизни минувшей ночи, как прежде выбрасывал многое.

Теплоход развернулся и пошел по Двине, оставляя позади себя город.



**Мухамед
Садри**



Моя Отчизна

Без любви,
без еды,
без одежды
было горьким житье сироты.
Ты, Отчизна,
дала мне надежду,
подняла меня на ноги ты!

Отличиться
представила случай.
Был я молод да гол как сокол
и в дырявых лаптях да онучах
по горячему цеху прошел.

И пришлось бы татарину круто,
но под яростный грохот и гул
мне ладонь
со следами мазута
русский парень, смеясь, протянул.

Мы трудились
в суровые сроки,
шли со всеми в едином строю.
На ветру пятилеток далеких
лихорадило юность мою.

Молотки и зубила ты помнишь...
Ну, а помнишь,
Отчизна моя,
как от бешеных вражеских полчищ
отстояли мы наши края?

Ты не раз убеждалась,
что сына
не согнуло в тяжелой борьбе:
на победной дороге к Берлину
каждый шаг посвящал я тебе!



Тот порыв
ты забудешь едва ли.
Мы, с победой пройдя сквозь бои,
и «Востоки» твои окрыляли
и дворцы возводили твои.

Перевел Вл. САВЕЛЬЕВ



Сайяр

Мой стих...

Мой стих,
ты незнаком с войной,
Ты не ходил солдатом в бой
И не лежал в крови.
Ты зародился в тишине
И пел о счастье, о весне,
О верности в любви.

В тебе нет запаха дымов
От полыхающих домов,
Нет стона костылей.
Горишь приветным ты костром,
Ты пахнешь мирным очагом
И травами степей.

Мой стих,
рожден ты Октябрем,
Давай поговорим о нем,—
Да будет голос чист!
И если вновь придут с войной,
Пойдешь простым солдатом в бой—
Мой стих,
ты коммунист!

Перевел А. ГЛЕЗЕР



**Владимир
Гордейчев**



Курортная баллада

В углу баян запел задумчиво,
былую ревность вороша.
Ах, как навстречу взгляду ждущему
рванулась гулкая душа!
Открыто-радостный, не искося,
был взгляд доверчив и глубок,
как будто он старался высказать
полупризнание, намек.
И без малейшей затрудненности
я с места сорван был рывком,
врасплох захваченный влюбленности
красноречивым языком.
И вот с улегшееся нежностью
опять один я должен впредь
ходить к источнику, на снежные
отроги дальние глядеть,
с угрюмым видом слушать радио,
нести ярмо обычных дел
и чувствовать себя обкраденным,
хотя ничем и не владел.

Горные вершины...

Хребтов подоблачная пасека.
Аула утренний дымок.
Снега объяя созвучий классика
недостижимый холодок.
Он здесь любил с нагайкой куцею
влетать на горные луга
и все глядел туда, где Турции
иставали берега.
Над ним заря цвела изменчиво:
то величава и строга,
то вдруг вульгарна, словно женщина,
которая не дорога.
У тех же скал с другой оказией
и мы глядим, как чист и свеж
во мгле веков Европу с Азией
соединяющий рубеж.
От обыденности отторженных,
и нас захватывает вид
венца, свечение которого
восторгом шапку шевелит.

И, глядя в проблески холодные
зари, раздутой на ветру,
я слышу вечную мелодию,
да жаль, что слов не подберу.

□ □ □

**Джемис
Паттерсон**

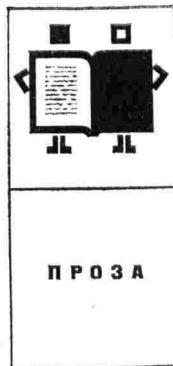


Обращение к веку

Я к нему, как к диспетчеру,
подойду и скажу,
ему руку доверчиво
на плечо положу.
Я скажу ему: — Здравствуй,
век-творец и боец,
ты парнишкой вихрастым
шел на Зимний дворец
и, всем сердцем приемля
речь про братство и волю,
слушал нашего Ленина
с делегатами в Смольном...
Ты припомн, дружище,
как тогда в Петрограде
краснофлотцем балтийским
замирал ты в бушлате.
Там, высокий и строгий,
на стыке эпох
свои честные строки
декламировал Блок...
В гимнастерке суконной,
век, ты жил на земле,
воевал в Первой Конной,
привставая в седле.
Это ты интервентов
бросил в море в Крыму,
чтобы землю Советов
не отдать никому...
Но осталось, не скрою,
много стран все равно
с государственным строем,
устаревшим давно.
Ты меня, как боец,
как товарищ, пойми.
Век! Меня ты в помощники,
если можешь, возьми!..



П. Багряк



МЕСТЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

9. ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Пятый президент, появившись столь неожиданно в дверях, оглядывал присутствующих, резко поворачивая голову то вправо, то влево. Кисточка его ночного колпака, подвешенная на длинной тесемке, с каждым поворотом дважды обкручивалась вокруг головы, издавая в последний момент странный звук, напоминающий звук поцелуя. Наконец президент понял, что только два человека из собравшихся здесь двенадцати способны перенести его раздраженный тон. Поэтому он, наградив членов Совета совершенно неуместной в данном случае улыбкой, строго посмотрел в сторону камина, где стояли Дорон и Воннел, и сердито произнес, обращаясь определенно к ним, но не называя их по фамилиям:

— Господа, потрудитесь дать объяснения! Дорон даже не пошевелился, поскольку чуток опытного интригана понял, что ситуация может оказаться для него либо смертельной, либо выигрышной, но и в том и в другом случае она не зависит от него. Надо терпеливо ждать развития событий, а уже потом принимать решение: либо спасаться либо выходить на сцену в качестве исполнителя главной роли. Дорон, закусив губу, бросил взгляд на Воннела, как бы призывая его выкручиваться из нелепого положения.

Воннел так же быстро вспотел, как и обсох, почувствовав жар во всем теле. И он произнес фразу, единственно возможную.

— Присядьте, господин президент,— сказал он.— Пожалуйста, присядьте.

Курс был дан — Воннел определил отношение к появившемуся президенту. Если бы министр внутренних дел, сардонически улыбнувшись, воскликнул: «Что-о-о? Объяснение?! Давать тебе, пятому дубликату, нулю без палочки, пятой спице в колесе, объяснение?! Много вас тут!..» — то, возможно, члены

Рисунки автора.

Окончание. Начало см. в № 8 за 1968 год.

Совета в две секунды вышвырнули бы самозванца за шиворот из круглого зала.

Теперь же им пришлось на какое-то время признать в президенте президента и продолжить игру.

— Прошу вас,— любезно сказал король Угия, указывая на пустующее рядом с собой кресло.— Сейчас мы вам все объясним, но прежде я прошу принять наши извинения за то, что мы оказались в вашем доме без вашего разрешения.

Декорум был соблюден, хотя все, в том числе и президент, отлично понимали, что никаких разрешений на сбор членов Совета ни от кого не требуется и что не только дом, но даже кресло, в которое президент сел, ему не принадлежит.

— Генерал,— после некоторой паузы спросил король Угия,— вы умеете считать до пяти?

Дорон промолчал, не дрогнув ни единым мускулом, хотя можно себе представить, что было бы, если бы он вдруг ответил: «Виноват, господа, не умею!»

— Вы нас сознательно вводили в заблуждение или сами ничего не знаете?— резко спросил король Сталь.

— Я могу проверить, господа, в чем дело,— сказал наконец Дорон и сделал попытку шагнуть к выходу из зала. Но из десяти членов Совета восемь, способных стоять без посторонней помощи, мгновенно встали, как будто их пронзило током.

— Дорон! — проревела Сталь, выплевывая изжеванную сигару прямо на пол.— Вы никуда не уйдете отсюда!

Воннел при этих словах уже готов был прикоснуться к пуговице своего костюма, чтобы срочно вызвать необходимых для такого случая людей. Но все обошлось. Дорон лишь качнулся, не двигаясь с места, и вновь застыл, слегка пожав плечами.

— Господа,— повторил президент,— я все же хотел бы знать...

— Одну минуту,— довольно бесцеремонно перебил его Уголь.— Генерал, у вас есть язык? Я уж не спрашиваю, есть ли у вас голова и сколь дорога она вам?

Дорон неожиданно улыбнулся— это была его давняя привычка прикрывать мушкетерской улыбкой бурю, происходящую в душе,— и презрительным взглядом смерил короля Угия.

— Между прочим,— сказал он с деланным спокойствием,— ваши головы, господа, тоже мне дороги. Это была неслыханная дерзость, но генерал уже не давал никому опомниться:— Мне известно, что на каждого из вас профессором Миллером заготовлены матрицы, с которых можно печатать людей, и я не уверен, что в эту минуту он не приступает к осуществлению своей программы.

Дорон откровенно переходил в наступление, решив, вероятно, что терять ему уже нечего.

— Своей программы?— спросил король Нефти.— Или вашей, генерал?

Дорон предпочел пропустить этот вопрос мимо ушей, как и все последующие.

— Вы знали, что их пятеро?

— Где сейчас Миллер? Вам известно его местонахождение?

— Это ваш заговор, генерал?

— Вы с ним заодно?

Вопросы сыпались со всех сторон, и, когда наступила пауза, вновь раздался голос президента:

— Господа, я все же не понимаю: что случилось?

— В стране сейчас пять одинаковых президентов,— сказал Дорон.— Вы продублированы профессором Миллером. Ваши...

— То есть как?!— простонал президент, чуть не лишаясь чувств.

Но Дорон, не меняя тональности, продолжал:

— Ваши двойники находятся здесь же, в соседнем зале, и вам, президент, есть смысл отправиться к ним и не мешать нам наводить порядок в стране.

Когда Дорон сказал «Нам», члены Совета сделали движение, какое обычно делают театральные зрители после открытия занавеса, когда каждый пытается найти себе удобную точку для обзора.

Воннел молча подошел к президенту, тот молча встал и, шлепая тапочками по паркету, поддерживаемый Воннелом, медленно вышел из зала. Вернувшись через минуту, министр внутренних дел увидел Дорона уже сидящим за круглым столом в том единственном пустующем кресле, где только что сидел президент.

Но «круглого стола» явно не получалось. На одной стороне его были члены Совета, на другой — Дорон. Это можно было определить хотя бы по взглядам, которые они дарили друг другу.

Дорон отлично понимал, что в открытой войне с могущественными членами Совета он немедленно проиграет, как, впрочем, проигрывает и в мире с ними. И поэтому он сказал:

— Господа, прошу прощения за то, что я так решительно вмешался в события. Я человек военный, а не штатский. Прошу также поверить мне, что я настроен действовать в наших общих интересах. Вы спрашивали меня: где сейчас Миллер? Отвечаю: в данный момент будем считать, что его местонахождение мне неизвестно... (Дорон вдруг перехватил взгляд короля Ракет, недвусмысленно обращенный к Воннелу. «Пора!» — тут же подумал Дорон.) Я понимаю, господа, что вы можете подозревать меня в причастности к той игре, которую ведет Миллер. Это — ваше право, и у меня нет возможности немедленно вас переубедить. Следовательно, вы можете арестовать меня, связать мне руки, заткнуть мне глотку или даже убрать меня вообще, но...

Он сделал паузу, во время которой все отчетливо услышали астматическое дыхание короля Угия.

— ...но я прошу вас иметь в виду, что и сам не уверен, я ли перед вами или мой дубликат!

Генерал Дорон отлично понимал, что он сейчас не по зубам Совету, а человек, который был Совету не по зубам, уже одним этим обстоятельством возвышался в ранг зубастых.

«Следовательно,— думал Дорон,— мне нужно и впредь делать вид, что Миллер у меня в руках, а сам я — двойник Дорона». Кстати, эта выдумка была одним из самых блестящих ходов Дорона, которые когда-либо приходили ему в голову.

С другой стороны, он не мог не понимать, что его зубастость не вечна. Как только Миллер будет найден, ей придет конец, а Дорон и так уж зашел слишком далеко, чтобы ждать от Совета пощады.

«Опередить!» — такова главная и основная забота Дорона в ближайшие сутки. Опередить всех, захватить Миллера, перепрятать его в надежное место и выяснить его истинные цели.

Члены Совета поднялись, церемонно раскланялись друг с другом и направились к выходу. У Западного входа в усадьбу их ждало десять машин разных марок и личная охрана каждого. Хлопнули десять дверок, зажглись почти одновременно двадцать подфарников, и бесшумно заработали десять моторов. Одна за другую машины выехали с территории и уже там, на шоссе, показали друг другу все, на что они были способны.

10. ИГРА В ОТКРЫТУЮ

Луна то и дело выглядывала из прорези облаков, как из амбразуры. Ее свет не в силах был уничтожить темноту равнин. Лента шоссе высвечивалась луной, как лезвие ножа, и по этому слабо белеющему лезвию едва ползли две черные капли; с высоты казалось немыслимым, что эти капли мчатся со скоростью ста миль в час, что одна из них наэлектризована нетерпением, а другая — тупым упорством соглядатаев.

Впрочем, внешне Дорон не выглядел ни озабоченным, ни встревоженным. Волнение было привычно загнано глубоко внутрь; в летящей машине сидел просто усталый, задумавшийся человек с чуть покрасневшими от бессонницы глазами и обмякшими складками морщин властного, крупного лица. Он не оборачивался. Он и так знал, что чужой взгляд будет теперь сопровождать каждый его шаг, а чужие уши — ловить любое его слово. Он был еще свободен, но уже связан. Только его мысли оставались никому не подвластными, и Дорон спешил воспользоваться этим единственным своим оружием.

Не далее как утром он был всесильным хозяином, и от его решения зависела судьба многих. Теперь его собственная жизнь зависела от других. От Миллера и его необъяснимых поступков. От Совета. От случайных людей, наконец. И чем дольше Дорон думал, тем ясней ему становилось, что он должен поставить себя в зависимость — на этот раз сознательно — и от человека, с которым придется иметь дело, превратившись в скромного просителя.

Этим человеком был комиссар полиции Гард. Собственная служба Дорона сейчас стоила немногого, каждое движение его людей — Дорон это отлично понимал — будет парализовано людьми членов Совета. Но Гард был вне всяческих подозрений. Он уже не раз занимался Миллером, и потому у него было больше шансов отыскать профессора, чем у кого бы то ни было. К тому же Гард был умен, опытен и обладал интуицией — качеством, весьма редким в грубо ремесле сыщика. Правда, Гард не имел бесценного в теперешней ситуации свойства: он не был верен ему, Дорону... В какой-то миг размышлений генерал искренне пожалел, что в свое время держался с бывшим инспектором, а ныне комиссаром высокомерно. Но сделанного не вернешь. Просто урок на будущее: с людьми, обладающими самостоятельным характером и талантом, лучше поддерживать дружбу вне зависимости от того, как низко они стоят по сравнению с тобой.

Итак, на преданность Гарда рассчитывать нечего. И для угроз сейчас не время. Остаются деньги. Купить Гарда, может быть, и нельзя. Но кто с легким сердцем откажется от денег, которые обеспечат все его будущее? «Да, деньги,— решил Дорон.— Только они всесильны и всемогущи в нашем мире».

Приняв решение, Дорон с облегчением откинулся на спинку сиденья.

Розовое зарево не встало перед машиной, когда она приблизилась к городу. Безмолвные дома по обеим сторонам улиц походили на скелепы. Льдистым блеском мерцали окна. Лишь в некоторых теплился жидкий огонь свечей. Кое-где по тротуарам метался растерянный луч фонарика. Даже на проспектах стояла жуткая темнота, как на дне ущелий.

Наконец машина остановилась перед особняком. Рокот мотора эхом прокатился по улице; из-за угла выскользнула еще одна длинная машина, погасила фары и замерла в пяти метрах от машины Доро-

на. Черные фигуры в плащах и шляпах, не скрываясь, высипали из кузова, неторопливо окружили особняк. Мимо генерала они проходили, как мимо пустого места. Их каблуки твердо печатали шаг, они двигались четко, как автоматы.

На ощупь, спотыкаясь, Дорон поднялся по лестнице в свой кабинет. Шторы были опущены, на столе среди вороха донесений оплавила свеча, прилепленная к массивной, оптического стекла пепельнице. Колебания пламени зажигали в гранях пепельницы тусклую радугу. За столом, положив голову на руки, спал верный Дитрих.

Дорон осторожно коснулся его плеча. Секретарь тотчас вскочил и вытянулся. Дорон махнул рукой: «Сядитесь». Сам он тоже сел и секунду молча глядел на коптящий огонек свечи, который вызывал в памяти какие-то давние и почему-то щемящие душу ассоциации.

— Кофе? — Дитрих вопросительно посмотрел на Дорона.

— Нет. Спать.

— Вам звонил...

Но Дорон вдруг поднял вверх палец предостерегающим жестом, и Дитрих осекся.

— Никаких дел, Дитрих, — устало произнес Дорон и повторил: — Спать. Все дела — завтра.

Затем он на листочке блокнота, лежащего на столе, энергичным почерком написал одно слово. Дитрих взглянул, прочитал: «Уши!» — и понимающе склонил голову.

— Генерал, — сказал он после паузы, — вы будете спать, как всегда, в кабинете или в спальной комнате?

— Сегодня там, — ответил Дорон и жестом показал Дитриху: «Внимание, Дитрих!»

На листочке блокнота появилась новая запись: «Мне нужен Гард». Дитрих кивнул головой. «Немедленно!» — вывел Дорон. Дитрих подумал и вновь кивнул. «Чтобы никто не знал!» Дорон трижды подчеркнул слово «никто». Секретарь кивнул головой. «Учите, за домом следят». «Понял», — сказали губы Дитриха. Дорон задумался и медленно вывел еще одну фразу: «Это не приказ, а больше, чем приказ: человеческая просьба». Дитрих чуть-чуть расширил глаза и приложил руку к сердцу, давая понять, что он тронут доверием генерала.

Затем, взяв в руки перо, секретарь четко вывел на листочке блокнота: «Разрешите использовать бункер?»

На этот раз решительно кивнул Дорон и громко сказал:

— Спать, Дитрих, я еле стою на ногах.

...Об убежище Дорона знали лишь самые доверенные люди. Оно лежало под домом и садом, его перекрывали пять метров железобетона и десять метров земли. Словом, это было построенное по всем правилам фортификации домашнее атомоубежище, пригодное для жизни, даже если весь город превратится в радиоактивные развалины.

Дитрих набрал на циферблате условный шифр. Часть подвалной стены медленно стронулась, открыла толстую, массивную дверь, ведущую в тамбур. Вторая дверь тамбура открылась после того, как закрылась первая, и секунду Дитрих стоял, замурованный, полуослепленный вспышкой тотчас зажегшейся под потолком лампочки. О том, что у Дорона была собственная небольшая электростанция, тоже никто не знал. Лампочка светила тускло, но после темного коридора и электрического фонарика ее свет казался необыкновенно ярким.

За тамбуром открылся узкий коридорчик, выставленный кафелем. Под потолком тянулась четырех-

угольная труба с отверстиями, забранными решеткой. Легкое шипение воздуха в них показало, что вместе со светом автоматически включилась воздуходоочистительная установка.

Коридор шел ломаной линией и потому казался еще длиннее, чем он был на самом деле. От него отходили тупички, за дверями которых находились помещения, где было все необходимое, вплоть до искусственной погоды, искусственных закатов, солнечных дней, запаха леса,— все это превращало комнатки в подобие загородной виллы. Одной из причин безусловной верности Дитриха Дорону было сознание, что в случае чего этот подземный мир скроет и его от всеобщего уничтожения. Дитрих не очень верил в новоизобретенную установку нейтронного торможения атомных взрывов. Будучи на службе Дорона, он знал, что есть еще облака отравляющих газов, биологические яды и вирусы, способные уничтожить все живое ничуть не хуже лучей радиации. А в благородумии людей, варясь в кotle службь Дорона, он вовсе не был убежден.

Однако вид голых бетонных стен, унылый отзвук собственных шагов, низкий потолок, как и всегда, действовали на Дитриха давящие. Он поспешил пройти коридор, без задержки сманипулировал с очередным циферблатом и очутился на дне тесного, как в средневековой башне, спирального хода. Сотни с лишним ступеней наверх, затем прикосновение к еле заметной кнопке, и Дитрих выскоцил наружу. Люк колодца сам собой задвинулся. Капельки росы слабо поблескивали на траве там, где только что было отверстие.

Это был городской парк, расположенный на площади Вознесения, у самой ратуши, что в трех кварталах от дороновского особняка. Озинаясь, Дитрих перепрыгнул изгородь, как хорошо тренированный спортсмен, и зашагал по тротуару — запоздалый прохожий, отрезанный от дома бездействием городского транспорта.

Гард жил неподалеку, всего в получасе ходьбы, но Дитрих скоро понял, что спокойно дойти до жилища Гарда будет не так-то просто. Едва он пересек Центральную улицу, как в одном из переулков раздался душераздирающий крик женщины, зовущей на помощь. Дитрих мгновенно нырнул в ближайший подъезд, и очень скоро мимо протопали, тяжело дыша, какие-то люди, запихивая за пазуху награбленные вещи. Прошло минут пять, в течение которых не хлопнула ни одна дверь и не донесся ни единий звук. Дитрих вновь вышел на улицу, но пошел в сторону, прямо противоположную той, что вела в зловещий переулок: его следов на месте ограбления быть не должно.

Сделав крюк, Дитрих снова зашагал вперед.

Он шел по ночному городу без всякого страха, заботясь лишь о том, чтобы выполнить приказание Дорона. Он понимал, что случилось что-то сверхисключительное, если генерал в собственном доме не может говорить вслух, но не хотел и не умел связывать неприятности шефа с внезапным отключением электроэнергии во всем городе, с погруженными в темноту улицами, с вспыхнувшими, как эпидемия, грабежами, с хаосом, который явно подкрадывался со всех сторон.

...Гард спал без сновидений,— вероятно, потому, что у него были крепкие нервы, хотя и очень нервная работа. Еще покойный учитель Гарда, небеззвестный Альфред Дан Купер, говорил: «Сыщику по горло хватает реальных кошмаров, чтобы видеть их во сне!»

В прихожей маленькой квартиры Гарда стоял упакованный чемодан, который оставалось только взять в руки, чтобы выкинуть из головы всякие мысли о службе, заботах и реальных кошмарах. Все, что делал Гард, он делал обстоятельно, и потому он предпочел заранее уложить чемодан, хотя утром у него было бы достаточно времени до самолета. Билет был в кармане, машину подали бы точно в указанное время, а спать позже семи утра Гард все равно не мог, даже если ложился глубокой ночью.

«Ах, черт возьми! — подумал он за минуту до того, как заснуть.— Черт возьми, дождался-таки первого дня отпуска!..» — И блаженство, разлившись по всему телу, окончательно освободило Гарда от тяжких дум. Когда он погасил свет и закрыл глаза, ему приснилось море, аккуратная вилла на самом берегу, безмятежность, и счастье неведения, и желанность безделья.

Проснулся он от осторожного стука в дверь и тут же понял, что проснулся: во сне ему никто постучать не мог. Он прислушался. Стояла мертвая тишина, и первой мыслью его было: «Неужели служба?»— хотя странно, что посыльный стучит в дверь, вместо того чтобы позвонить. Померещилось? Увы, всегда, когда мы только произносим это слово, все стуки немедленно повторяются, чтобы услышавший их мог сказать сам себе: «Нет, не померещилось».

Он дернул шнурок бра, но свет почему-то не зажегся. Тогда он встал, ощущую добрался до выключателя, но лампа под потолком тоже не зажглась. А стук уже стал более резким и настойчивым.

Тогда Гард набросил на плечи халат и уже перед тем, как двинуться к двери, глянул на фосфоресцирующие стрелки часов. У Гарда еще с детства выработалась привычка смотреть на часы всякий раз, когда он просыпался ночью: а вдруг потом для кого-нибудь это окажется важным, и когда тебя спросят, что было в три часа ночи, когда ты проснулся, и ты ответишь, что ничего не было, кроме тишины, кто-то сделает вывод, что убийство произошло не в это время, а раньше или позже, и это поможет уличить убийцу. Уже став полицейским инспектором, Гард убедился, что детские представления очень редко подтверждаются в жизни,— в литературе и на экране куда чаще. Впрочем, без таких представлений он никогда бы не стал следователем.

Итак, часы показывали начало четвертого. Гард пошел к дверям и повернул замок. Спрашивать: «Кто там?»— было бессмысленно. Грабители обычно не стучат, а открывают дверь отмычкой. Убийцы стреляют в окна, а достать окно гардовской квартиры, находящееся на втором этаже, ничего не стоило, если взобраться на любое из трех деревьев, расстуких прямо перед домом. Полиция была Гарду не страшна, друзьям он был всегда рад, а просители так поздно не приходят по пустякам. Наконец, на случай ошибки в кармане халата лежал браунинг.

Дверь открылась, в переднюю стремительно вошел человек и быстро сказал: «Закройте дверь, пожалуйста». Щелкнув фонариком, он направил его не на Гарда, а на собственное лицо.

— Я Дитрих, секретарь Дорона. Простите за беспокойство, Гард. У меня поручение от генерала.

— К сожалению,— сказал Гард,— в квартире перегорели пробки.

— Вы ошибаетесь,— прервал его Дитрих.— Электричество вырублено по всей стране.

— Вот как?

— Гард, Дорон хочет вас видеть.

Комиссар полиции ничего не ответил, а лишь молча взял Дитриха под руку и провел в гостиную. Фо-

нары, который Гард взял из рук Дитриха, осветил кресло.

— Присядьте, мне неловко говорить с вами в таком виде.

Через три минуты, наскоро одевшись, Гард вошел в комнату к Дитриху, держа в руках две зажженные свечи. Сев в кресло напротив, Гард прикрыл глаза и произнес:

— Так я вас слушаю, Дитрих.

— Я уже сказал, комиссар... — повторил Дитрих. — Генерал хочет...

— Он не мог прислать за мной хотя бы завтра днем?

— Вероятно, нет.

— Очень жаль, — сказал Гард. — Завтра днем я был бы отсюда очень далеко.

Дитрих не оценил шутки и серьезно сказал:

— Я думаю, Гард, мне пришлось бы ехать за вами даже на край света. Мне велено без вас неозвращаться.

Гард закурил предложенную Дитрихом сигарету и задумался. Было похоже на то, что отпуск повисает на волоске: от Дорона пока еще никто не получал пятиминутных заданий, если они не сводились к производству одиночного выстрела из-за угла.

— Хорошо, — сказал Гард. — Мне нужно переодеться. Мое управление не должно знать об этой встрече?

— Нет, — коротко ответил Дитрих.

— Отлично, — сказал Гард.

В спальне, где он переоделся, все осталось нетронутым — ни раскрытая постель, ни пижама, не брежно брошенная Гардом на спинку стула, ни теплые ночные туфли, стоящие у кровати. Ко всему прочему Гард быстро написал на листке бумаги: «3.15 ночи. Дитрих от Дорона. Иду» — и сунул записку под подушку: когда имеешь дело с людьми типа Дорона, необходимо оставлять свои следы.

Еще через минуту они шагали по темному городу. За время пути и даже тогда, когда Дитрих привел Гарда в парк, открыл колодец, а затем провожал до самого бункера, комиссар не задал ни одного вопроса, прекрасно понимая, что с ответами все равно придется подождать до встречи с Дороном.

Генерал ждал их, стоя, в крохотном кабинете, скопированном с того большого, в котором Гарду уже приходилось бывать прежде.

— Я рад, — сказал Дорон, движением руки привлекая Гарда сесть в кресло. — Я рад. — Он помолчал, затем кивком головы отпустил Дитриха и неожиданно для Гарда сказал: — Я буду играть с вами в открытую. Это тоже маневр, сейчас вы это поймете, но откровенность с вами — моя единственная выигрышная тактика.

Затем он спокойно и неторопливо рассказал Гарду о всех событиях сегодняшнего дня, не утаив ни одной мелочи, даже того, что член Совета кричал на него: «Не прикидывайтесь дурачком, генерал!» С невольным уважением Гард смотрел на Дорона, который ухитрялся не терять достоинства и ума в такой опасный момент.

Когда генерал умолк, Гард сказал:

— Вам нужен Миллер?

— Да, — сказал Дорон.

— Его найти должен я?

— Да, — сказал Дорон.

— Но мое официальное положение...

— Вы в отпуске, Гард.

Они помолчали.

— Вы понимаете, генерал, что это чрезвычайно трудно?

— Я не беспокоил бы вас, комиссар, если бы ду-

мал, что это легко. Такая задача по плечу лишь талантливому человеку.

И Гард понял, что Дорон не льстит ему, что это не комплимент, а истинное убеждение генерала.

— Благодарю вас, — сказал Гард.

— Вы, конечно, понимаете, — продолжал Дорон, — что после вашего успеха я буду неоплатным должником.

— Задача не просто трудная, — как бы размышляя вслух, сказал Гард, — но и опасная.

— Знаю, — подтвердил Дорон. — И потому дело не в том миллионе кларков, которые вы получите. Они не окупят риска. Но, согласитесь, более важной, интересной и ответственной операции у вас до сих пор не было.

— Что вы хотите сделать с Миллером? — спросил Гард.

— Надежно спрятать. Эти ученые не умеют скрываться. День, ну, два его, может, и не найдут, а потом...

— Но Чиз, генерал?

— Случайность. И потом Чиза я ищу в тысячу раз менее усердно, чем теперь будут искать Миллера.

— Допустим, я найду Миллера и вы его перепрячете. А потом?

— Я уверен, он поймет, что нам нужно стать союзниками.

— Зачем?

— Затем, чтобы реальная власть в государстве оказалась в наших руках.

— Диктатура?

— Да. Но диктатура двоих.

— Вы уберете Миллера, когда достигнете цели, генерал?

— Нет. Без него я бессилен.

— А если он откажется?

— Разумный человек отказаться не должен.

— Вы уверены, генерал, что Миллер именно такой?

— Надеюсь.

— Значит, я должен помочь вам сесть в седло?

— Да.

— Разрешите подумать.

— Конечно.

Это была крупная игра, в которой ничего не стоило сломать себе шею. Дорон откровенен — он умный человек и прекрасно понимает, что сейчас иначе нельзя. Миллион кларков получить, конечно, можно, но что дальше? Предугадать, как поведет себя Дорон, став диктатором, невозможно. Как поведет себя Миллер, тоже. Это зависит от того, какой Миллер остался. Судя по всему, двойник, но все может быть. С другой стороны, отказаться от его поисков уже невозможно: нет гарантии, что тогда удастся выбраться из этого убежища живым. Кроме того, судьба страны Гарду тоже небезразлична, а его вмешательство может привести к существенным изменениям плана Дорона.

— Генерал, — сказал Гард, — гарантировать успех, как вы понимаете, я не могу.

— Понимаю.

— Но Миллера искать буду.

— Спасибо.

Дорон встал и пожал руку комиссару полиции. Потом вынул из кармана толстую пачку банкнот.

— У вас будут расходы.

— Конечно.

Гард взял деньги.

— Сроки?

Дорон развел руками:

— В идеале — через час.

Дорон нашел в себе силы улыбнуться.

11. ЗОЛОТАЯ КОРОНКА

В пять часов утра в квартире Фреда Честера раздался стук. Линда быстро набросила халатик и открыла дверь. На пороге стоял комиссар полиции Гард.

— Дорогая Линда,— сказал он,— простите меня, ради бога, за поздний визит, но вы знаете: по пустякам я никогда не прихожу.

— То-то вы ни разу не приходили по поводу устройства Фреда на работу.

Но Гард, не слушая ее, прошел в комнату.

— Фред,— сказал он полуодетому Честеру,— у меня к тебе очень сложное дело и чрезвычайной секретности.

— Если ты мне скажешь, что расследуешь преступление господа бога, я не удивлюсь,— сказал Честер.— Сегодня очень странный день.

— Чем же?

— Днем я удостоился чести разговаривать с нашим президентом в «Указующем персте», а ночью ко мне является сам комиссар полиции. Разве не странно?

— Ты прав, Фред. Выйдем на улицу.

Через пять минут они уже шагали по тротуару.

— Ты действительно видел президента? — спросил, останавливаясь, Гард.

— Как тебя сейчас,— ответил Фред.

— Это был один из пяти президентов, существующих сегодня в стране.

— Что?— сказал Честер.— Ты где-то хлебнул лишнего?

— Работа Миллера,— ответил Гард.— Слушай, старина, внимательно.

И Гард подробно изложил Фреду свой разговор с генералом Дороном.

— Дэвид,— выслушав, сказал Честер и коснулся рукой плеча Гарда,— я в полном твоем распоряжении. Что мне делать?

Гард тоже коснулся рукой плеча Фреда— так испокон веку они клялись друг другу в верности— и тихо произнес:

— Давай рассуждать.

— Согласен.

— Для своего управления я нахожусь в отпуске, и потому руки у меня развязаны. Следовательно, действовать я могу.

— Во имя чего, Дэвид?

— Об этом и поговорим. У меня была возможность послать Дирихса к чертовой матери, не впутываться в эту историю и укатить к морю, чтобы пить коньяк на лазурном берегу. Но коньяк показался бы мне слишком горьким.

— Совершенно верно,— вставил Честер.

— Вокруг нас заваривается нечто такое, мимо чего, спасибо господу богу, мы уже не проскочим. Не вмешаться было бы преступлением перед совестью, но я говорю обо всем этом зря, потому что уже вмешался.

— Согласен,— сказал Честер.

— Теперь могут быть только два варианта: или я нахожу Миллера, или не нахожу.

— Если не находишь,— сказал Честер,— ты окажешься в стороне и уже никак не сможешь повлиять на события. Но если находишь? Ведь ты везуч, как моя Линда, которая нашла себе такого мужа, как я!

— Мы подошли к главному, Фред,— сказал комиссар.— Давай разберемся, что мне делать, если я обнаружу Миллера.

— Это зависит от того, что задумал Миллер.

— Можно предположить.

— Исходя из того, что он сотворил пятерых президентов, скрывшись от Дорона,— сказал Честер,— Миллер ведет собственную игру.

— Цель?— спросил Гард.

— Хотел бы я знать!.. Во всяком случае, в его игре нет места Дорону, и это обстоятельство можно tolkowat как в пользу, так и во вред Миллера.

— Я думаю,— сказал Гард,— у Миллера могло быть лиши две цели: либо захват власти, либо желание наказать сильных мира сего.

— А может, он просто шутник?— сказал Честер.

— Так не шутят, Фред. Если бы Миллер хотел посмеяться, он сделал бы не пять президентов, а пять Линд.

— Убедил!— воскликнул Честер.— Но я потерял нить рассуждений.

— Сейчас восстановим. У Миллера могут быть две цели. Какая из них в действительности, зависит от того, каков сам Миллер. Мы пришли, Фред, к тому, что остается для нас извечной загадкой.

Они помолчали, сделав несколько шагов по тротуару. Затем Честер сказал:

— Предположим, действует Миллер. Если ты его найдешь, его нельзя передавать в руки Дорона. Тебе это ясно, Дэвид?

— Так же, как и то, что нельзя передавать Дорону Миллера-двойника.

— Объясни.

— Они же мгновенно сговорятся!

— Это не так просто, Дэвид,— сказал Честер.— Если они не договорились прежде, почему ты думаешь, что найдут общий язык теперь?

— Потому что прежде они не были равными.

— Тогда Миллер сам найдет путь к Дорону, став ему равным. Без твоей помощи. О, это будет хорошая пара коней в одной упряжке!

— И тогда, Фред, моей задачей должна стать задача помешать их единению.

— Пожалуй, ты прав.

— Подводим итог: если я нахожу Миллера, каким бы он ни оказался, я должен начинать собственную игру. Верно?

— Ты крепко рискуешь, Дэвид.

— Нет! Посуди сам, Фред: если Миллера найдут без меня, Дорон не может иметь ко мне претензий. А если я найду Миллера и перепрячу его от Дорона, генералу — крышка, и он ничем не сможет мне угрожать.

Фред с уважением посмотрел на Гарда.

— Теперь я понимаю,— сказал Честер,— почему ты, оставаясь порядочным человеком, все же ухитряешься делать карьеру, старина. У меня так не получается.

— Стоп. Тихо!— сказал вдруг Гард.

Из подъезда дома, возле которого они стояли, вышел человек, но тут же исчез, не обратив на Гарда и Честера внимания.

— Как ты будешь искать Миллера? — спросил Честер.

— К сожалению, в этом деле ты мне плохой советчик. Но помощником быть можешь, одному мне вообще не справиться.

— А может, Миллер совсем не спрятался, а удрал?

— Все может быть, старина, все может быть.

— Тогда ищи ветра в поле.

— Попробую. Придется для начала выяснить, где его жена, где Таратура...

— Он в городе,— сказал Честер.— Вчера я говорил с ним по телефону.

— И до сих пор молчишь?!— воскликнул Гард.

— Он разыскал меня в «Указующем персте», ког-

да я мило беседовал с президентом. Он обещал прийти, но не пришел.

— Почему?

— Не знаю, Гард. Я прождал его лишних полчаса, а потом понял, что он не придет.

— Таратура сказал что-нибудь такое, что заострило твое внимание?

— Нет, Гард, ничего особенного. Он очень удивился, что я сижу рядом с президентом.

— Странно... И про Миллера ничего?

— Ни единого слова.

— Жаль. Там, где Таратура, там и Миллер... Как ты думаешь, остался все же двойник или настоящий?

— Ну, Дэвид, ты был всегда мастер задавать вопросы.

— Но что подсказывает твоя интуиция?

Честер задумался.

— Иногда мне кажется, что двойника вообще не было. Был просто кошмарный сон. И все.

— Но ты же видел одного из них в гробу? Там, у Бирка? — сказал Гард.

— И это могло быть сном.

— Знаешь, Фред, я все понимаю умом, но все же никак не могу смириться с тем, что двойники похожи друг на друга, как близнецы. Даже у настоящих близнецов могут быть разные по цвету глаза и руки не там... А тут копия? Ты уверен, что тот, в гробу, был копией?

— Это было страшно, Дэвид, — признался Честер. — Прошло уже три года, но физиономия покойника стоит перед моими глазами, хотя, наверное, в действительности он давно уже скончался.

— Скончался? — сказал Гард и вдруг остановился как вкопанный. — Фред, ты дал сейчас великолепную мысль! Если Миллеров действительно было двое и если один из них синтетический, то процесс разложения трупа должен проходить как-то иначе! Нейлон, например, остается целохонький, а не скручивает дотла, — так и тут, и мы можем...

— Ты хочешь сказать, что двойник из нейлона?

— Нет, Фред, я хочу сказать, что двойник синтетический и что ему от роду всего три года, а не под сорок, как настоящему Миллеру!

— Ах, Дэвид, чтобы строить гипотезы, надо быть специалистом. А что мы понимаем с тобой в химии?

— Ты ошибаешься, старина, это — дело не столько химиков, сколько криминалистов. Не будем терять времени. Пошли! Я жажду встречи с Бирком!

Хозяина фирмы «Спи спокойно, друг!» мучила бессонница. В последние дни хоронили довольно влиятельных в столице людей, и он был вынужден присутствовать на всех церемониях. Теперь же, едва закрыв глаза, Бирк видел им же придуманные факелы, слышал траурную музыку и не мог отделаться от красных фейерверков, букетом расцветавших в небе, когда гроб медленно опускался в землю.

В начале шестого утра у особняка Бирка затормозила машина. Два человека пересекли палисадник и остановились у двери, которую Бирк услужливо распахнул. Он привык к ночным визитам.

— Прошу извинить нас, Бирк, — сказал один из вошедших, — мы подняли вас с постели, но дело не терпит отлагательства.

Бирк пригляделся и узнал обоих: комиссара полиции Гарда и бывшего репортера уголовной хроники Честера.

— Если дело не ждет, я к вашим услугам, господин Гард, — вежливо ответил Бирк. — Вам, очевидно, нужны мои клиенты?

— Да, — подтвердил Гард, — один из них.

— Через минуту я буду в вашем распоряжении.

Бирк вышел, а когда вернулся, каждая складочка его черного костюма излучала элегантность. Они сели в машину: Бирк — рядом с Гардом, а Честер устроился на заднем сиденье.

Машина мягко летела по чуть посветлевшим улицам.

— Я думал, что в моем доме перегорели пробки, — удивился Бирк, впервые заметив, что погашены уличные фонари и рекламы. — Неужели война?

— До этого еще не дошло, — бросил с заднего сиденья Честер. — Так что работы вашей фирме не добавится.

— Я не об этом беспокоюсь, дорогой Честер. — Бирк улыбнулся. — Забот у нас и сейчас много. Даже ночью беспокою, — намекнул он. — Кстати, чем я обязан вашему визиту?

— Нам нужно взглянуть на одного нищего, — сказал Гард.

— Того самого, за которого я заплатил вам однажды сто пятьдесят шесть кларков двадцать пять лемов, — съязвил Честер.

— Помню, помню. — Бирк продолжал улыбаться. — Клиент № 24657. С седьмого участка. Полицейскому управлению эксгумация обойдется бесплатно, хотя за эти годы и земля слежалась и могила благоустроилась.

— Неужели вы помните всех покойников? — удивился Честер.

— Как заботливая мамаша своих детей, — ответил Бирк. — Особенно тех клиентов, которые хоть изредка приносят доход, будь они хоть президенты, хоть нищие.

— Нищие тоже доходны? — поинтересовался Гард.

— Каждый покойник — капитал. И он надежней, чем акции алмазной компании. Сегодня он нищий, а завтра его сын богатеет. Ему неприятно посещать седьмой участок, и он просит перевести папашу на первый. Фирма получает восемь тысяч кларков плюс пятьсот за установку громкоговорителя, триста — за лучшее обслуживание... Вот так, комиссар.

— Искренне жалею, что занимаюсь журналистикой! — воскликнул Честер.

— Каждому свое, — сказал Гард, — а я терпеть не могу ни покойников, ни журналистов, особенно болтливых.

Кладбище Бирка было расположено в восточной части города. Машина шла, держа направление на гигантское розовое пятно, разрастающееся над городом. День обещал быть солнечным и жарким.

Потом они сидели в кабинете Бирка, за столом, накрытым черным сукном, и пили коньяк «Наполеон». Бирк распорядился, чтобы вскрыли могилу клиента № 24657, и надо было подождать, пока рабочие закончат дело. Наконец смотритель пригласил их на участок.

Подходя к глиняному холмику, выросшему среди цветочной клумбы, они услышали бой часов на ратуше. Честер насчитал шесть ударов.

— Слава богу, — сказал Бирк, — с рассветом нечистая сила уходит спать.

Один из рабочих спрыгнул вниз и мелкими ударами топора чуть-чуть приподнял крышку массивного гроба.

— Стоп! — сказал Гард. — Уберите лишних, Бирк.

Хозяин фирмы отдал распоряжение, и рабочие во главе со смотрителем удалились. Гард сам опустился на дно могилы и осторожно взялся за крышку. Сухим потрескиванием она отделилась от гроба, вызвав у Честера возглас удивления, а у Бирка — растерянность.

Гроб был пуст.

Только в том месте, где когда-то лежала голова покойника, Гард заметил какой-то блестящий предмет. Это была золотая коронка.

— У меня никогда не воруют трупы,— ошалело перекрестившись, сказал Бирк,— тем более трупы нищих!

— А уж если воруют, то золотые коронки, а не трупы,— произнес Гард, вылезая из могилы. Затем он спрятал коронку в нагрудный карман и сказал:— Здесь был необычный вор, Бирк. Очевидно, та самая нечистая сила, которая с рассветом уходит спать. Но вы можете не волноваться. Мы не подорвем вашей коммерции, если вы сами дадите слово молчать.

— Сенсационный материальчик можно сделать!— воскликнул Честер.

— Господа,— заволновался Бирк,— я, ей-богу, не знаю, как это случилось...

— Прощайте, Бирк,— сказал Гард,— вам лучше молчать об этом прискорбном случае.

— Конечно, комиссар, конечно,— поспешил с заверениями Бирк.

— И верните мне сто пятьдесят шесть кларков, которые я давал вам в долг три года назад,— неожиданно потребовал Честер.

Бирк тут же достал бумажник и стал отсчитывать деньги. Гард искренне рассмеялся.

— Ладно, Бирк,— сказал Честер.— Не надо, я пошутил. Надежней берегите своих клиентов!

И они торжественно покинули кладбище.

— Ты не осуждаешь меня?— спросил Честер, садясь в машину.

— За что?— не понял Гард.

— За то, что я чуть не отнял у этого похоронного бандита свои собственные деньги,— сказал Честер.— Выходит, я действительно люблю Линду, если вспомнил о ней даже в такой момент.

— Одной любовью она сыта не будет, Честер,— улыбнулся Гард.— Но подведем итоги. Ты чуть было не получил сто пятьдесят шесть кларков, а я... Если я найду Миллера, Фред, я задам ему всего один вопрос, и мне все будет ясно.

12. ЗАГОВОР ПРЕЗИДЕНТОВ

Бурные переживания могут достичь такого уровня, что человек, только что находившийся в состоянии высокой нервной перегрузки, вдруг разом успокаивается и как-то балдеет. Когда Воннел перед началом Совета богов свел вместе четырех президентов в кабинете рядом с Круглым залом, они неистовствовали часа два, наскакивая, как петухи, друг на друга, и каждый тщетно попытался доказать другим, что он, именно он подлинный президент. Но к тому времени, когда Воннел препроводил туда же пятого президента, крепкий сон которого после выпитого в «Указующем перстне» пива был потревожен взъянными голосами членов Совета, первые четыре президента уже как-то склонились.

Вновь вошедший, все еще будучи под легким хмельком, увидев себя в четырех экземплярах, не выказал не только какой-либо враждебности, но, как ни странно, даже удивления.

— Забавно!— улыбнулся новый президент.— Нет, просто отлично! Послушайте, господа, где вас всех отыскали?

Четыре президента устало фыркнули. Заново объяснять все этому типу в «их» ночном колпаке и «их»

халате было уже выше сил. А потом, кто знает, может быть, следом придет шестой?

— Президент издан массовым тиражом?— весело сказал новенький, точно попадая в цель.— Ну, вот что, друзья, до утра все свободны!— Он сделал тот доступный немногим повелительный жест, каким обычно цезари пускали в бой легионы, а кинорежиссеры распускали массовки.— Утром я вас вызову. Разберемся.— Он запахнул халат и вышел так быстро, что остальные четверо не успели и рта раскрыть.

Усадьба президента — сооружение доброй старой архитектуры, не зараженной еще микробом рационализма, с просторными холлами, кабинетами и гостиными, спальнями для гостей и обширными вспомогательными помещениями — рассосала президентов как-то незаметно. Начальник личной охраны президента О'Шари был торжественно назначен начальником личной охраны президентов с представлением ему самых широких полномочий на территории усадьбы и с непременной обязанностью каждые пятнадцать минут информировать Воннела обо всем, что на этой территории происходит.

Сказать по правде, ничего из того, что в действительности произошло, ни О'Шари, ни его люди не поняли, про себя считая, что пять президентов — шутка, придуманная Воннелом просто для их проверки, что-то вроде учебной боевой тревоги в казарме. Но уже утром они сообразили, что если это и проверка, то, очевидно, самая сложная и хлопотливая за все годы их безупречной службы. «Видит бог, мы не заслужили к себе такого отношения»,— сказали они друг другу и обиделись.

Утром первым в доме, как всегда, проснулся Джекобс. Воспоминания о событиях вчерашнего дня поначалу вызвали у секретаря президента легкое головокружение, и он лежал, стараясь отыскать в этих воспоминаниях какие-либо штрихи, убедительно и окончательно доказывающие, что множественность президентов не старческая галлюцинация. Неопровергимых доказательств он не обнаружил, но дать себе право считать все происшедшее сном Джекобса, человека трезвого ума, тоже не мог. Полежав и размыслив, он пришел к единственному правильному выводу в данных обстоятельствах: существовало ли пять президентов на самом деле или ему это только казалось, необходимо сохранять полное спокойствие и продолжать поддерживать у окружающих иллюзию своей абсолютной осведомленности, — короче, не удивляться ничему.

Он быстро поднялся, оделся и решил тихонько пройтись по усадьбе. Однако усадьба проснулась раньше обычного и жила жизнью странной и невероятно нервной. Если бы Джекобс ничего не знал о существовании «ряда президентов» (он не хотел даже для себя ограничивать их число), то он мог бы подумать, что страна внезапно вступила в войну или подверглась ударам какого-либо грозной стихии.

Издерганные дежурные метались из кабинета в кабинет. Потребовалось пять комплектов утренних газет, а их, разумеется, не было, не говоря уже о «Жизни с мячом», еженедельнике регбистов, без которого президент № 3 не желал завтракать. С завтраками тоже произошла изрядная кутерьма: готовили-то на одного. Президент № 4 требовал к кофе коньяку, чего никогда прежде не было. Совсем сбились с ног связисты, ибо каждый президент требовал сверхсрочной секретной связи, хотя всем было ясно, что сверхсрочная секретная президентская связь не рассчитана на одновременное пользование несколькими людьми, не говоря уже о том, что Воннел приказал вообще ею не пользоваться. Короче, в

усадьбе никто ничего не понимал и толком не знал, сколько же все-таки президентов. Кто говорил, трое, кто пятеро, а дежурный у телефона войны и мира, проснувшись, сразу сказал, что «президентов одиннадцать человек, я знаю точно».

И все-таки сколько их? Это волновало всех. Джекобс с удивлением и даже с замешательством отметил: сам факт, что президент не один (!), дебатируется гораздо реже, чем вопрос, сколько их. Качественная сторона дела явно уступала количественной. В охране заключали пари, как на скачках. Пополз невероятный слух, что настоящего президента нет вовсе, а все эти — жулье. Назревал крупный скандал, и, чтобы пресечь его, по просьбе О'Шари в усадьбу приехал Воннел. Он попросил Джекобса быстро и тихо собрать всю прислугу в вертолетном ангаре, где и выступил с краткой, яркой и необычайно емкой речью. Двумя штрихами обрисовав контуры красной опасности, он бегло отметил основные этапы мирового общественного прогресса, которыми человечество обязано президенту, и наконец, как говорится, взял быка за рога.

Происки наших внешних противников,— заявил он,— ожесточение предвыборной борьбы внутри страны, губительная для нации активность оппозиции, помноженная на распространение наглого свободомыслия цветного, экономически слаборазвитого, физически и умственно отсталого населения, потребовали в настоящее время от правительства принятия самых срочных и решительных мер для обеспечения мира и спокойствия во всем мире. Одна из них — гарантирование полной безопасности главы государства, для чего и были созданы еще четыре президента-двойника. Прошу запомнить, что все пять президентов... (В этот момент в группе охраны можно было заметить оживление: хлопали по плечу и жали лапу рыжему детине, который, вероятно, и выиграл пари.) ...все пять президентов,— повторил Воннел, косясь на охрану,— одинаковы и равноправны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Может быть, кто-нибудь сомневается в целесообразности такого решения?— ласково спросил министр внутренних дел, улыбнувшись вполлица, и подождал ответа.

Ласточки весело щебетали под крышей ангара.

— Ну и прекрасно,— сказал Воннел.— Мне остается предупредить вас, что всякий намек на то, что президент, как бы сказать... не один, будет рассматриваться как выдача жизненно важных оборонных секретов и караться сообразно этому военным трибуналом без права апелляции и пересмотра приговора. При отсутствии утечки информации жалование всей прислуге возрастает в пять раз в связи с увеличением объема работы. Выход из усадьбы категорически воспрещен. Ответственность за поддержание порядка возлагается на начальника личной охраны президентов командора О'Шари.

Командор щелкнул каблуками.

В то время, когда Воннел выступал перед прислугой, в большом парадном кабинете президента сошлись все пять высокопоставленных стариков.

С полчаса поворчав друг на друга для приличия, они быстро перешли к воспоминаниям молодости, и тут каждый из них, разумеется, не мог найти более интересных собеседников.

— Как приятно все-таки поговорить с образованными людьми!— воскликнул президент № 1.

— Вы совершенно правы,— убежденно закивал № 2.— И в самом факте нашей множественности я вижу прежде всего доказательство неустанного

труда господа, возблагодарить которого все мы обязаны.

— Возблагодарить, конечно, можно,— перебил третий президент,— но я возблагодарил бы его несравненно усерднее, если бы нас было не пять, а одиннадцать. Первая в истории футбольная команда президентов! А?

— Я плевал на всех этих горилл с мячиком,— сказал № 2.— Я хочу покоя. Я хочу жить жизнью пахаря и танцевать на деревенских праздниках. Пить вино... целовать женщин. Да, да, господа! А что? Что может быть прекраснее?! Кстати, не выпить ли нам?

— Прежде чем решать этот вопрос,— суховато заметил пятый президент,— необходимо решить более существенные проблемы. Хочу напомнить, что день выборов президента близок.

— Вот именно: президента, а не президентов!— заносчиво воскликнул № 1, который когда-то и был единственным.

— Не будем уточнять,— твердо сказал пятый.— Я считаю нынешнюю политическую обстановку в стране чрезвычайно благоприятной для нас. Арборо, наш главный соперник,— один. Нас пятеро!

— Все мы братья во Христе,— сказал второй, но № 3 тут же перебил его:

— Если мы встанем поплотнее вокруг президентского кресла — представляем? Никакой Арборо не найдет лазейки в нашей защите.

— Так выпьем, господа, за нашу победу!— предложил № 4.

— Я рад, что нашел в вашем лице единомышленников,— с казенным волнением в голосе сказал пятый.— Вторая проблема, стоящая перед нами, представляется мне еще более важной. Я имею в виду отношение к нам Совета богов. Все мы прекрасно знаем достойнейших людей нашей страны, его составляющих. Надеюсь, я выражу общее мнение, если скажу, что те посильные услуги, которые мы оказывали им (в интересах прежде всего благоденствия нации), мы и впредь готовы оказывать. Но сам факт решения нашей судьбы без нас, за закрытыми дверьми, наводит меня на весьма грустные размышления.

— Они перетопят нас поодиночке, как котят,— предположил № 4.

— Мы не позволим!— перебил его регбист.

— Господь не допустит этого,— перекрестился № 2.

— Вы думаете, и меня они могут... того?— изумленно спросил первый у пятого.

— А чем вы лучше? — изумился четвертый.— На ваших поминках я слопаю ту же бутылку старого шотландского виски, что и на его.— Он ткнул пальцем в грудь регбиста.

— Но они должны оставить в живых хотя бы одного президента?— с надеждой спросил первый.

— Должны,— подтвердил пятый.— Но почему вы воображаете, что выбор падет на вас? И в этом случае,— пятый обвел глазами всех двойников,— лишь наше единство и сплоченность гарантируют безопасность каждого!

— Что я говорил, господа? — воскликнул регбист.

— Да поможет нам бог!— перекрестился святоша.

— Сегодня утром я составил проект послания Совету богов,— твердо сказал пятый.— Не буду утомлять вас чтением этого документа. Скажу только, что в нем указано: в случае уничтожения или отстранения от власти любого из пяти президентов оставшийся или оставшиеся моментально обнародуют не только все произошедшее, но и некоторые другие сведения, о которых, кстати, не мне вам, госпо-



да, напоминать. Если вы согласны с такой постановкой вопроса, прошу подписаться.

Он протянул бумагу.

Пять совершенно одинаковых подписей легли под рукописными строками послания.

— Я послал за Воннелом,— продолжал пятый.— Он скоро будет здесь. Ему мы поручим вручить этот документ Совету. А пока Воннела нет, необходимо оговорить уже частные, чисто бытовые вопросы. Дело в том, что у нас... жена и сын.

— Как это «у нас»? — спросил первый президент.

— У вас, у него, и у него, и у всех нас, черт побери! — пояснил регбист.

— Деликатность положения состоит в том,— продолжал пятый президент — политик и дипломат,— что жена и сын одни, а нас пятеро. Нам необходимо каким-то образом регламентировать нашу семейную жизнь. Очевидно, в лоне семьи мы будем пребывать по очереди.

— Как?! — возмутился первый президент.

— Я полагаю... — начал было второй, но в этот момент в комнату вошел министр внутренних дел.

— Ну и прекрасно,— закончил № 5.— Отложим, господа, решение этого вопроса на потом. Воннел, погрузитесь прочитать сей документ.

Воннел молча прочитал текст послания Совету ботов, сохраняя на лице выражение государственной озабоченности. Затем он внимательно оглядел президентов и сказал с легкой улыбкой, впрочем, весьма почтительной:

— Здесь написано: «В случае уничтожения или отстранения от власти любого президента оставшийся или оставшиеся моментально обнародуют...» и т. д. А почему, собственно, господа, вы думаете, что обязательно будут «оставшиеся»?

13. ПОЛТОРЫ МИНУТЫ ХОДЬБЫ

По дороге в трактир «Указующий перст», где должна была произойти встреча с Честером, Гард принял все необходимые меры, чтобы избавиться от «хвостов». В это утро ему пришлось невольно думать о несколько странном и не совсем обычном положении, в котором он оказался. Опытный сыщик, инспектор, а затем и комиссар уголовной полиции, он всю свою жизнь занимался тем, что кого-то разыскивал, преследовал и выслеживал. А теперь впервые сам очутился в роли преследуемого: ведь очень могло быть, что тем, кто ведет охоту за Миллером и следит за Дороном, все же удалось застечь Гарда во время встречи с генералом. В таком случае за ним наверняка установлено наблюдение. Было бы совсем некстати привести «хвост» за собой в «Указующий перст».

Чертовски неприятное ощущение. Кажется, что кто-то все время смотрит тебе в спину.

Гард внезапно и резко обернулся. Улица была пустынной. Только одинокий дымчатый кот мирно грелся на солнце, отдыхая после бурныхочных приключений.

Эта часть города была застроена довольно беспорядочно. Сооружения давних и близких времен соседствовали друг с другом, словно наплакствования различных геологических эпох, а узкие проезды и переулочки змеились замысловатой паутиной, столь же непонятной, как марсианские каналы.

Но часть улицы, примыкавшая к «Указующему персту», как назло была широкой и совершенно прямой. Она отлично просматривалась на большом расстоянии, и, когда Гард подходил к кабачку, у него было такое ощущение, словно его раздели догола.

У самого входа в кабачок он еще раз задержался и снова долго и придирично разглядывал улицу. И, лишь убедившись, что никто за ним не следит, быстро скользнул вниз по лестнице.

Честер уже был на посту — в дальнем конце погребка, за своим столиком, который теперь, после воскресного визита президента, мог когда-нибудь сдаться историческим. Перед Фредом стояли три большие пустые кружки.

Больше никого в этот утренний час в кабачке не было.

— Присаживайся, Гард,— пригласил Честер.— Такого пива ты еще никогда не пробовал.

Когда комиссар полиции сел напротив, Честер, хитро взглянув на инспектора, сказал:

— А ты знаешь, когда я разговаривал с Таратурой, мне послышался в трубке чей-то голос. Теперь мне кажется, что это был голос Миллера.

— Это очень важно,— сказал Гард.— Так что говорил Таратура?

— Оживился, когда узнал, что я сижу с президентом. Таратура сказал, что хотел бы взглянуть на президента собственными глазами.

— Так, так,— насторожился Гард.— И что дальше?

— Дальше ничего не было,— пожал плечами Честер.— Он не пришел.

— Или ты его не дождался?

— Сколько можно было ждать? Я просидел лишних полчаса, а он просил всего полторы минуты.

— Что?! — Гард вскочил.— Повтори, что ты сказал, и в деталях вспомни свой разговор с Таратурой!

— Подожди, не нажимай на меня так сильно. Ну, да, он сказал, что находится где-то неподалеку, что от него до «Перста» полторы минуты ходьбы.

«Полторы минуты...» Гард быстро прикинул: за час человек нормальным шагом проходит что-то около шести километров. Сто метров в минуту. За полторы минуты — сто пятьдесят. При быстрой ходьбе — двести. Бежать Таратура, конечно, не собирался: это привлекло бы к нему внимание. Значит, круг с радиусом около двухсот метров с «Перстом» посередине. Это уже кое-что! Впрочем, даже не круг, а что-то вроде овала. Ведь «Указующий перст» расположен на склоне, с восточной стороны город подступает к нему из низины, отсюда добираться до кабачка дальше. Зато с западной стороны человеку, направляющемуся в «Указующий перст», нужно опускаться вниз. Здесь круг вытянется.

Гард решил быстро съездить домой и изучить микроракту района, которая наверняка хранилась в его картотеке.

Дома он аккуратно очертил карандашом замкнутую линию вокруг кабачка. К счастью, застройка в этом месте была не очень плотной, и внутри зоны оказалось всего лишь около двух десятков зданий, в которых мог бы скрываться Миллер. Некоторые из них можно было отбросить сразу, например, районное полицейское управление и пансионат для слабоумных. Трудно было также предположить, что профессор нашел себе пристанище в пошивочном ателье мадам Борвари. Этот двухэтажный особняк с большими стеклянными витринами стоял несколько в стороне от других строений, и в него трудно было бы входить и выходить незаметно. К тому же, судя по картотеке Гарда, городу было известно, что почтенная хозяйка этого заведения обладает весьма подвижным язычком.

Разумеется, Миллер и особенно Таратура достаточно опытны и, несомненно, обратили внимание на эти обстоятельства.

Как раз напротив ателье, на пригорке, находилась адвокатская контора Дика Смитса. Он был весьма темной личностью, близкой к Бобу Арборо. Вряд ли у профессора Миллера могло найтись что-либо общее с этим адвокатом.

Скоро внутри овала, очерченного Гардом, осталось всего четыре здания.

14. ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

— У что же, не будем терять времени,— сказал Честер, поднимаясь навстречу возвращавшемуся Гарду.— Отправимся?

— Минуту,—остановил его комиссар.— Мы обязаны предусмотреть запасной вариант. У нас слишком мало времени, чтобы ошибаться.

Над этим вариантом Гард размышлял всю обратную дорогу в «Указующий перст». «Какой бы Миллер

в живых ни остался,— размышлял Гард,— у него, вероятно, имеются далеко идущие цели. Поэтому скорее всего он будет отсиживаться в своем убежище лишь до тех пор, пока обстановка не накалится в достаточной степени. Трудно предположить, что все это просто веселая шутка. В таком случае Миллер, добившись определенного эффекта, выйдет из укрытия. Он должен рано или поздно появиться на сцене. Не исключено, что профессор предъявит что-то вроде ультиматума. Ведь не будет же он в самом деле до конца своих дней сидеть в подполье! Маловероятно также, что Миллер попытается бежать за границу, бросив на произвол судьбы жену, друзей, коллег по работе и саму установку. Кому же он будет предъявлять ультиматум? Президентам? Нет. Скорее всего Дорону, от которого непосредственно зависит его судьба. Впрочем, в поступках Миллера, как и в поступках любого другого человека, нельзя быть особенно уверенными заранее...» Так думал Гард, и приблизительно так он изложил Честеру свои предположения.

— Это только догадки,— закончил Гард.— Но кое-какие меры мы все же должны принять. Необходимо одновременно с поисками Миллера организовать его перехват на тот случай, если он действительно явится к Дорону.

— А-а-а,— сказал Честер.— Тебе нужны люди?
Гард кивнул:

— Своих обычных помощников, как ты понимаешь, я не могу привлечь.

— Хорошо,— коротко сказал Честер,— жди меня здесь. Я тоже не терял времени даром.

Не прошло и часа, как он снова появился в кабачке, сопровождаемый двумя скромно одетыми молодыми людьми.

— Знакомьтесь,— сказал Честер.— Ральф Уорнер. Шофер бывшей моей редакции. Мы с ним немало поездили в свое время, не правда ли, Ральф?

— Бывало,— бодро произнес маленький широкоплечий крепыш в берете и кожаной куртке.

— А это,— продолжал Честер, похлопывая по плечу гиганта в толстом вязаном свитере,— мой товарищ по армии, Бенк Норрис. Он был отличным боксером, а сейчас служит грузчиком в торговой фирме «Крептон и К°». Ручается за обоих, как за самого себя.

— Отлично,— сказал Гард.— К сожалению, я не могу сейчас посвятить вас во все подробности. А потребуется вот что.

И комиссар как можно подробнее описал им приметы Миллера и Таратуры. Один из парней должен был занять позицию неподалеку от входа в особняк Дорона, а другой — в парке возле ратуши, у лука потайного входа.

Разумеется, Гард отлично понимал, что оба парня понятия не имеют о методах сыска. Однако это не очень смущало комиссара. Во-первых, чем меньше традиционно поднятых воротников, газет, прикрывающих лицо, глупых улыбок при столкновении с человеком, за которым установлена слежка, тем меньше подозрений. Ну, а если на Уорнера и Норриса все же обратят внимание, то в той перепутанной толчеее конкурнирующих друг с другом сыщиков, которых, вероятно, происходит сейчас возле дома Дорона, их просто примут за чьих-то людей.

— Теперь за дело,— сказал комиссар, когда Ральф и Бенк отправились на свои посты.

Обойдя безрезультатно два из четырех намеченных Гардом дома, Честер и комиссар приблизились наконец к трехэтажному зданию с двенадцатью подъездами. Когда Гард шагнул к одному из подъ-

ездов, чья-то фигура метнулась из-за угла в соседний вход и мгновенно скрылась внутри дома.

— Ты видел? — вырвалось у Честера.

— Тише... Может быть, это кто-нибудь из тех.— Гард ткнул пальцем куда-то в небо.

Перепрыгнув через ступеньки, они побежали по полутемному коридору. Незнакомца не было видно, но Гард каким-то инюхом без колебаний определял дорогу. Неожиданно коридор сделал резкий зигзаг, и они с ходу чуть не ударились о стену.

— Левее,— прохрипел Гард.

В этот момент что-то просвистело над их головами. Гард проворно отскочил за угол, увлекая за собой Честера.

— Что это было? — шепнул Фред.

— Пуля,— сказал комиссар.

— Но...

— Бесшумный пистолет.

Они стояли, прижавшись к стене, стараясь не шевелиться, и напряженно всматривались в глубь коридора. Ближайшая лампочка не горела, и в том месте, где они находились, было совсем темно.

15. ВСТРЕЧА У ДВЕРИ

Если бы Таратура знал, чем кончится для него сегодняшний день, он, наверное, так и не вышел бы из квартиры Чвиза.

А дело обстояло следующим образом.

Накануне Таратура был свидетелем ожесточенного спора ученых. Сначала он ничего не понимал. Они говорили о совершенно непонятных вещах.

Чвиз убежденно произнес:

— Надо бежать. Бежать, пока не поздно.

— У вас, коллега, побег — идея фикс,— сказал Миллер.— Уже надоело.

— А мне надоела ваша беспрерывная жажда деятельности, хотя вы сами не знаете, чего вы хотите!

— Я хочу немедленно информировать общественное мнение, Чвиз! — с жаром воскликнул Миллер.— Поднять на ноги прессу, позвонить в посольства, расклейт по городу объявление...

— Вам никто не поверит, шеф, — решил наконец вмешаться Таратура.— Или сочтут за остроумную шутку, или признают вас сумасшедшим.

— Прав! Тысячу раз прав! — подхватил Чвиз.— Но весть о том, что в стране несколько президентов, должна исходить от самих президентов, и только тогда она будет достоверной. Мы выпустили джина из бутылки, и теперь мы лишились власти над ним. Вам понятно, Миллер, хотя бы это?

— К сожалению, я вынужден это понимать.

— Но кое-что еще вы поймете несколько позже,— вдруг загадочно произнес Чвиз.— Не хочу вас разочаровывать раньше времени, но вы явно поторопились со звонком Дорону.

— Почему? — настороженно спросил Миллер.

— Потому, что этим звонком мы отрезали себе пути к отступлению,— ответил Чвиз.— А они у нас были.

— Простите, коллега, но в ваших словах нет логики. Корабли мы сожгли, создав несколько президентов,— сказал Миллер.— Теперь нам остается единственное: идти в атаку с поднятым забралом!

Чвиз даже крякнул от досады:

— Если бы я был уверен, коллега, в вашем благородстве, если бы я был убежден, что вы неринетесь тотчас в свою атаку, я сказал бы вам нечто та-

кое, что убедило бы вас в необходимости оставить поле битвы.

Миллер очень внимательно посмотрел на Чвиза и тихо сказал:

— Я давно подозреваю, что вы знаете что-то больше меня, но никак не могу понять....

— Шеф,— снова вмешался Таратура,— а если все же пойти дальше?

— Что вы имеете в виду?

— Сеять так сеять, как говорил комиссар Гард, когда был еще инспектором и когда составлял списки подозреваемых в убийстве лиц, включая в них даже младенцев, находящихся в утробе матери.

— Выражайтесь яснее, Таратура,— нетерпеливо сказал Миллер.

— Я говорю, шеф, не стоит ли нам отпечатать пяток Доронов и десятка полтора с каждого члена Совета? Они сразу же передерутся между собой...

Но Таратура прервал Чвиз:

— Молодой человек, ваш шеф надеялся, что передерутся президенты. Однако этого не случилось!

— Вероятно, им помешали члены Совета, которым помешать уже никто не сможет. И тогда мы... захватим власть!

— Вам — пост министра внутренних дел! — мгновенно добавил Чвиз.— Согласны?

Он сказал это так серьезно, что Таратура заколебался с ответом. С одной стороны, конечно, неплохо работать у Миллера, но, с другой стороны...

Он не успел додумать свою мысль, как в комнате погас свет. Таратура тут же зажег фонарик, а Чвиз сказал:

— Вероятно, перегорели пробки.

— А где щиток? — спросил Таратура.

— Откуда я знаю? — ответил Чвиз.— Это же не моя квартира.

Таратура стал шарить лучом по стенам, а Миллер тем временем подошел к окну. В доме напротив тоже не было света. Не горели даже уличные фонари. «Странно, очень странно...» — подумал Миллер, и вдруг острыя догадка пронзила его.

— Чвиз, поднимите телефонную трубку! — воскликнул он.

Профессор нашупал в темноте аппарат.

Телефон был мертв.

Таратура уже зажигал свечи, оплавившими огарками торчащие из бронзового старинного подсвечника.

— А радио? — воскликнул Миллер.

Молчало и радио.

— Господа,— не сдерживая волнения, сказал Миллер,— они вырубили электричество!

— Вы думаете? — спросил Чвиз.— Во всем городе?

— Может быть, даже во всей стране!

— Но почему? — удивился Таратура.

— Они нас лишают электричества! Они боятся нас! Они хотят сохранить статус-кво! И это — начало хаоса, уже определенно, господа, определенно!

Когда три маленьких языка пламени, чуть-чуть разгоревшись, слегка потеснили темноту и без того мрачной комнаты, Миллер решительно сел за стол и томом полководца произнес:

— Пора!

— Что вы намерены делать? — спросил Чвиз.

— Бумагу мне, Таратура! Дайте мне бумагу! Наш час, господа, пробил!

Через несколько минут Миллер передал Таратуре письмо.

— Учитите,— резко сказал Миллер,— мы подождем до утра, когда паника наверняка достигнет максимума, а затем... письмо должно быть вручено лично генералу Дорону. Никому другому. Понятно?

Утро выдалось солнечным...

Таратура выглянул в коридор и, не увидев ничего подозрительного, вышел из квартиры. Вместо того чтобы спуститься вниз, он сначала поднялся на следующий этаж, постоял в конце лестницы, закурил и только потом быстро сбежал к одному из черных ходов. Затем он пересек двор дома, легко перемахнул через невысокий каменный заборчик и очутился на стоянке автомашин, которая была расположена рядом с девятиэтажным зданием полицейского управления. Этот дом выглядел чужестранцем среди серых средневековых коробок, но придавал колорит старому району города, осовременивая его сразу в двух смыслах: архитектурно и политически. Небольшую площадь перед управлением всегда занимали хозяева переносных ларьков. Чем ближе к закону, тем легче его нарушать, это же известно всем!

По утрам здесь было шумно и многолюдно, почти как на базаре.

Смешавшись с покупателями и ротозеями, Таратура медленно продвигался вдоль ларьков. Он пристально всматривался в лица людей, которые толкались рядом, но ничего подозрительного не заметил.

Постоянно минут двадцать в очереди за свечами (пригодятся!), он наконец решительно пересек площадь и зашагал к главной магистрали, которая пересекала город на две части. Таратура и тут убедился, что слежки за ним нет.

Теплое летнее утро плыло над городом, бурлящим и шумящим больше обычного. Даже не очень внимательным взглядом можно было заметить, что люди возмущены: полицейских на улицах столько, сколько бывает во время выборов или забастовок. Город жил в ожидании каких-то необычайных и далеко не веселых событий. Таратура шагал к дому Дорона.

В пяти шагах от Таратуры рослый парень возился возле тачки. Огромное деревянное колесо лежало на тротуаре, немногочисленные прохожие осторожно обходили его.

— Алло, приятель,— окликнул парень Таратуру,— будь любезен, подержи-ка эту сволочь.— Он показал пальцем на колесо.

Предложение было как нельзя кстати. Таратура быстро поднял колесо и подтащил его к тачке. Пока парень загонял шплинт, Таратура внимательно осмотрелся. Кажется, за домом Дорона только наружное наблюдение. В саду, примыкавшем к дому, его опытный глаз не заметил ничего подозрительного.

— Вот спасибо, выручил,— поблагодарил парень и пристально посмотрел в лицо Таратуры.— Понимаешь, я уже два часа мучаюсь и все без толку. Ты тополишся? — неожиданно спросил он.

Таратура не ответил.

— Торопливость — неважная штука,— добавил парень.— Не на тебя ли направлены эти глаза? — И он осторожно кивнул на молчаливые и неподвижные фигуры, которые, как по команде, уставились на Таратуру, а потом, словно повинувшись чьему-то приказу, двинулись в его сторону.

— Ныряй во двор! — прошептал парень.— Не отставай от меня.

Он быстро покатил тачку к углу дома.

Таратура заколебался, а затем решительно метнулся на противоположную сторону улицы и перемахнул через забор. В три прыжка он перелетел через цветочную клумбу и рванул дверь особняка. К счастью, она была открыта.

Парень тем временем осторожно завел тачку на тротуар, прислонил ее к стене и медленно зашагал

к темному проему между домами. За углом его спокойствие и неторопливость исчезли. Он со всех ног пустился бежать по улице. Через десять минут Ральф Уорнер уже сидел в «Указующем персте», дожинаясь Гарда и Честера.

Увидев Дорона, Таратура оробел. Перед ним сидел холодный, подтянутый человек, сознающий свое величие и могущество.

— Прошу вас.—Генерал показал Таратуру на кресло.— Я очень рад, что вы наконец пришли. Как живет ваша матушка?

Таратура ничего не понял. Он настолько растерялся, что не ответил.

— Я вижу, вы очень взволнованы.—Генерал вызвал Дитриха и, когда тот появился в дверях, приказал: — Коньяк, пожалуйста! Вы не возражаете? — спросил он у Таратуры.

— Я... люблю кофе,— сказал вдруг Таратура.

— ...и чашечку кофе,— добавил генерал, обращаясь к Дитриху.

— Я давно не помню такой жары.—Дорон встал и подошел к окну.—Словно в Сахаре. Говорят, что солнце вредно для здоровья. В избытке, конечно. Раковые заболевания и прочее.

— И мух много,— добавил Таратура. Он почувствовал, как холодные струйки пота побежали по его спине.

— Совершенно верно,— сказал Дорон.— И мух.

Дитрих принес коньяк и кофе. Таратура лихорадочно схватил чашку и сделал несколько глотков.

— Генерал,— сказал он наконец.— Я явился к вам по поручению...—Он не закончил фразы, так как Дорон приложил палец к своим губам. Таратура сразу все понял и, сделав короткую паузу, добавил: —...по поручению матушки. Она просила узнать, нет ли у вас для меня работы.

Дорон что-то быстро написал на листке бумаги. «Ни слова! — прочитал Таратура.— Следуйте за мной».

Миновав несколько дверей и комнат, они вошли в подземный кабинет Дорона. Таратура искренне поразился тому, что он был точной копией главного кабинета. Даже из окна та же панорама. «Оптическая иллюзия,— сообразил Таратура.— Ну ладно, у тебя обо мне иллюзии не будет».

— Скажите, генерал,— твердо произнес Таратура,— зачем мы пришли сюда? У меня разговор короткий.

— Там нас могут подслушать, Таратура,— сухо сказал Дорон.— Здесь же никто, кроме бога.

Таратуру приятно поразило, что Дорон разговаривал с ним на равных.

— Я к вам от профессора Миллера,— сказал Таратура.— Он просил передать это письмо.— Таратура протянул пакет Дорону.

Тот осторожно, двумя пальцами взял пакет, достал из ящика стола ножницы и надрезал бумагу. Доставая письмо, он невзначай спросил:

— Где сейчас Миллер? Далеко?

Таратура усмехнулся:

— У него менее удобное убежище, генерал, чем у вас, но достаточно надежное.

— Благодарю за исчерпывающую информацию.— Дорон раскрыл письмо.

— Странно, очень странно,—сказал он, внимательно прочитав послание Миллера.— Вам знакомо содержание письма, Таратура?

— Нет.

— Я не понимаю, чего хочет профессор Миллер. Нам лучше встретиться с ним и обо всем догово-

риться. Уверен, он будет удовлетворен. Как с ним связаться?

— Я передам шефу все, что вы сказали,— заверил Дорона Таратура.— Мне можно идти?

— Не торопитесь,— сказал генерал. Таратура едва заметно улыбнулся. Дорон поморщился. Затем, прямо глядя в глаза Таратура, спросил: — Где Миллер, Таратура? Вы должны мне сказать.

Таратура поклонил плечами.

— Два миллиона кларков. За ранее. Сейчас.

— Благодарю, генерал,— ответил Таратура.— Я вам буду признателен за столь щедрый подарок.— Таратура явно издевался, и Дорон понял это.

— Вы будете моей правой рукой, Таратура,— сказал генерал.

— Мне кажется, вы тоже понимаете, что игра ведется уже не на деньги и почести. Зачем лишние слова, генерал?

Дорон сдался.

— Вы выйдете отсюда потайным ходом, прямо в парк. Учтите, я жду Миллера. Дитрих будет дежурить в парке. Берегитесь, вас ищут,— предупредил Дорон.

— Я это знаю,— вновь улыбнулся Таратура.— Кстати, наверное, и ваши люди тоже. Я должен вам сказать, что с ними труднее всего работать.

— Благодарю.— Дорон склонил голову.— Но сегодня моих «хвостов» за вами не будет. Не беспокойтесь об этом.

«Так я и поверил,— подумал Таратура.— Мягко стелешь, да жестко спать...»

Дитрих проводил Таратуру. Выскользнув из лука, Таратура отряхнул с костюма комочки земли и направился к выходу из парка.

Кто-то схватил его за запястье железной хваткой.

— Таратура, стой! — сказал незнакомец.— Пойдешь со мной.

— Хорошо,— неожиданно покорно согласился Таратура.

Рыжий детина подумал и отпустил его руку.

— Так-то лучше,— пробормотал он.— Бенк Норрис не любит, когда его не слушаются.

Они медленно шли по аллее парка. Таратура чуть впереди, Норрис сзади.

— Подожди,— остановился Таратура,— у меня развязался шнурок.

Он нагнулся. Норрис слегка наклонился, пытаясь разглядеть, что делает его спутник.

Сильный, резкий удар правой сбил Норриса с ног. Он грохнулся о землю, как чушка металла. Деревья поплыли в сторону, откуда-то из-за них выплыло лицо Чарльза Квика, «короля Эфитрии», который все-таки побил Норриса в той решающей схватке. Точно таким же ударом в солнечное сплетение.

Когда Норрис очнулся, в парке никого не было.

Таратура не один раз сам ходил «хвостом» за преступниками всех мастей, и поэтому отлично знал, как нужно от «хвостов» избавляться.

Заскочив в кабачок «Старый моряк», он поздоровался с хозяином и, подмигнув ему, направился к черному ходу. Хозяин не сказал ни слова, он отлично понимал подобные штуки и молчал, когда его клиенты предпочитали черный ход парадному.

Пройдя дворами, Таратура вышел на главную улицу и, миновав несколько домов, вновь исчез в одном из подъездов. Пройдя на второй этаж, он остановился и прислушался. «Хвост» не появлялся. В конце коридора был балкон, о его существовании

Таратура знал. Он открыл стеклянную дверь балкона. Во дворе трое ребятишек возились возле кучи песка. Женщина сидела на лавке и читала газету. Больше никого не было. Таратура спрыгнул вниз и поморщился от боли. Правая рука ныла. Он ударил Норриса настолько сильно, что, кажется, вывихнул кисть. Сейчас, когда он оперся на руку, острыя боль пронзила тело. Таратура пересек двор и очутился в одном из переулков, примыкающих к дому, где скрывались Миллер и Чвиз. Облегченно вздохнул. Его нелегкая миссия подходила к концу.

Только сейчас Таратура понял, насколько он устал. Он хотел уже войти в подъезд, как заметил у одного из входов двух подозрительных типов.

Кажется, они не смотрели в его сторону, но даже если бы смотрели, все равно необходимо было предупредить ученьих: дом обнаружен! Эти двое были «чужаками», один из них — полицейский. Таратура показалось, что он даже знает его, настолько знакомой была фигура этого человека. Метнувшись в подъезд, Таратура бросился в левую галерею. И даже не услышал, а скорее понял, что те двое кинулись за ним.

Таратура добежал до конца галереи, а затем вверх по лестнице. Его окутали сумрак и прохлада бетонных перекрытий. Двое бежали следом. Таратура наугад дважды выстрелил в темноту.

Оставался единственный выход — только наверх. Перепрыгивая через две ступени, он побежал туда. Вот и третий этаж. Один из преследователей, вероятно, отстал. Он что-то крикнул, но Таратура не разобрал слов.

Дверь на чердак была закрыта. Таратура растерялся: он оказался в ловушке. Внизу, двумя этажами ниже, он слышал стук каблуков. Не раздумывая, Таратура навалился плечом на чердачную дверь. Прогнившие доски треснули, и он упал на рухнувшую дверь. Острая боль вновь резанула тело: рука, поврежденная в парке, давала о себе знать.

Таратура вскочил и, опрокидывая на пути какие-то корзины, ящики, стулья, побежал к светлому пятну, — это было слуховое окно.

Он выбил стекло и протиснулся на крышу.

Под собой он слышал топот. Двое приближались.

Черепичная крыша была очень скользкая. Балансируя руками, Таратура осторожно шел по коньку. В двадцати шагах начиналась крыша другого дома, а там пожарная лестница и спасение.

— Таратура, стой! — услышал он знакомый голос Честера. — Вернись!

Таратура остановился. «Честер? — мелькнуло в голове. — Почему он?»

Левая нога заскользила, Таратура упал и медленно покатился по крутым склонам крыши. Судорожным движением он попытался дотянуться до стойки телевизионной антенны. Но когда пальцы почувствовали металл, сознание помутилось от пронизывающей боли. «Да, я очень сильно ударил рыжего парня», — успел подумать Таратура.

...Когда Честер и Гард сбежали вниз, возле распостертого на земле тела собирался народ.

16. ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ!

Осторожный стук в дверь заставил Миллера и Чвиза переглянуться. Миллер стоял у окна, Чвиз сидел в кресле. Оба они не шевелились. Стук повторился.

— Это не Таратура, — стараясь говорить спокойно, произнес Миллер.



— Что будем делать? — спросил Чвиз.
Миллер ничего не ответил, лишь нервно закурил сигарету. В дверь снова постучали.

— Он мог потерять ключ, — сказал Чвиз.
Миллер покачал плечами.



— Спросите.

Приблизившись к двери, Чвиз строго спросил:

— Кто там?

— Полиция,— мгновенно ответил жесткий мужской голос.

Чвиз оглянулся на Миллера.

— Открывайте! — шепнул Миллер.— В противном случае они просто выломают дверь. Я буду за шкафом.

Чвиз повернул замок. Дверь распахнулась. На пороге стояли Честер и Гард, держа руки в карманах.

Честер остался в дверях, а Гард решительно шагнул в комнату мимо Чвиза. И тут же увидел Миллера. Мгновенно побледневшее лицо профессора не выражало, однако, никакого страха.

— Я знал, Гард, что, если нас обнаружат, это будете вы,— сказал Миллер.— Прикажите своему чловеку закрыть дверь. Терпеть не могу сквозняков.

— Там Честер,— сказал Гард.— Вы с ним знакомы. Простите, я очень устал.— И Гард с явным удовольствием опустился в кресло.

Честер, слышавший этот разговор, закрыл дверь и вместе с Чвизом вошел в комнату.

— Позвольте представить вам, господа, профессора Чвиза,— сказал Миллер.

При этих словах Гард встал и учтиво поклонился. Честер с изумлением смотрел на Чвиза. Зло улыбнувшись, Миллер сказал:

— Коллега, этот тот самый Гард, о котором я вам говорил.— Затем, повернувшись к Гарду, он спо-

койно спросил: — Что вы намерены с нами делать, комиссар?

— Еще не знаю,— ответил Гард.

Наступила долгая и томительная пауза. Каждый лихорадочно продумывал линию дальнейшего поведения.

— Я видел вас, профессор, лишь на фотографиях,— сказал Гард, нарушив молчание.— Никак не ожидал встретить здесь.

— Я очень изменился! — ехидно спросил Чвиз.

— За минувший год я тоже не помолодел,— жестко сказал Гард.— Хотя и не жил в заточении.

— Вы легки на помине,— обернувшись к Честеру, произнес Миллер.— Не ранее, как вчера, мы о вас вспоминали.

— Благодарю,— без тени иронии ответил Честер.— Очень жалею, что Таратура не пришел в «Указующий перст». Я долго его ждал, и, приди он, все бы сложилось иначе...

— Увы, ему пришлось уехать по срочному делу,— осторожно сказал Миллер.— Но он вернется и встретится с вами, поскольку считает вас порядочным человеком.

— Он не вернется,— сказал Гард.— Никогда.

— Как вас понимать? — насторожился Миллер.

— Таратуры, сожалению, больше нет,— грустно сказал комиссар.— Он принял нас за своих преследователей, пытался увести от этой квартиры и... погиб, сорвавшись с крыши.

Чвиз схватился за сердце и начал тихо массировать грудь.

— Вам плохо? — спросил Честер, но старик не удостоил его ответа.

— Поверьте,— сказал Гард,— мы в этом не виноваты. Я хорошо знал Таратуру.

— Когда это случилось? — прошептал Миллер.

— Полтора часа назад,— ответил Гард.

Они вновь умолкли. Миллер стоял посреди комнаты, понурив голову и тупо глядя перед собой.

Наконец он встряхнулся:

— Где... где он сейчас?

— Его увезли, по всей вероятности. Мы были в толпе, но очень недолго, так как понимали, что рядом могут оказаться люди, которые интересуются вами. И не хотели рисковать.

— Чем?

— Скорее кем,— сказал Гард.— Вами. Они могли обнаружить квартиру прежде, чем это сделали бы мы.

— За кого же вас принимать? — нахмурившись, спросил Миллер.

— Такой же вопрос вертится у меня на языке, профессор,— сказал Гард.— Но я задам его в иной форме. Скажите, три года назад у вас была золотая коронка?

— Глупо,— устало произнес Миллер.— Поверьте, мне сейчас не до шуток и тем более не до загадок. Если хотите, спрашивайте в открытую.

Гард отрицательно покачал головой.

— В открытую не могу, Миллер. Особенно теперь, когда я понял, что вы обманули меня в деле профессора Чвиза. В открытую я вам пока не верю.

— Предположим,— ответил Миллер.— Но какое отношение ко мне имеет золотая коронка?

— Вы хотите знать правду? Обещаю сказать ее, как только получу ответ на свой вопрос. Итак, была ли у вас три года назад золотая коронка? Я имею в виду время до того, как случилось дублирование.

Честер обратил внимание на то, что Чвиз тоже с нетерпением ждет ответа Миллера.

— Коронки никогда не было,— нехотя ответил Миллер.— У меня, я помню, когда-то болел зуб, и пришлось его впоследствии удалить. Если вам достаточно этих стоматологических данных, я жду вашей правды.

Гард широко и добро улыбнулся.

— Отлично! Вы не представляете, профессор, сколько пудов сомнений вы сняли с меня своим ответом! Так вот: вы — и я узнал об этом только сейчас — настоящий Миллер! Вы не двойник! И потому можете располагать мною и Честером, как своими друзьями!

— Ничего не понимаю! — искренне сказал Миллер.— В своей истинности я никогда не сомневался.

— Да что тут понимать! — не выдержав, вскочил на ноги Гард.— Несколько часов назад мы с Честером были на кладбище у Бирка и видели труп двойника!

— Это ложь! — вдруг яростно сказал Чвиз.— Никакого трупа видеть вы не могли!

— Совершенно верно,— спокойно подтвердил Гард.— В гробу было пусто. Но в нем лежала золотая коронка!

Старый Чвиз подошел к Гарду, остановился перед ним и долго-долго смотрел на него. Потом повернулся к Миллеру и сказал:

— Коллега, он умный человек. И честный человек. Ему можно и нужно верить.

— Ничего не понимаю! — с досадой воскликнул Миллер.— Но чувствую, Чвиз, что у вас есть какая-то тайна, которую вы опять скрываете от меня...

— И которая только что блестяще подтвердилаась! — с жаром сказал Чвиз.

— Господа,— спокойно сказал Гард.— Прежде всего нам следует немедленно покинуть эту квартиру. В более надежном убежище мы попытаемся разгадать все наши тайны.

Казалось, смерть Таратуры и внезапное появление Гарда повергли Миллера в какое-то оцепенение. Он больше не задал ни одного вопроса, не расспрашивал, куда и зачем ведет их комиссар, послушно сел в машину, которую Гард предусмотрительно оставил неподалеку от дома в одном из тупиков. Его движения были скорее машинальными, чем осознанными.

Молчал и Чвиз, думая о чем-то своем. Мертвый Таратура владел мыслями ученых так, как никогда не владел ими, будучи живым. Неизменно веселый, всегда решительный и верный, как-то обходящийся без глубоких размышлений о смысле происходящего, он был для Миллера безупречной опорой в жизни, человеком, на твердость которого можно было положиться. И вот он, Миллер,—от этого никуда не уйти — фактически послал его на верную смерть, потому что считал себя вправе рисковать чужой жизнью. Но почему, почему он присвоил себе такое право? Этот вопрос не давал Миллеру покоя.

Он не замечал, что творилось на улицах, по которым они ехали. Зато Гард замечал все.

Может быть, впервые за всю многовековую историю столицы ее жители в будний день остались без работы. Не было тока — стояли заводы. Замерла связь, остановились троллейбусы, метро и трамваи, погасли экраны телевизоров. Миллионы людей вдруг были вышвырнуты из привычного распорядка.

Многие из них пережили кошмарную ночь, наполненную тревогой, неизвестностью, страшными и фантастическими слухами о надвигающейся войне, диверсиях на электростанциях, антиправительственном заговоре, высадке марсиан...

День не принес облегчения. Официальное сообщение о крупных поломках в энергосистеме, переданное правительственной радиостанцией, не столько успокоило, сколько вызывало гнев. (Чтобы передать это сообщение и дать возможность его прослушать, на несколько минут был включен ток.) Для тех, кто не поверил сообщению по радио, это стало доказательством, что в стране происходят какие-то тревожные и таинственные события. Поверившие (их было меньшинство) задали себе один и тот же вопрос: чего же стоят власти, если они допустили такое?

На магистральных улицах машин всегда было больше, чем людей. Так по крайней мере казалось. Сейчас было наоборот. Ты сотни тысяч людей, которые днем сидели в конторах, работали в цехах, а вечером смотрели телевизор, сегодня очутились на улице. Не только потому, что в толпе они чувствовали себя лучше. Каждый искал правду о происходящих событиях, и потому любая информация — достоверная или недостоверная — разносилась по городу, как на крыльях. Домыслы о начале войны, высадке марсиан очень скоро испарились, не получая абсолютно никакого подтверждения. Зато все более крепли слухи об остром неблагополучии в правительстве, о том, что кто-то с помощью двойников президента хочет захватить власть и установить диктатуру. Наконец, пополз слух, которому сначала не поверили ввиду его абсолютной фантастичности, но который тем не менее креп и обращал реальными подробностями: кто-то сделал нескольких искусственных президентов. (Если бы Гард и Честер появились в «Указующем персте» на три часа позднее, они бы обнаружили у дверей толпу, жаждущую лично удостовериться у владельца кабачка и его прислуги, что президент действительно был там вчера днем.)

Увеличившиеся наряды полиции еще более накалили обстановку, вместо того чтобы успокоить народ. И к тому времени, когда Гард вывел ученых из убежища, в настроении людей произошел переворот.

— Что это? — вышел из оцепенения Миллер при виде возбужденной толпы на площади, куда они въехали. Люди размахивали руками, что-то кричали. Их было так много, что Гарду пришлось притормозить.

— По-моему, это пузырьки пара,— спокойно заметил комиссар, пытаясь развернуть автомобиль.

— Как, как? — не понял Миллер.

— Ну, вы, физики, должны знать это лучше. Кипение воды всегда начинается с появления пузырьков.

— А недовольство с демонстраций,— догадался Честер.

— Недовольство? — Гард пожал плечами и до упора нажал на тормоз. Его машина, как и соседние, уже была в плотном кольце людей.— Недовольство — это постоянное состояние нашего общества, или я, комиссар полиции, ничего не понимаю в своем деле. Вы даже не представляете, до чего у нас непрочно в стране. Люди озлоблены, потому что впереди нет ясной и обнадеживающей перспективы, потому что жить трудно, потому что в промышленности постоянно возникают временные затруднения, потому что доверия к правительству нет, потому что кругом лицемерие и обман, потому что над всеми висит угроза войны... А вы, Миллер, поставили этот котел недовольства на жаркий огонь. Мне непонятно ваше удивление.

— Позвольте! — воскликнул Миллер.— Еще вчера...



— А кто сказал, что вода закипает мгновенно? Нужно время и температура. Лучше послушайте, что они кричат.

Где-то посреди площади (где — не было видно из-за спин), очевидно, образовался какой-то центр, потому что именно оттуда доносились выкрики. Миллер опустил стекло.

— ...Требуем правды! — Шум рвал обрывки слов. — ...Правительство обманывает... Совет богов... с вечера... Президенты арестованы!.. Заговор против народа... Пользуясь случаем... фашистская диктатура... Все к Дому власти... К ответу правительство!

Все перекрыл одобрительный рев. «К ответу, к ответу!» — орали тысячи глоток.

Внезапно толпа колыхнулась. Раздались возгласы: «Полиция, полиция!»

На несколько секунд в толпе образовался разрыв. Гард тотчас сбросил ногу с тормоза, дал газ с выключенным сцеплением, мотор взревел, люди впереди шарахнулись в стороны, Гард круто положил руль, и машина пушечным ядром вылетела из толпы в боковой переулок.

— Я думаю, нам незачем попадать в эту заваруху, — сказал Гард.

— Это напоминает мне дни моей молодости, — сказал Чвиз.

Все с удивлением посмотрели на дотоле молчавшего Чвиза.

— Я во многое тогда верил, а главное, в науку. Я считал, что наука может служить только добру. Верил, пока не появилась эта проклятая установка и пока Дорон не наложил на меня свою лапу. Он отнял у меня науку, а с наукой и смысл жизни. С тех пор мне все равно, жив я или умер. Но все-таки перед концом приятно видеть начало цепной реакции и сознавать, что ее вызвали мы. И чем бы теперь это ни кончилось, мир уже не останется прежним.

— Чушь, — сказал Миллер, — революции у нас никогда не будет.

— Тогда почему же вы, коллега, своими действиями подталкиваете — и не без успеха — к ней народ?

Миллер промолчал.

— Просто об этой возможности я как-то не думал,— наконец сознался он.

— А чего же вы тогда хотели? — сказал Гард.

— Осторожней! — воскликнул Честер.— На той площади мы, похоже, снова влипнем!

Гард поспешил дать задний ход и свернулся в переулок.

— Так чего же вы хотели? — повторил он вопрос, когда убедился, что путь впереди свободен.

— Я хотел их обжечь! — с яростью сказал Миллер.— Я хотел, чтобы они на своей шкуре почувствовали, как больно жжется научное открытие. Чтобы они поняли, с каким огнем играют!

— Они — это президент? — тихо спросил Честер.

— Да.

Честер разочарованно присвистнул.

— Знаете что, — вдруг сказал он.— Я выйду сейчас на одну из этих площадей и расскажу людям все. Вот тогда начнется!

— Никуда ты не выйдешь, — отрезал Гард.— Ты можешь рисковать своей головой, но не нашими. Тем более, мы приехали.

— Но это же твоя квартира, Гард!

— Вот именно, — сказал комиссар.— Прятаться нужно там, где искать заведомо не будут. Идемте.

Обойдя все три комнаты, Гард опустил шторы на окнах и лишь после этого разрешил спутникам покинуть прихожую. Нераспакованный чемодан все еще стоял у двери, и Гард, показав на него, сказал:

— Повторю, вы будете здесь пока в полной безопасности. С одной стороны, я в отпуске, с другой — «человек Дорона».

— Вот как? — сказал Миллер.

— Не беспокойтесь, последняя должность у меня чисто символическая.

— Кроме того, — добавил Честер, — я обещаю вам в случае чего просто свернуть ему шею.

Миллер натянуто улыбнулся. Он все еще не мог избавиться от подозрительности, хотя прекрасно понимал, что теперь в ней нет никакого смысла. Словно чувствуя состояние учених, Гард поторопился рассказать им о своей встрече с Дороном. При этом он дал понять, что, вмешавшись в дело, был готов и к роли гостеприимного хозяина и к роли человека, способного подвергнуть их принуждению.

— Я бесконечно рад тому, — сказал Гард, — что случилось первое.

— Простите, господа, — добавил Честер, — но, как мы ни гадали, мы не могли заранее предположить, что у вас благородные цели.

На что Чвиз мрачно заметил:

— Ни у кого на лице не написаны достоинства. Особенно у людей, занимающих пост комиссара полиции.

— Мы отвлеклись, господа, — сказал Гард.— Я хотел бы знать, какие шаги вы уже предприняли и что намерены делать в будущем.

Миллер пожал плечами и поправил воротничок рубашки своим характерным движением шеи.

— К несчастью, — сказал он, — мы лишены какой бы то ни было информации. Мы знаем лишь, что в городе выключено электричество и что там происходят... м-м... волнения. Вмешаться в события мы сейчас не можем. Единственное, что мы сделали, — это отправили Дорону ультиматум, как только почувствовали признаки хаоса. Но нам неизвестно даже, удалось ли Таратуре...

— Удалось, — сказал Честер.— Уорнер и Норрис оповестили нас. Это наши люди, они видели Таратуру входящим в особняк Дорона, а затем выходя-

щим в парке из колодца, причем Норрис еще долго будет помнить этот выход.

— А что за ультиматум? — спросил Гард.

— Копии нет, — ответил Миллер.— Могу вспомнить основной смысл. В письме было написано, что я — о профессоре Чвизе, разумеется, там нет ни слова — пойду на крайние меры, если Дорон не примет моих условий. Условия такие: полная независимость в работе и дальнейшем усовершенствовании установки, использование ее только в благородных целях и абсолютная гарантия свободы, которую я требую от лица всей науки. На размышления я давал Дорону пять часов после получения письма.

— А сколько времени прошло с тех пор, как были созданы президенты? — вдруг спросил Чвиз.

— Первый был создан в воскресенье утром, — сказал Миллер.— Второй — спустя час, а третий — где-то около полудня. Вот и считайте, коллега. А что?

— Так, — сказал Чвиз.— Первому, выходит, уже около сорока часов жизни.

— Простите, — вмешался Гард.— Как я понял из ваших слов, вы сделали трех новых президентов?

Он подчеркнул слово «трех».

— Да, — сказал Миллер.— Хотели сделать четырех, но с последним почему-то получилась осечка. Я даже не знаю, почему. Матрицы, с которых осуществлялось печатание, были в порядке, Таратура заранее доставил их в кабинет президента...

— Каким образом? — поинтересовался Честер.

— Увы, он не сказал нам, и теперь это навсегда останется тайной... И поскольку мы готовили матрицы в разное время, делая снимки с президента в разных местах — когда он молился, когда был на матче регби, на банкете и, наконец, один снимок, который сорвался во время предвыборного митинга, — у нас должны были получиться четыре президента с гипертрофированием определенных человеческих качеств. Нам казалось, что именно это обстоятельство приведет к полному разнобоя в управлении государством, и, следовательно, к хаосу.

— А что потом? — спросил Честер.

— Вас интересует наш план? Или то, что случилось в действительности?

— План, план, — нетерпеливо сказал Гард.

— Я же говорил. Они должны были понять, что обращаются с нашим открытием, как дети со спичками. Надо было научить их благородству.

— И это все? — сказал Честер.

— Разве этого мало?

— Ах, боже мой! — воскликнул бывший репортер.— Эти детки должны обжечься, а потом дуть на свои бедные пальчики и плакать крупными слезами?! Простите, господа, но это счастье, что они не знают вашего плана. Вы наивны до беспредельности, если верите в благородные акулы! Убежден, что всем этим доронам и гангстерам из Совета богов мерещится страшный заговор, чуть ли не революция, но никак не ваши пасторальные надежды!

— А как сделали бы вы на нашем месте? — спросил Чвиз.— Дело в том, что даже эту идею Миллера я считал авантюрой.

— Я бы? Я бы... Я бы напечатал несколько тысяч уорнеров, и норрисов, и даже честеров, которые к чертовой матери разнесли бы...

— Стоп, стоп! — сказал молчавший до сих пор Гард.— Все это наивно, но что сделано, то сделано. А потому постараемся извлечь максимум пользы из сделанного. Что касается тысяч честеров, то лично с меня хватит и одного, а для свержения власти люди найдутся и без дублирования. И будут они по-

крепче Честера. Если Честер подумает, он поймет, что я прав. Итак, господа, прежде всего должен сообщить вам, что из разговора с Дороном я понял, что в стране сейчас не четыре, а пять президентов.

— То есть? — сказал Миллер. — Мы зафиксировали четырех!

— Дорон сначала тоже. И когда ваша лаборатория была обесточена, он заверил Совет богов, что дальнейшее дублирование невозможно. Тогда-то и явился пятый президент, который перепутал им карты.

Миллер задумался.

— Вероятно, — сказал он после паузы, — произошла какая-то случайность...

— Гадать нет смысла, — сказал Чвиз. — Что бы там ни произошло, Гард прав. Надо думать, как использовать это обстоятельство.

— Вы действительно не можете продолжать дублирование? — спросил Гард.

— Сейчас нет, — ответил Миллер. — Установка в чужих руках.

— Но они думают, что можете! — воскликнул Честер.

— И это наш козырь, — добавил Гард.

— Второй наш козырь тот, — продолжал Честер, — что они уверены в заговоре и дрожат за себя. Следовательно...

— И главный наш козырь, — вставил слово Гард, — волнения в стране.

Миллер посмотрел на него с недоверием.

— Простите, но как вы, комиссар полиции, один из оплотов власти, можете радоваться волнениям?

— А как вы, профессор Миллер, один из научных оплотов власти, могли планировать потрясение основ этой власти? По-моему, Чвиз уже задавал вам этот вопрос.

— Обстоятельства... — буркнул Миллер.

— Я тоже исхожу из обстоятельств. А они подсказывают мне, что в сложившейся обстановке мы заинтересованы... — Гард запнулся, — ...в революции. Это наш единственный козырь.

— Не надо считать козыри, — сказал вдруг Чвиз. — Через несколько часов все равно не будет ни одного.

Он сказал эти слова так спокойно и убежденно, с такой жуткой размеренностью, что по спинам у каждого пробежали мурашки.

— Чвиз, — тихо сказал Миллер, — прошу объясниться.

— Скажите, Гард, — вместо ответа спросил Чвиз, — каким образом по золотой коронке вы угадали происхождение профессора Миллера?

— Извольте, — начал Гард. — Я прежде всего предположил, что синтетический труп должен разложиться как-то иначе, нежели естественный, — простите, Миллер, что я столь циничен в вашем присутствии. Но, обнаружив пустой гроб, а в гробу — золотую коронку, я понял, что при всех случаях коронка была естественной. Или профессор поставил ее до сублимации, и тогда я подумал бы о странных ворах, которые украли полуразложившийся труп, нарочно выбросив золотую коронку. Или двойник поставил ее в период после сублимации до своей смерти, — и тогда естественно, что от него осталась лишь коронка. Логично?

— С одной поправкой, — медленно сказал Чвиз. — Тело двойника не поддается гниению. Оно просто исчезает. Десублимируется. Превращается в ничто.

— Так я был прав! — воскликнул Гард.

— Постойте, постойте, — сказал Миллер. — Для меня это новость. В какие же сроки, коллега?

— В том-то все и дело, — сказал Чвиз. — Теорети-

ческие расчеты, которые я провел здесь, показывают, что в отличие от кроликов сублимированные люди должны существовать в среднем около сорока — пятидесяти часов!

Сначала все ошалело посмотрели на Чвиза, а потом, как по команде, перевели глаза на часы. Первым пришел в себя Гард.

— В таком случае, — сказал он, — для успешной организации вашего побега мне нужно, чтобы правительству на несколько часов стало не до нас.

17. МЕСТЬ ПРОФЕССОРА МИЛЛЕРА

С того момента, как у парадного подъезда плавно затормозила первая машина с опущенными занавесками, и до того, как бесшумно скользнула последняя — десятая, прошло не более минуты. Говорят, точность — вежливость королей. Особенно когда их подгоняет страх...

Воннел приехал на усадьбу еще раньше. Он знал о разворачивающихся в стране событиях куда больше, чем знали о них Миллер и Гард, видевшие лишь краешек происходящего. Из многочисленных донесений агентов явствовало, что затаенное недовольство теперь прорвалось наружу и что митинги и демонстрации смогут оказаться прелюдией к чему-нибудь гораздо более серьезному. Пока волнения были неорганизованными, люди еще не думали о целенаправленных действиях; просто ими владели растерянность и гнев. Но Воннел отлично был осведомлен о способности масс к самоорганизации, особенно когда есть люди, мечтающие о перемене социального порядка. А в том, что таких людей много и что они вооружены опытом, Воннел не сомневался.

Но, как ни странно на первый взгляд, больше всего министра волновало сейчас не это. Он покрывался холодным потом лишь при одной мысли о том, что именно ему предстоит сообщить Совету обо всех событиях.

Дорон прибыл самым последним. Он подкатил на белом лимузине, сидя рядом с шофером. За его спиной теснились люди Воннела. И хотя они проворно выскочили из машины, чтобы любезно отворить Дорону переднюю дверцу, он не обольстился этой предупредительностью: конвойщик тоже кажется вежливым, когда пропускает в камеру заключенного. Однако Дорон хватило выдержки сделать вид, что ни под каким домашним арестом он не находится и по-прежнему самостоятелен. Легким кивком головы он поблагодарил стоящего к нему ближе агента и с невозмутимым выражением медленно, почти торжественно стал подниматься по ступенькам. Чуть сзади неотступно шествовали два дюжих молодца, но Дорон шел так, будто его сопровождал почетный эскорт. Несмотря на двусмысленность своего положения, генерал был единственным из собравшихся в Круглом зале, кому удалось сохранить бодрый вид. Он справедливо рассудил, что поскольку в данный момент все зависит не от него и не от членов Совета, а от Миллера, Гарда, сыщиков Воннела и господ бога, то лучшее, что он может сделать, — это использовать вынужденное домашнее заключение для того, чтобы отдохнуть и хорошо выпить.

Короли выглядели далеко не такими свежими. Видимо, необычайная угроза, нависшая над ними, оказалась сильнее самых новейших успокоительных средств. Заметив это, Дорон еще более приободрился: он чувствовал, что при нынешней неопределенности лучшие шансы выиграть у того, кто обладает

более крепкими нервами. «А что, если мне действовать так, будто Миллер уже в моих руках?» — подумал он, усаживаясь в кресло.

Тем временем Воннел приступил к докладу. Торжественно-многозначительным тоном, вовсе не соответствующим характеру достигнутых результатов, он сообщил присутствующим о принятых чрезвычайных мерах по обнаружению профессора Миллера. «Увы, Миллер, еще не найден, — сказал Воннел, — но зато, — его голос в этот момент взвился до победной интонации, — удалось наткнуться на Таратуру, телохранителя и секретаря профессора, когда Таратура проникал в особняк генерала Дорона». Затем последовала заранее отрепетированная пауза, в течение которой члены Совета должны были, по мысли Воннела, насладиться сообщением и проникнуться к Воннелу некоторой признательностью, очень необходимой ему в дальнейшем. «Назад Таратура не вышел, — продолжал Воннел, — по всей видимости, он и сейчас скрывается в особняке, но принятые меры, которые не допустят его дальнейшего исчезновения, — уж будьте, мол, на этот счет спокойны».

Воннел и все члены Совета посмотрели в сторону Дорона. Дорон даже не опустил глаза, он продолжал сидеть каменным изваянием.

— Что касается профессора Миллера, — закончил министр, — не исключено, что и он скрывается у генерала, и я прошу членов Совета санкционировать обыск особняка!

Воннел вновь смерил Дорона уничтожающим взором. «Благодарю за ценную услугу, — подумал Дорон. — Редкий болван!»

Министр глубоко вздохнул: пора было переходить ко второй части доклада. Члены Совета терпеливо ждали. Дорон отлично представлял себе, какая буря происходит сейчас в их головах, решающих вопрос о проведении обыска у почти равного им хозяина страны.

О прочих событиях Воннел сказал вроде бы между прочим, скороговоркой и таким тоном, каким обычно сообщают пустяки. Но тон не помог. По выражению лиц членов Совета, мгновенно изменившихся, Дорон понял, что вопрос о нем уходит на второй план, так как возникает опасность более серьезная.

— Вам следовало начать доклад с сообщения о событиях в стране! — грозно произнес король Стали, как только Воннел умолк.

— Вы чрезвычайно легкомысленны, министр! — добавил король Нефти.

— Хоть какие-то меры вы принимаете?! — рявкнул кто-то еще.

— Я полагаю, господа... — начал было Воннел, но его перебили.

— Полагаю, нужно немедленно дать стране электричество! — решительно сказал король Стали. — Связь парализована, а это обстоятельство мешает нам вести борьбу против волнений. Кроме того, в дальнейшем ограничений я вообще не вижу смысла, если Миллер, как явствует из доклада министра, уже взят на прицел. Разумеется, если этому сообщению можно верить!

Воннел сжался в комочек и затаил дыхание.

Предложение не голосовалось. Как всегда, оно отражало общее мнение, и, как обычно, исполнять его нужно было немедленно. Воннел вышел, через секунду вернулся, а еще через какое-то короткое время заработали установки кондиционирования воздуха, которые, вероятно, в спешке не были выключены в ту ночь, когда выключалось электричество. Воздух сразу посвежел, но общая атмосфера от этого не стала лучше.

Арчибалд Крафт, взявшись слово, выразил надежду, что полиция и служба безопасности уже приведены в готовность. Кроме того, сказал Крафт, на всякий случай нужно дать соответствующее указание военному министру, чтобы и войска были готовы «сдержать лишнюю энергию неустойчивой части населения».

Приказ военному министру можно было отдать прямо из Круглого зала, воспользовавшись ожившим телефоном. Воннел включил динамик, и потому его разговор с военным министром транслировался с помощью усилителей для всех. Команда была дана, и члены Совета отчасти успокоились. Оставалась «проблема Дорона», она вновь вышла на первый план, и все посмотрели, как по команде, на генерала.

«Пора! — в ту же секунду подумал Дорон. — Ни в коем случае нельзя отдавать инициативу в чужие руки!» Приняв такое решение, он, однако, еще несколько мгновений молчал, медленно повернув голову в сторону Воннела, он даже слегка приоткрыл рот, но злополучный комок вдруг закупорил ему глотку. У Дорона теперь был только один настоящий враг на всем белом свете, но самый сильный и могущественный: он сам. И в борьбе со своей собственной нерешительностью и страхом он не мог рассчитывать ни на деньги, которые у него были, ни на верных людей, наемых убийц, шантаж и угрозы. Один на один. Дорон против Дорона. Ум против глупости. Страх против смелости. Уверенность против нерешительности...

Сознание генерала на какое-то мгновение помутилось. Он вдруг почувствовал, будто проваливается в бездну, как это бывает в кошмарном сне. Но тут раздались слова, произнесенные чьим-то размеренным и спокойным голосом:

— Господин министр, пригласите сюда президентов!

Дорон обвел присутствующих мутным взором. На лицах королей было откровенное недоумение, но взгляды их оказались прикованными к Дорону. «Это я сказал?!» — с ужасом и одновременно с чувством облегчения подумал Дорон.

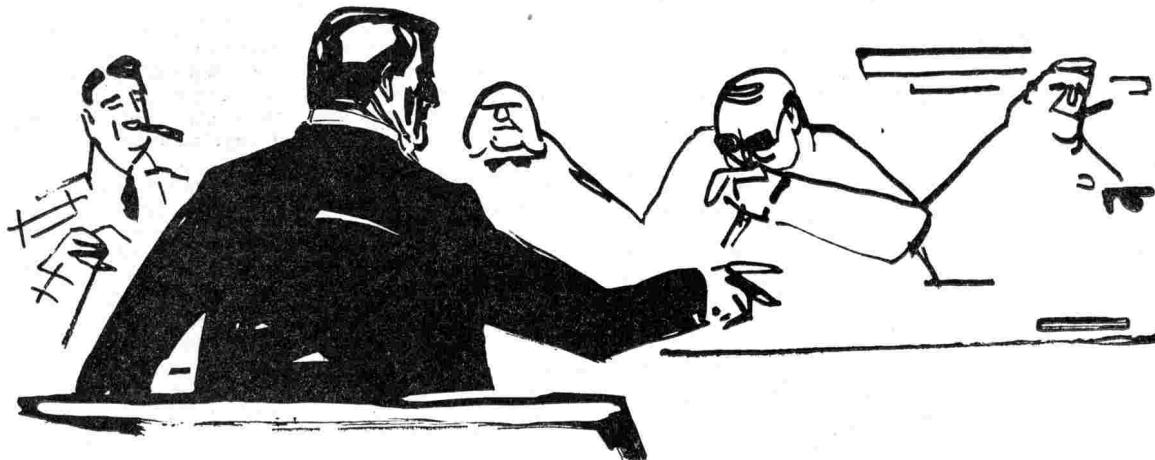
Воннел был растерян, но короли уже надели на себя каменные маски.

— Я должен повторить, господин министр? — четко произнес Дорон.

Воннел осторожно выскользнул за дверь. Несколько минут в зале стояла тишина, нарушающая лишь шипением кондиционных установок. Дорон позволил себе встать с кресла и медленно пройтись вдоль стола и обратно. При этом он заложил руки за спину, и каждый из королей получил возможность заметить его высоко поднятую голову. Наконец дверь открылась. Появился Воннел во главе невиданной процессии. Вошли пять президентов, пять совершенно одинаковых людей, имеющих каждый свое собственное выражение лица. Членам Совета могло показаться, что это ожили фотографии какого-то великого актера, демонстрирующего на страницах иллюстрированного журнала свои мимические способности.

Процессию торжественно замыкал Джекобс. Он был, как всегда, философически настроен, а потому выглядел не то сонным, не то мудрым.

Дорон тоже разглядывал лица президентов, чуть сощурив глаза. Потом неожиданно перевел взгляд на их одежду и еле сдержал улыбку. За истекшие сутки почтенные главы государства, предоставленные, видимо, сами себе, успели внести некоторые изменения в свои туалеты, соответствующие их вкусам и наклонностям. От этого зрелище сделалось еще более нелепым и невероятным.



Впереди шагал президент в узеньких не по возрасту джинсах и в легкомысленной спортивной курточке, на рукаве которой красовалось изображение ядовито-желтого продолговатого мяча. Следом шел президент, одетый в безукоризненную темно-синюю пару, ослепительно белую сорочку с тугой накрахмаленным воротничком и в галстуке бабочкой. Третий был одет во фланелевую рубаху без галстука и в простой твидовый пиджак — столь демократичный вид делал его похожим скорее на коммивояжера средней руки, нежели на президента могущественнейшего государства. Четвертый, взгляд которого был устремлен куда-то вверх, словно он молился, был облачен в строгую черную одежду, которая определенно гармонировала с изящными четкими слоновой кости, нервно перебираемыми сухими пальцами. Наконец, последний, пятый президент, опустив голову, семенил позади всех; у него была нетвердая походка; плохо отглаженный костюм и явно несвежая рубашка с помятым воротничком говорили о том, что он был самым неухоженным, либо о нем в суматохе забыли, либо он сам пожелал оказаться забытым.

Все пять президентов чинно уселись во главе стола, а чуть позади них примостился Джекобс. Его вид не выражал никакого желания выполнять приказы своих хозяев, а говорил скорее о простом любопытстве старого слуги.

Какое-то время никто не сделал ни одного движения, не произнес ни единого слова. Все ждали, что скажет Дорон, понимая, что скажет он что-то чрезвычайно важное.

Генерал встал. По привычке он на мгновение вытянулся, как на параде, но только на мгновение, чтобы затем принять вольную позу. Присутствующие оценили это обстоятельство как желание Дорона подчеркнуть, что отныне он не намерен вытягиваться в присутствии президентов и даже королей. На самом деле Дорон вновь потерял связь между реальным своим положением и тем, которое хотел занять. Он понимал, что неожиданно получил власть над всеми этими людьми, с которыми не мог поставить себя рядом даже в тайных мечтах. Играть с ними было опасно. Равносильно тому, чтобы забавляться атомной бомбой на складе водородных. Генерал не строил иллюзий. Он отлично понимал, что его миллионы — ничто в сравнении с их миллиардами. И если ему даже посчастливится продлить свою власть над ними, то это все равно будет власть для них.. Но, боже, много раз организуя смену прави-

тельств и перевороты в зависимых странах, Дорон, как ни странно, практически не знал, как это делается в натуре, с помощью каких слов и каких конкретных действий. Впрочем, подобное неведение скорее диктовалось не тем, что генерал не умел осуществлять перевороты, а тем, что он не был уверен в необходимости этого шага именно сейчас, в данный момент. Достаточно ли у него для этого оснований? Не слишком ли рискованно он действует? Может, лучше поискать какие-то более мягкие пути? А вдруг сейчас откроется дверь, войдут агенты Воннела и положат прямо на пол перед круглым столом связанного по рукам и ногам профессора Миллера? Что будет тогда? Акция Дорона немедленно превратится в мыльный пузырь, и спасения уже никакого не будет...

— Господа! — сказал Дорон, понимая, что молчать уже невозможно, но еще не зная, что будет говорить дальше.— Нам пора, господа, учитывая происходящие в стране события, наличие пятерых президентов, неизвестность местонахождения Миллера и общую критичность ситуации, принять соответствующие меры, для того чтобы по крайней мере стабилизировать власть и...

И вдруг раздался телефонный звонок. Как в хорошо отработанном сценарии. Прямо тут, в Круглом зале, звонил телефон. Это произошло впервые после той злополучной ночи при свечах, и почему-то все решили — все, кроме Дорона, — что звонок имеет прямое отношение к его речи. Между тем сам генерал мог воспользоваться телефонным звонком как передышкой для осмыслиения последующих своих слов, и никак иначе.

Дорон умолк. Джекобс, в обязанности которого всегда входило поднимать первым телефонные трубки, поднял ее и на этот раз. Полагая, что Дорон знает сценарий лучше остальных и между тем не возражает против вмешательства Джекобса, никто из присутствующих тоже не посмел возразить, в том числе и Воннел. Все еще включенные усилители донесли до присутствующих во много крат увеличенный голос Джекобса:

— Секретарь господина... — Джекобс запнулся, но, видимо, решив, что уже не выдает никаких государственных тайн, тут же поправился: — Секретарь господ президентов слушает!

— Срочно министра внутренних дел господина Воннела! — донесся чей-то взволнованный голос.

Дорон похолодел. «Вот оно,— подумал он.— Они нашли Миллера! Что делать? Что делать?!» Впору было бросаться вперед, хватать трубку и хоть на не-

сколько минут, хоть на секунды оттянуть обнародование страшной вести.

Но Воннел уже держал трубку в руке.

— Я слушаю!

— Господин министр, докладывает агент семьсот сорок восьмой. У меня срочное секретное сообщение...

— Говорите! — приказал министр.

— Только что обнаружен труп... — Агент вдруг закашлялся и сделал паузу. Члены Совета даже привстали со своих мест. Дорон весь напрягся.

— Чей труп?! — заорал Воннел. — Да прекратите дурацкий кашель! Чей труп, я спрашиваю?!

— Таратуры, господин министр! — сквозь кашель с трудом выговорил агент.

— Где?

— Район Строута. Двор меблированных комнат...

Вдруг раздались отбойные гудки — по всей вероятности, агент звонил из автомата, и ему помешали вести дальнейший разговор. Несколько раз произнесенное Воннелом «Алло!» было бессмысленным. Бросив трубку на рычаг, он почему-то сокрушенно произнес, ни к кому не обращаясь:

— Ускользнул!

— А Миллер? — воскликнул кто-то из членов Совета.

— Я не понял, господа, — произнес Воннел, — он сказал «труп» или «трупы»?

Все переглянулись и промолчали, но было заметно, что ангел надежды пролетел по залу, потому что лица членов Совета оживились.

— Трупы! — сказал вдруг Джекобс, научившийся в последнее время отдавать предпочтение множественному числу перед единственным.

На Дорона уже никто не обращал внимания. Генерал сел в кресло, закрыл глаза и представил себе собственное будущее настолько отчетливо, что, будь при нем какой-нибудь яд, он принял бы его непременно.

— Господа, — сказал президент, одетый в помятую рубашку, — нам хотелось бы определенности, и, очевидно, назрел вопрос...

И вновь раздался телефонный звонок. На этот раз Воннел опередил Джекобса и схватил трубку.

— Сейчас будет определенность! — быстро сказал Арчибальд Крафт.

Дорон продолжал сидеть с закрытыми глазами.

— Воннел слушает! — сказал министр.

— Отлично! — произнес чей-то голос. — Если вы тот Воннел, который является министром внутренних дел, немедленно передайте трубку генералу Дорону!

— Кто говорит? — спросил министр.

— Профессор Миллер!

У Воннела отвалилась челюсть. Члены Совета, как по команде, встали со своих мест. Дорон, двигаясь почему-то боком, приблизился к телефонному столику. Нервы его были на пределе. С трудом сохранивая контроль за своими движениями, он сомнамбулическим жестом взял трубку.

— Да, — сказал он тихо. — Я слушаю.

— Господин генерал, — сказал Миллер, — рад сообщить вам, что матрицы членов Совета подготовлены. Жду ваших дальнейших указаний!

— Что? — сказал Дорон.

— Я говорю, — повторил Миллер, — что вы можете объявить членам Совета о том, что я жду ваших указаний по поводу их дублирования.

— Так, — сказал Дорон, пытаясь сориентироваться в этой невероятно изменившейся обстановке. — Вы... там же? — Глупее вопроса он задать не мог.



Миллер откровенно расхохотался в трубку:

— Почти, генерал.

На присутствующих этот смех произвел гнетущее впечатление. «Ну, конечно,— решил каждый,— они в словоре! Это ясно, как божий день...»

Дорон тем временем уже взял себя в руки. «Вероятно, Гард сделал свое дело. Или Миллер открыл сам? В конце концов сейчас не это имеет значение. Важно то, что он предлагает мне сотрудничество, да еще в момент, как нельзя более подходящий...»

Крафт, опустив низко голову, кусал кончик платка, торчащего из нагрудного кармана. «Вот когда начал действовать их сценарий!— подумал он.— Не в тот раз, когда был непредвиденный звонок, а именно сейчас! Дорон опасен, как черти в аду!»

— Ну, генерал?— спросил Миллер.

В голосе Дорона появились властные нотки: он уже почувствовал способность на равных участвовать в игре.

— Профессор,— сказал Дорон,— если в течение часа от меня не поступит никаких указаний, приступайте к дублированию!

— Хорошо, генерал. И вот еще что. Полиция и армейские части пытаются разогнать митинги протеста. Это обостряет обстановку в стране и ведет к напрасным жертвам. Отдайте распоряжение о соблюдении властями конституции. Иначе я приступлю к дублированию немедленно. Вы поняли?

— Разумеется!— сказал Дорон и повесил трубку. Затем, сделав паузу, он обвел присутствующих торжествующим взглядом.— Воннел, будьте любезны выполнить распоряжение Миллера. Он прав. Незачем накалять обстановку, мы все решим полюбовно. Садитесь, господа!

Все сели. Воннел опрометью бросился выполнять приказ, Дорон же так и остался стоять у телефонного столика. Свободное пространство, которое теперь пролегало между ним и членами Совета, как бы подчеркивало существование создавшегося положения. По лицу генерала пробежала еле заметная улыбка. Он вновь принял沃尔ную позу, медленно полез в карман, медленно вытащил портсигар, неторопливо щелкнул зажигалкой и с откровенным наслаждением пустил облако сизого дыма.

— Мне кажется, господа,— произнес Дорон,— ситуация вполне созрела для выводов. Кто первый?

Первым был Крафт.

— Генерал совершенно прав,— сказал он.— Наш либерализм и игра в демократию привели к распылению власти. Необходимо противопоставить единую и твердую силу, и кандидатура генерала Дорона мне кажется подходящей.

Члены Совета промолчали. «Так вот как это происходит!— подумал вошедший на цыпочках Воннел. Звонит какой-то профессор, провозглашает диктатором генерала, и прежнее правление летит вверх тормашками! Ни выстрелов, ни крови, никакой резни... Да, перевороты в банановых республиках осуществляются куда эффектней!» Воннел отлично помнил один такой переворот, к которому и сам приложил руку, когда три человека в масках явились среди бела дня на заседание Совета министров, у всех на глазах спокойно застрелили премьера и двух его заместителей и тут же заняли вакантные должности. В первые минуты, управляя страной, они даже забыли снять маски...

— Ну что ж, господа,— сказал Дорон.— Если возражений нет, я думаю, нам прежде всего следует поблагодарить наших президентов за их труды. Господин министр, проводите их, пожалуйста!

Воннел вытянулся перед Дороном.

— Куда, господин... генерал?

— Что куда?

— Проводить?

— Куда хотите. Воннел, вы отвечаете за каждого головой, пока сами занимаете пост министра. Господа, приступим к первоочередным делам...

— Но их не пять!— воскликнул вдруг Воннел.— Их только четверо, господа!

Дорон резко повернул голову. Крайнее кресло, в котором только что сидел президент, перебирающий четки, было пусто. Впрочем, не совсем. На стуле лежали четки, а в кресле— жалкий комочек одежды, в которую только что был облачен президент. никто не заметил, когда он успел раздеться и куда вышел, и в зале началась паника.

И тут пропал второй президент! И вновь никто не заметил, как это случилось! Дорон почувствовал, как на его голове поднимаются волосы. Бред какой-то, типичное наваждение! Президента в спортивной курточке не было, но сама курточка лежала в кресле! И в этот момент Дорон, как и все присутствующие, увидел совершенно фантастическую картину: растворился третий президент! Он никуда не ушел, не бежал, не взвился под потолок и не провалился под пол. Он сделался прозрачным настолько, что сквозь него стала отчетливо видна спинка кресла; потом пропали его очертания, и, наконец, он беззвучно рассеялся, как эфирное облако, оставив в кресле бесформенную горку одежды.

Столь же тихо и деловито прекратил свое существование четвертый президент. Все ошеломленно смотрели на пятого, не в силах вымолвить ни единого слова. Лишь Джекобс философски заметил:

— Бог дал, бог взял...

Пятый президент, одетый в несвежую рубашку, судорожно вцепился в ручки кресла, словно надеялся с их помощью удержаться в этом обманчивом мире. Воннел еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь так буквально и так крепко держался за президентское кресло.

Внезапно тишину нарушил Джекобс.

— Кен,— сказал он президенту,— мы с вами опять одни?

Членов Совета словно пронзил электрический ток.

— Генерал,— прохрипел Крафт.— Объясните!

Дорон судорожно глотнул воздух.

Спасительно — о, как спасительно!— сзади прокрипела дверь. Оттуда высыпалась рука и сделала Воннелу энергичный знак. Как зачарованные, члены Совета уставились взглядами на эту кощунственную руку.

Воннел метнулся к двери.

Президент, ни на что не обращая внимания, лихорадочно щупывал себя. Со стороны могло показаться, что президента одолели блохи.

— Господа! — Лицо Воннела дергалось, когда он обернулся.— Некоторым образом... Осмелюсь сообщить...

— Ну?! — теряя самообладание, завопил Крафт, и члены Совета вскочили.

— К усадьбе движется колонна машин с демонстрантами!— выпалил Воннел.— Они близко!

— Кто допустил?!— Крафт сгреб ministra за отвороты пиджака.— Войска! Почему не стреляют?

— Это Дорон!— пискнул министр.— Он отдал приказ соблюдать конституцию!

— Господи, упокой его душу!— вздохнул Джекобс.



К НАШЕЙ
ВКЛАДНЕ

Е. Липинская

ГРАНИЦЫ И ГРАНИ

Мы сегодня все шире и полнее узнаем народное творчество и древнее искусство. Эти области давно перестали быть любовью и заботой одних только специалистов. Молодежь, особенно студентическая, пускается в дальние странствия на поклон памятникам древнего зодчества. Сходные увлечения — где раньше, где позже — охватили все наши республики, богатые народным наследием. А выставки приносят все новые открытия. Чего стоила одна лишь экспозиция деревянной скульптуры в Москве! Как раз на выставке деревянной скульптуры не однажды приходилось задавать себе вопрос: ремесло перед нами или искусство? Какой-нибудь очеловеченный и не менее выразительный, чем святые лики, деревянный лев. Или расписанный улей, где глаза и рот — летки, а целое — полуфигура с лицом, забавно испуганным или драматично-напряженным, живопись одареннейших самоучек. Понятно, откуда это идет; в истории ремесел я не собираюсь вдаваться. И все же это поражает.

В мастерской одного художника мне показали две вещи, в которых ремесло и искусство как бы помешались mestami. Одна — северная икона со смешанными курносыми богами, с цветиками и завитушками — решение в общем-то почти декоративное. Да и цвет выдает ремесленника: здесь буквально те же оранжевые, коричневатые и белые тона, что и на расписанных туесках из тех же мест. Другая — отпечаток старинной пряниной доски с изображением Сирина, птицы райской. И какой же это трепетный, дышащий Сирин! И обе вещи по-своему хороши.

Почутнейший результат нарушения «чеховых границ», хотя и в другом роде, можно было видеть сегодня на замечательной выставке «50 лет советской керамики и стекла» в Кускове. Как известно, в первое пятилетие Советской власти к работе в фарфоре были привлечены лучшие живописцы, графики, скульпторы тех лет. Задача перед ними встала новая, неслыханная: агитировать в фарфоре за лозунги эпохи, пропагандировать ее героев. И сам материал для многих был неизведанным. И что же? Перед нами произведения искусства, где сказалась не только высокая художественная культура, чувство цвета и формы, но и умение, по слову Пушкина, «давать мысли» материала, такие мысли, какие фарфору раньше и не снились.

Может быть, стоит еще раз вдуматься в этот урок? Опыт «агитфарфора» явственно говорит о том, что не только на пограничье науки (о чём сегодня знает каждый школьник), но и на пограничье искусств может вырастать значительное, интересное, новое и талантливое. Не слишком ли плотны у нас порой «межчеховые» стены? И не слишком ли рьяно ратуем мы за чистоту видов в искусстве, вида перед собой яркое явление, нарушающее привычные границы?

Проблема тут множество, и сложных проблем. Близительный успех в опыте «агитфарфора» определялся, видимо, умным и чутким выбором привлекаемых художников. Промахи все же бывали: например, такой большой скульптор, как Сара Лебедева, почти сразу поняла, что пластика фарфора чужда ее задачам. А вот Борис Кустодиев, глубокий и тонкий пониматель народного творчества, сразу же так почувствовал материал, такие создал статуэтки «Гармони-

ста» и «Плясуньи», как будто отроду ничем иным не занимался.

Почти правило: те, кто идет в прикладное с чувством и пониманием народного искусства, осваиваются там легко и дают много интересного, яркого.

Даже на примере декора одной только чашки на юбилейной выставке заметно, насколько свободно чувствовал себя в работе над фарфором наш удивительный сказочник Юрий Васнецов, чье искусство в детской книге тоже выросло из корней народных, — оно идет от вятской игрушки, от изделий «ярмарки Свищущих».

Да, как видно, дело именно в крепких корнях, от которых пошли все художественные ремесла, да и все искусства. Попытки стилизации под национальное в декоративно-прикладном искусстве не счесть, но если нет органичного продолжения народных традиций, нет естественного роста могучего старого дерева, все часто становится случайным, необязательным — словом, «не держится», как говорят художники.

Подтверждает это — по-разному и в разной степени — и опыт некоторых из тех керамистов, кому посвящает свою вкладку этот номер «Юности».

В развитии таланта бывают подчас неожиданные повороты. Открываются такие грани дарования, которых раньше ничто не предвещало.

В полотнах живописца Евгения Расторгуева ничто не позволяло заметить, что он во всей полноте и свежести хранит в воображении и памяти детские впечатления от сокровищ народного искусства в родном городе на Волге и его окрестностях. И только в керамике память о Городе сказалась с неожиданной силой. Именно тут в нем пробудился потомок народных фантазеров, умевших и прялку, и пряник, и наличники окна, и льва на воротах, и всякую игрушку ярмарочную сделать тонко, неожиданно, художественно. Расторгуев в своей керамике идет от народной деревянной скульптуры и от городецкой игрушки. Живописный подход в этих работах не только следствие его профессии живописца, — он присущ и городецким изделиям. От народных фантазеров пришел в его творчество и «напоенный сердцем взгляд», но это взгляд, обогащенный духовным миром современника. И небольшие фигуры и головы («маски») отмечены у него особой одухотворенностью. Это не совсем декоративно-прикладное искусство, хотя скромная по цвету роспись очень красива, декоративна. Опять «пограничье», подсказанное народным, — и снова несомненная удача.

В керамике Эстонии примером постоянного роста, неуклонного поиска может служить художница Эллинор Пийпу. Во всех своих работах она сочетает скульптурный подход с пониманием декоративного назначения вещи. Но какую большую дистанцию она прошла с конца пятидесятых годов, когда у нее подчас (хотя бы в девичьих головках на длинных шейках) находило цельности образа и намечалась салонный налёт! Позже ее работы очень цельны, особенно задумчивые «Овцы» (каменная крошка), где самим материалом и формой выражено, что эти животные — неотделимая часть природы. Многоюмора в ее «Доряке с коровой». Сила ее лучших вещей в том, что у автора углубилось понимание народного мировосприятия.

Едва ли не наибольше широко и вдумчиво осваиваются и перерабатываются для современного языка искусства традиции национального, народного в Литве. В Кускове среди работ одной из сильнейших керамисток, Альдоны Личкунте-Юсионене, привлекает внимание большая настенная фигура Перкунаса (это литовский языческий бог грозы, наш Перун). В лице его можно найти что-то от древних деревянных масок, угловатая фронтальность фигуры, ее пропорции тоже подсказаны народными традициями. Архитекторы вещи, ее «настенность» найдены очень точно, а современность звучания усиливается юмористической интонацией в изображении грозного божества.

Примеры были бы нетрудно умножить, черпая их едва ли не из любого вида искусства, из художественной жизни почти каждой республики. Какую, например, яркую и новую страницу открыло в Грузии возрождение и развитие древнего искусства чеканки! Все это говорит о неисчерпаемой силе, заключенной в народных творениях, о многообразных возможностях, которые и сегодня даются таланту, владеющему этим кладом.

У лучших произведений, создаваемых с настоящим проникновением в суть и дух народного творчества, при всем их разнообразии есть одно общее драгоценное качество. Их не смеет и краем коснуться холода наносной, надуманной моды. Их согревает изнутри пламя души народа, бессмертного языко-творца в искусстве.



Н и к о л о з Б а р а т а ш в иլ и



К 150-летию со дня рождения

В сентябре этого года вся наша страна отмечает 150-летие со дня рождения великого грузинского поэта Николоза Бараташвили. Романтик, тонкий лирик, поэт европейского масштаба, Бараташвили умер совсем молодым. Он оставил нам около 40 стихотворений. Ни одно из них не было напечатано при жизни поэта. Бараташвили — наиболее полный и яркий выразитель романтического течения грузинской поэзии. Затрагивая темы философского, исторического масштаба, он всегда смотрел в будущее.

Поэтическим кредитом Николоза Бараташвили является стихотворение «Мерани». Это «симфония единоборства личности с судьбой», как писал видный грузинский критик Л. Каландадзе. В стихотворении «действуют три силы, три образа: всадник, Мерани, ворон. Всадник — мятежная душа самого поэта. И все стихотворение — его обращение к Мерани. Мерани — бешено несущийся благородный конь,— образ, идущий из грузинской мифологии. Ворон же — черный вестник ужасов и смерти,— общепространенный символ рока».

Движение вперед, непримиримость — вот силы, которые могут рассеять мрак и привести к победе. «Мерани» — воплощение напористой и несгибаемой души народона.

щение непокорной и несгибаемой души человека.

Н. МИКАВА

Портрет работы Ладо Гудиашвили

Мерани

**Рассеки ветра, разорви дожди, мчись над скалами
и над кручей,
утоли мое нетерпение, время странствия сократи.
Мчись, крылатый мой, улетай-лети, под лучом
спеши и под тучей,
самого себя не жалей в пути, но и всадника
не щади!**

Пусть отчизны мне не видать вовек, пусть друзей
своих потеряю,
пусть родных лишусь и любимую не увижу пусть
никогда,—
там, где мрак ночной — там и дом родной;
только звездам я доверяю,
лишь они одни знают, что со мной, им —
и боль моя и беда.

Стон души больной, вздох любви былой —
все в безумный
бег прекрасный твой, да еще — в морской шум
бездумный!
Улетай вперед, ускоряй полет обреченный,
кинь ветрам скорей ты всю страсть моей думы
черной!

Пусть умру вдали от родной земли, средь родных
могил пусть не лягу,
пусть любимая не обмоет прах, не обронит
плач
скорбный свой!

Ворон чернокрыл мне могилу рыл, не полям
склонял, склонял.
мой тлен, так — оврагу,
только дикий вихрь вокруг костей моих заведет
в ночи смист и вой

Вместо милых слез — лишь холодных рос
на костях моих след печальный,
вместо слов родных — крик орлов степных,
отпевающих мертвеца.
Мчись, Мераны мой, скорбный всадник твой
мчит за грань судьбы изначальной,
говорю тебе, я не раб судьбе, и таков уж я —
до конца.

Пусть в свой смертный срок буду одинок волей
рока,
но его рука не раба — врага бьет жестоко!
Улетай вперед, ускоряй полет обреченный,
кинь ветрам скорей ты всю страсть моей думы
черной!

Обречен ли я — но душа моя дышит волею
не напрасной!
О, Мерани мой, твой смертельный путь вспомнит
кто-нибудь — и тогда
мой безвестный брат легче во сто крат повторит
твой бег, бег опасных,
и сквозь мрак судьбы вдоль твоей тропы конь
промчит его без труда!

Ты лети стрелой, наугад, сквозь мрак,
 мой Мерани!
Черный ворон злой предвещает крах градом
 брани.
Улетай вперед, ускоряй полет обреченный,
кинь ветрам скорей ты всю страсть моей думы
 черной.

Злобный дух

Злой дух, я ль звал тебя: приди и володей!
Зачем ты вторгся в жизнь мою, смутил мой
 разум?
Зачем покой ты мой унес, взамен страстей,
и с детской верою моей покончил разом?
Ты разве это обещал! Каких наград
ты не сулил! Я помню все твои вещанья.
Ты клялся в рай преобразить мой прежний ад —
так где ж они, твои былье обещанья?

Зачаровав всю силу помыслов моих,
смутьян отъявленный, когда мне все постыло,
куда ты спрятался и почему затих,
едва спросил тебя я: где ж твоя-то сила?
Будь проклят день, когда поверил я всему!
Отдав, что мог,— как был я слеп — на удивление!
Вот жажда вновь грозит и сердцу и уму,
но уж и страсти не дают ей утоленья!

Прочь от меня! Уйми свой злобный древний пыл.
Что я теперь: один, без веры и без цели...
Несчастен тот, кто на земле свободен был
да пальцы страшные твои его задели.

Одиночная душа

Да не сетует никто, что сирота!
Скудость рода эря клянут его уста.
Тяжелей осиротевшему в душе:
все потеряно — и след простыл уже.

Родич умер — похоронят мертвца,
позабудут средь живых черты лица.
Но когда душа теряет близнеца,
ей, как проклятой, терзаться до конца.

Боязлива, недоверчива, больна,
ну кому теперь откроется она?
Веры нет. И во второй раз потому
сокровенное не выдашь никому.

И прекрасный мир безрадостен и плох,
ибо памяти колодец не иссох.
Это — вечное мученье, видит бог,
в нем одно лишь облегченье — тяжкий вздох...

Моим друзьям

Друзья, не опускайте рук, как ныне, так и впредь,
пока любовь любой недуг способна одолеть,
пока юны, пока свежи, перед копьем судьбы
да не прольет никто слезы — не ради похвальбы!

Безжалостен поющий мир, но вы-то в нем — свои.
Пусть вас скигает ваш кумир — что юность без
любви!

Смешон старик, в свои года вспорхнувший
 мотыльком.
Но жалок юноша, когда глядит он стариком.
Нет, тот, кто ждет себе добра, тот знай
 наверняка,
что в жизни всякая пора по-своему сладка.
Тот глуп, кто в двадцать с небольшим, как
 мудрый дед живет,—
и так мы страсть в себе глушим, живя среди
 забот.
Когда же полдневные лучи заменят утро в срок,
то даже из безумств любви возникнет мудрый
 прок.
А в лживом мире он в цене. И не о том ли речь,
не собственный ли опыт мне велит предостеречь:
друзья, да не пошлет вам бог жестокую напасть,
да не застанет вас врасплох пустой кокетки
 власть!
Она и душу вмиг пленит и скажет все слова,
но что ее влюбленный вид! — душа ее мертва.

Раздумья на берегу Куры

Грустя, обычно ухожу к реке. Она чиста.
Ища покоя, нахожу знакомые места.
Обласкан мягкою травой, сижу вдали от всех.
Средь этой грусти вековой и погрустить не грех.
Чуть бормоча, Кура бежит, ее прозрачен ход.
В ее воде с утра дрожит прозрачный небосвод.
Облокотившись на траву, я превращаюсь в слух,
а взгляд уходит в синеву, где край небес потух.
Кура все видела сама: где истина, где ложь,—
она не то чтобы нема, а слов не разберешь...
Кура! Зачем, не знаю сам, прия на этот свет,
проверю ль я своим глазам: жизнь — суeta сует...
Да, жизнь — мгновенный тленный мир, неверный
 мир она.

Не бездна ль наша бытие — а в ней не съышешь
 дна!
Где тот, кто жил — всего достиг и, жизнью
 унесен,
довolen был бы в смертный миг, — где,
 спрашиваю, он??

Владыки, баловни побед, которым нет преград —
у них в руках весь белый свет, иным сам черт
 не брат!

Но где, Кура, во все века ты встретила царя,
который не роптал в душе, судьбу свою коря:
— Когда, когда же наконец господь пошлет
 войну
и заберу под свой венец еще одну страну!..
Но божьей воли долг срок, и царь, схватив
 копье,
чужой земли захватит впрок, чтоб завтра лечь
 в нее.

И даже лучший из владык — ему покоя нет:
достаточно ли он велик,
тот жить в словах грядущих книг,
в молве грядущих лет?

Но тщетно. Будь ты всех сильней и даже всех
 добрей,
когда однажды рухнет мир, кто вспомнит про
 царей!

И все-таки мы все одно: мы — люди на земле,
лишь нам судить ее дано в ее добре и зле
и сердцем знать и головой, что — яд ее, что —
 мед...

А жизнь не жизнь, когда живой уже при жизни
 мертв.

Перевел Ю. РЯШЕНЦЕВ.



Натан
Злотников



Октябрьским лесом утомлен,
Я засыпаю на поляне,
Единозвучие имен
Мне чудится как бы в тумане.
И понимаю, что люблю,
Хотя предмет любви двоится.
И смутным разумом ловлю
Те два лица, родные лица!
О, только бы он не исчез,
Их облик! Их родство живое
Под сенью леса и небес,
Под опадающей листвой.

Разбудит холод или грусть,
И удивлюсь я сну, как чуду.
И к дому позднему вернусь.
И ничего не позабуду.



Когда ты уезжала и когда
В твоих глазах дорога просветлела,
Когда над рябью низкого пруда
Ветла согнувшись резко проскрипела,
Когда на том, далеком берегу,
На отмели две лодки зачернели
Так явственно, как будто на снегу,
Когда я вдруг подумал: «Неужели...»
И стало невозможно отличить
Лицо твое за стеклами вагона
От прочих лиц, и тоненькая нить
Над рельсами гудела монотонно,
И где-то впереди уже возник
Неясный звук любви и постоянства,
Как будто нас соединивший миг
Разъять возможно силою пространства.



Еще не снился первый лед
Реке. Леса видны в ней четко.
Но, словно солнечная, плывет
И на берег выходит лодка.
И тонкий пересвист песка
Под мокрым днищем просмоленным
Напомнил вдруг: зима близка,
И мир стал бурым — не зеленым.
Дома заречной слободы,
Мостки, церквишки, огороды

Под взором полевой звезды
Притихли, как речные воды.
И на исходе летних дней,
Когда часы идут быстрее,
Мы дышим глубже и вольней
И видим дальше и острее.
Так далеко, что даже взгляд,
Робея перед этой далью,
Вдруг возвращается назад,
Наполнен светом и печалью.



Звезда горит средь бела дня
Прозрачно и светло,
Но зимний блеск ее огня
Далеко отнесло.
А солнце старое кружит,
Полог его полет,
И звонкая вода дрожит,
Страшась уйти под лед.
Идут без крика поезда
По насыпи крутой.
Построек дачных пестрота,
Убор лесов простой,
Спокойный говор старика
И долгий взгляд его
Туда, где озимь да река
И больше ничего...
Но, высока и холодна,
Всех чистотой дарит,
Полдневная, горит она,
Звезда моя горит!
Настанет ночь, вернется день,
А свет звезды дневной
В kraю неслыханных деревень
Продлится надо мной.
И холодна, как первый лед,
Все ищет средь полей
Меня, как бы ответный ждет
Сигнал души моей.



Легко оставил я стальцах
Для ремесла совсем иного,
Как будто первородный грех
Я совершил во имя слова.
Оно несет любовь и лад,
В нем мысли вечное теченье,
И в нем хранится, словно клад,
На дне — еще одно значенье.
И ради тайны роковой,
Быть может, тайны безответной
Жить, не рискуя головой,
Уже нельзя. Порой рассветной,
Когда еще молчит река
И птицы спят, я слышал звуки,
Идущие издалека,
Из будущего, из разлуки.



Деревянный Звенигород канет
В шум воскресный со всему щетой
И жена моя тихо устанет
И вздохнет перед горкой крутой.
Но уже после первого шага
В высоту вся усталость пройдет,
И останется радость и благо
От дарованных в детстве щедрот.
И колодец на полуподъеме,
И ступенек изменчивый ряд.
И светящийся в темном проеме —
Между небом и лестницей — сад.

В эту раннюю пору избытка
Суеты кровь замедлит свой бег.
Распахнется навстречу калитка.
За калиткою падает снег.
Птицы кружат над кромкой откоса.
И деревья от их голосов
Кружат медленно, словно колеса
В механизме огромных часов.
В этом сумеречном хороводе
Скрипнет ветка, куда-то летя,
День пройдет, оставляя в природе
Беспокойство за наше дитя.
И тревоговою нашей и силой
Мир проникнется до темноты —
И колодец под мерзлым настилом
И прозрачная дума воды.



Печально, друг, на этом полустанке.
Летает копоть. Снег лежит ничком.
И мальчик через рельсы тянет санки,
И шлая хрустит под плоским полозком.
Весь день у невысокой водокачки
Настил играет, звонок и дощат.
На нем, как на реке, хлопочут прачки,
Белье попошут, валиком стучат.
Но замкнутость налаженного быта
Спасительна. В ларьке всегда вино,
И свежий хлеб, и настежь дверь открыта.
А в бывшей церкви — танцы и кино.
Печально, друг, почувствовать: иною
Мы видим жизнь, чем знают ее тут.
Печально... Но за стрелкою входною
Под тепловозом дрогнул виадук.
Приблизился, надвинулся, промчался
Груженный новым лесом эшелон.
И страшно было видеть, как качался
Последний, замыкающий вагон.
И запах леса, выросшего где-то,
И запах леса, росшего окрест,
Уже сливались в воздухе нагретом,
Как рельсы, покидавшие разъезд.



Ничто не изменится все же.
Лишь стала земля холодна,
И двигался снег, как прохожий,
Вдоль окон и стен допоздна.
Я вышел из дома к воротам,
Где дети играли в снежки,
Солдат молодых полутора
Прошла, пронося вешмешки.
И тоненько девочка пела,
И белый лепила комок,
И взглядывала то и дело
В лицо мое, словно я мог
Один объяснить это чудо,
Холодную сладость зимы,
Возникшую ниоткуда,
Объявившую наши умы.
Но я все молчал, и живая
Снежинка летела ко мне.
И девочка, нас забывая,
Все пела, как будто во сне.



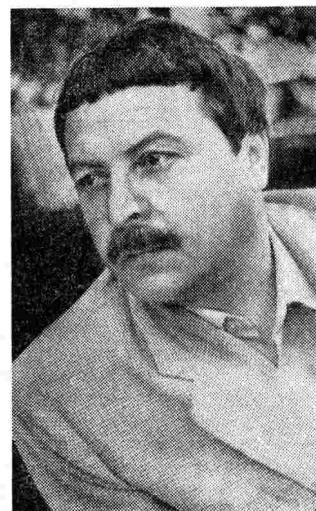
Забытый сад. Я холодею,
Когда отвесный лунный свет
Найдет заросшую аллею —
Уже минувшей жизни след.
И в это самое мгновенье,
Вдруг пропающая из тени,
Деревья вспомнят построенье,
В котором выросли они.

Неслышино шевельнулся кроны
И выравняются стволы,
И вскрикнут спящие вороны,
И рухнет снег, как кандалы.
И, обретая тайну сада
И геометрии простой,
Сверкнет под сенью снегопада
Деревьев серебристый строй.
Как будто чья-то мысль все эти
Была скрыта временем,
И вот сверкнула в лунном свете,
И мне природой отдана.



Все чаще, все легче, все чище
О времени думаю том,
Когда моим станет жилищем
Природы единственный дом.
А прежнее чувство протеста
Утихнет. И жизнь донесет
До самого дальнего места,
Откуда никто не спасет.

Юрий Левитанский



Из книги «Кинематограф»

Тревожное отступление

Ну, вот и вернулись твои журавли.
И ветер охоты подул на листы.
И пороховницы твои не пусты.
Ну, что же, прекрасно!
И ход твоих мыслей сегодня таков,
что можешь с богами соседствовать ты.
Да что там — с богами! Ты сам из богов!
Ну, что же, возможно.
А все же давай разберемся сперва —
с чего закружилась твоя голова?
Всего-то с того, что умеешь слова
писать на бумаге!
Что можешь придать им порядок такой,
чтоб строки стояли строка над строкой
и чтобы одна отвечала другой
своим окончанием!
Что вместо, к примеру, «весна» и «сосна»
ты нынче рифмуешь «весна» и «весла» —
и в этом ты зришь своего ремесла
прогресс несомненный,

как если бы рифма «весна» и «весла»
уменьшила в мире количество зла,
хотя б одного человека спасла
от пули, от петли!
А ты не подумал, сядься за стихи,
что, может быть, это и есть пустяки —
умение писать на бумаге стихи,
стихи на бумаге!
И разве тебе не казалось порой,
что ты занимаешься детской игрой,
в бирюльки играешь во время чумы,
во время пожара?
Что все эти рифмы — безделица, вздор,
бубенчики на шутовском колпаке,
мальчишки, бегущие с криками вдоль
рядов похоронных!
Ну, что ж, опровергни, отбось, отмети
все знаки вопроса один за другим,
предай осмеянию, сотри в порошок,
чтоб камня на камне...
А все же ты должен пройти этот круг
сомнений, неверья, опущенных рук,
пускай не сегодня, не сразу, не вдруг,
а все же, а все же...

Как показать зиму

...но вот зима,
и чтобы ясно было,
что происходит действие зимой,
я покажу, как женщина купила
на рынке елку и несет домой,
и вздрагивает елочкино тело
у женщины над худеньким плечом.
Но женщина тут, впрочем, ни при чем.
Здесь речь о елке. В ней-то все и дело.
Итак, я покажу сперва балкон,
где мы увидим елочку стоящей
как бы в преддверье жизни предстоящей,
всю в ожиданье близких перемен.
Затем я покажу ее в один
из вечеров рождественской недели,
всю в блеске мишур и канители,
как бы в полете всю, и при свечах.
И, наконец, я покажу вам двор,
где мы увидим елочку лежащей
среди метели, медленно кружащей
в глухом прямоугольнике двора.
Бездонный двор и елка на снегу
точней, чем календарь, нам обозначат,
что минул год, что следующий начат.
Что за нелепой разной кутерьмой
ах, боже мой, как время пролетело!
Что день хоть и длинней, да холодней.
Что женщина...
Но речь тут не о ней.
Здесь речь о елке.
В ней-то все и дело.

Взаимосвязи

Слепому гневу солнечной короны
послушны наши ливни и ветра.
А к ливню ломит кости у вороны,
и потому орет она с утра.
Все бабочки, кузнички и мухи,
гиена, антилопа или тур
испытывают дьявольские муки
от разницы дневных температур.
Но странно, что и мы, цари природы,

твореныя совершенные богов,
зависим от превратностей погоды
не меньше мух, жуков и пауков.
Что столбик атмосферного давления
таранит наши мощные тела
и действуют небесные явления
на наши повседневные дела.
И мы следим за сменой ненастий,
морозов, снегопадов и дождей
не меньше, чем за сменами династий,
парламентов, правительства и вождей.
Как странно знать, что в некий день
весенний
на части разрываются сердца
из-за каких-то слабых сотрясений,
случившихся в созвездии Стрельца!
Что я могу испытывать страданье
и жизнь моя мне кажется пуста
лишь оттого, что где-то в мирозданье
погасла безымянная звезда.
И что моя окончится дорога,
внезапно оборвавшись оттого,
что где-нибудь в созвездье Козерога
небесное распалось вещество.

Как показать весну

Я так хочу изобразить весну.
Окно открою и воды плесну
на мутное стекло, на подоконник.
А впрочем, нет, подробности потом.
Я покажу сначала некий дом
и множество закрытых еще окон.
Потом из них я выберу одно
и покажу одно это окно,
но крупно, так что вата между рам,
показанная тоже крупным планом,
подобна будет снегу и горам,
что смутно проступают за туманом.
Но тут я на стекло плесну воды,
и женщина взойдет на подоконник,
и станет мокрой тряпкой мыть стекло,
и станет проступать за ним сама
и вся в нем, как на снимке, проявляться.
И станут в мокрой раме появляться
ее косынка и ее лицо,
крутя грудь, округлое бедро,
колени, икры,
наконец, ведро
у голых ее ног засеребрится.
Но тут уж время рамам отвориться,
и стекла на мгновенье отразят
деревья, облака и дом напротив,
где тоже моет женщина окно.
И тут мы вдруг увидим не одно,
а сотни раскрывающихся окон,
и женских лиц, и оголенных рук,
вершащих на стекле прощальный круг.
И мы увидим город чистых стекол.
Светлейший, он высоких ждет гостей.
Он ждет прибытия гости высочайшей.
Он напряженно жаждет новостей,
благих вестей и пиршественной влаги.
И мы увидим — ветви еще наги,
но на окне, в кувшин водружены,
они стоят, как маленькие флаги
той дружеской высокой стороны.
И все это — как замерший перрон,
где караул построился для встречи,
и трубы уже вскинуты на плечи,
и вот сейчас, вот-вот уже, вот-вот...



Дорогой наш Человек, дорогой наш Учитель!

Каждый из нас — и тот, кто еще сидит за школьной партой, и тот, кто уже вступил в самостоятельную, взрослую жизнь, — год от года все с большей теплотой и благодарностью думает о Вас. О Вас — математике, естественнике, словеснике, историоне, научившем нас читать и писать, размышлять о жизни и находить себя в жизни, в большом и прекрасном пути, по которому вот уже полвека идет наша Родина.

Говоря об учителе, о его самой благородной, самой благодарной и, быть может, самой трудной миссии на земле, мы всегда говорим о Человеке с большой буквы, Человеке кристальной чистоты, доброты и мужества, о Человеке, который заботится о каждом из нас, проводит бессонные ночи над конспектами будущих уроков и нашими тетрадями, стоит у истоков наших призваний, нашей мечты.

Все мы, ваши нынешние и бывшие ученики, счастливы, что Ваша работа отмечена высшей наградой Советской страны. В июле этого года, в дни, когда проходил первый Всесоюзный съезд учителей, пятьдесят девять педагогов из разных концов нашей Родины удостоены звания Героя Социалистического Труда. Горячо поздравляем героев от миллионов учеников.

Сейчас, прежде чем познакомить читателей «Юности» с одним из героев-учителей, Василием Александровичем Сухомлинским, директором Павловской школы, что на Украине, мы позволим себе привести несколько важных цифр, которые вряд ли нуждаются в комментариях: каждый пятый педагог в нашей стране молод, среди сегодняшних учителей почти полмиллиона комсомольцев; ежегодно в городские и сельские школы приходят юные выпускники-педагоги из 40 университетов, 195 педагогических институтов и почти из трехсот педагогических училищ... Приходят, чтобы продолжать дело своих учителей, ввести в жизнь новые поколения, тех, кому предстоит не только строить коммунизм, но и жить при коммунизме.

Спасибо Вам, Учитель! Спасибо, дорогой наш Человек!..

В. СУХОМЛИНСКИЙ,

член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, заслуженный учитель школы УССР, Герой Социалистического Труда

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВЕРА

В старом, известном на всю Украину приднепровском селе жил хороший, трудолюбивый колхозник. У него были большой каменный дом за каменным забором, каменный сарай и каменный погреб, выложенная камнем дорожка в яблоневом саду. Даже будка для собаки каменная, а кличка собаки такая: Гранит.

У колхозника — единственный сын. И вот когда мальчишка учился еще в шестом классе, попросили отец с матерью в колхозе участок земли и стали сопрощать для сына дом. Каменный дом с каменным забором, каменный сарай и т. д. Удивлялись односельчане, спрашивали у колхозника: зачем так рано заботиться об отделении сына? Зачем вообще строить

ему дом, ведь вы с женой в преклонном возрасте, а сын-то у вас единственный? Отвечал заботливый отец: у каждого должно быть свое хозяйство...

Учился сын туговато, не любил засиживаться над книгой. В тот день, когда был сдан последний экзамен, собрал все учебники и положил на чердак. Вздохнул с облегчением, спрятал аттестат о среднем образовании на дно материнской скрыни и сразу же пошел на работу в колхоз. Пришло время — пошел

На снимке: Василий Александрович Сухомлинский среди учеников.

служить в армию, а в селе ждал его каменный дом с забытыми окнами. Отслужил, возвратился домой. Собрался жениться, но произошло несчастье: умер отец, а через два месяца слегла в постель и умерла мать. Остался сын один-единственный, стал неожиданным владельцем двух каменных домов. В одном живет он с женой, а в другом поселил дальнюю родственницу, живую, бойкую старушку. Старушка оберегает сад и торгует на рынке яблоками. Подрастает у сына маленький сынок, скоро в школу пойдет.

Я часто бываю в этом хорошем приднепровском селе. Спрашиваю у председателя колхоза: как живет, как трудится хозяин двух каменных домов за каменными заборами, двух каменных сараев, двух каменных будок для собак? Председатель задумчиво качает головой и говорит:

— Страшный человек. Пусть у соседа сгорит дом дотла, пусть все поумирают вокруг, пусть Днепр исчезнет—он даже посмотреть не выйдет из своей каменной клетки. Недавно собирали подарки детям Вьетнама. Трудно было собирать: каждый колхозникнес так много вещей, что для отправки всего понадобился бы не один вагон. А когда у того «каменного» спросили, что же он подарит, он ответил: «Без надобности мне он, ваш Вьетнам, жил и проживу без него».

Помолчав, председатель обращается ко мне:

— Вы педагог, знаете человеческую душу... Скажите, почему в нашем обществе есть такие люди? Что их порождает? Ведь что вызывает тревогу: таких, как этот нелюд (к нему в дом никто не ходит, и он ни к кому), не стало меньше, чем было, скажем, десять лет назад. Я знаю у себя в колхозе таких человек семь. Коммунизм не за горами, а у нас благоденствуют люди с каменной душой... Разве можно быть спокойным?

Да, спокойным быть нельзя. Я тридцать три года работаю в школе, и тридцать три года мне не дает покоя мысль: как создать человека с богатой, щедрой, благородной душой, готового отдать свои богатства людям?

Человеческая душа. Я вдумываюсь в эти слова, и вижу тучное поле, на котором надо вырастить пшеничный колос. Не будешь выращивать колоса, не будешь вспахивать почву и орошать ее пытлом, оплодотворять заботами и тревогами,—поле будет пустым, а на пустыре вырастет чертополох.

Душа не может жить без святыни. Что-то для человека становится дорогим и незыблевым, неискоренимым и неистребимым. Сущность коммунистического воспитания и заключается, по моему твердому убеждению, в том, чтобы в каждом человеческом сердце утверждать истинно человеческую святыню,

чтобы полнозерным пшеничным колосом на тучном поле стал наш коммунистический идеал счастья.

Альфой и омегой моей педагогической веры является глубокая вера в то, что человек таков, каково его представление о счастье. Если же мне, воспитателю,—а воспитатель является творцом, созидателем человеческой души, пахарем и сеятелем,—если мне не удалось посеять истинно человеческие, то есть коммунистические, семена счастья, в душе может утвердиться иная святыня, и тогда идолом, богом может стать каменная будка для цепного пса, благополучие «тепленького местечка».

Мы часто говорим и читаем: счастливое детство. Вдумаемся, что это такое и чем оно должно быть, счастливое детство, если ни на минуту не забывать, что наше опоздание хотя бы на один день со вспашкой и посевом на поле человеческой души угрожает появлением ростка чертополоха или первого кирпича будущей каменной будки для цепной собаки. Обычно в понятие «счастливое детство» вкладывается все то, что дается детям: безмятежное времяпрепровождение, отдых в пионерском лагере после занятий (иногда это отдых после безделья), чудесные дворцы и парки и т. д.

Я твердо убежден, что если поле человеческой души питается только этими соками, то подлинного счастья человек никогда по-настоящему не познает и в сердце его никогда не войдет высокий человеческий, то есть коммунистический, идеал. Подлинно коммунистическое воспитание—это прежде всего забота о настоящем человеческом счастье, то есть о жизни во имя идеи, идеала. Да, может быть, кому-то из педагогов это покажется чересчур преждевременным—говорить о жизни ребенка во имя идеи, но я готов спорить, что это именно так. То, что ребенок, подросток, юноша получает из всенародной сокровищницы благ,—это, по существу, плоды всенародного счастья, которые он—ребенок, подросток, юноша—ссыпает в нашем саду, заботливо и многотрудно выращенном старшими поколениями. Это о счастье детства и отечества—в том, чтобы у человека (а ребенок не будущий человек, но человек уже сего дня) была богатая идеальная жизнь.

Что же такое идеальная жизнь в детстве, отечестве и ранней юности? Воспитание превратилось бы в карикатуру, если бы мы заставили ребенка заучивать формулировки коммунистических идей. Коммунистическое—это подлинно человеческое, это вершина человеческого. Свою заботу о богатстве идеальной жизни детства, отечества и ранней юности я вижу в том, чтобы перед сознанием и сердцем ребенка раскрывалась высшая человеческая красота, чтобы дет-

М. Шур

В ШКОЛЕ У СУХОМЛИНСКОГО

Село Павлыш глядит с курганов на Днепр, клубится над ним небо в золотом пекле. На зеленом холме—шесть или семь краснокаменных призматических строений добротной кладки—была земская школа, и ней пристроили вдвое больше того, что было. Рядом в том же стиле выложили из кирпича крепкий дом, да в глубине усадьбы еще один, и еще... Классы, мастерские,

кабинеты, лаборатории, библиотека—целый городок. Стриженый кустарник, деревья, виноград по фасадам; зеленая беседка-читальня, а там сад раскинулся, а там светятся теплицы...

Несколько зданий—неугадаешь, какие именно—построили сами учителя и ученики по собственному проекту. Меж каменными столбами ограды—затейливые железобетонные решетки. Ну, это

уж, наверно, раздобыли на заводе сборных конструкций? Нет, сажи ребята на школьном полигоне вяжут арматуру, замешивают бетон, ладят формы.

Загляните в мастерские: токарные станки и целые агрегаты ребячьей конструкции и выточки. Побуйтесь автомобилем собственной сборки, машиной, управляемой по радио... Подарок малышам—электротабличка умноже-

ское сердце одухотворялось этой красотой, чтобы человеку, перед которым открывается мир, хотелось быть прекрасным.

У Маркса есть мысль, очень важная для определения идеала воспитания. Коммунистические идеи, писал он, должны превратиться в узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца. Я вижу первую задачу воспитания в том, чтобы в жизни ребенка, особенно в жизни подростка и юноши, чувствование и понимание высшей человеческой красоты — труда и борьбы на благо общества, народа, Отечества, — чтобы чувствование и понимание этого уходило своими корнями в глубины сердца.

Детство — каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало прежде всего познанием человека и Отечества. Чтобы в детский ум и сердце входила красота настоящего человека, величие и ни с чем не сравнимая красота Отечества. Я заботуюсь о том, чтобы, познавая человека, каждый переживал изумление, потрясение, радость, трепет сердца и решимость отстаивать святыни Отечества. Я добиваюсь того, чтобы образ настоящего человека, мысль о нем, душевный порыв были для моего питомца родным, незыблым, ни с чем не сравнимым.

Не один питомец прошел через мою жизнь, похожий на того сына, из которого вышел нелюд. Они стали бы мещанами и стяжателями, людьми с каменными будками для цепных псов и с каменными сердцами, если бы не удалось утвердить в их сердцах мысль о настоящем человеке и стремление к идеалу.

На всю жизнь остался в моем сердце черноглазый Коля. Его, десятилетнего мальчика, отец заставлял спускать с цепи злого пса на детей, которым хотелось сорвать в саду грозды винограда, предназначеннего на продажу. Сколько раз я испытывал горечь разочарования, и все-таки мне удалось добиться того, что Коля понял человеческую красоту. Он прочитал книгу о большевике Камо (Тер-Петросяне), прочитал, не переводя дыхания, от сумерек до рассвета, и на рассвете пришел ко мне, и я услышал от него взволнованные слова: «Разве можно жить на свете так, как живет мой отец?»

За одну ночь в человеческой душе произошло то, что в других случаях может произойти в течение длительного времени. Коля хотел убежать из дома, и мне с трудом удалось убедить мальчика, что можно обойтись и без этого. Тогда Коля ушел из дома к своему другу — пионеру-однокласснику. Две недели его упрашивал отец вернуться домой. Он вернулся, но жил не по мещанским и домостроевским правилам, а по правилам пионерским, коммунистическим.

ния: нажми правильно нужное число — и загорится огонек одобрения. А вот электронное пособие по иностранному языку. Я не устаю переспрашивать: сами ребята сделали? Сами, сами!

В этой школе труд слился с поэзией и, если хотите, с философией. Дельный труд, содержательный и вдохновенный. Здесь детям не проповедуют, что НАДО любить труд. Здесь их увлекают жаждой творчества.

Директор школы Василий Александрович Сухомлинский нагрузил меня книгами. Это были его книги, щедро раскрывающие «секреты» педагогики. Первый из них: уважайте ученика, дорожите его честью. Второй: учите мыслить, а не поглощать сведения. Третий: откройте всю неоглядную ширь бытия, совершенствуйтесь сами,

знайте вдвое больше того, что нужно для урока. И еще: будьте не просто кладезем знаний, будьте учителям жизни...

Выдержка — как нужна она педагогу! Сумейте найти такой нетривиальный способ воздействия, такой убедительный ход, чтобы с неожиданной стороны показать провинившемуся его неправоту. Павловские педагоги вот уже сколько лет обходятся без классных конфликтов, без слез молодых учительниц, без скандальных приводов к директору...

Как-то при мне Василий Александрович подошел к мальчишкам, пристроившимся в библиотечной беседке. Были каникулы, стояла жара, ребята прибежали босиком, один даже голый по пояс, загорелый. Его-то директор и представил мне: «Знаете, откуда он и

нам приехал? Из Мирного, из Якутии!»

Мальчика, потерявшего родных, довели до колонии, но ответственный человек, решавший его судьбу, рассудил так, как в свое время высказывался об этом Сухомлинский: «Никакое воспитательное учреждение, каким бы оно идеальным ни было, не может хранить моральные ценности и богатства народа так бережно, воплощать их в человеческих отношениях так глубоко, как семья». Состоялся, так сказать, трансконтинентальный педагогический контакт. Павлович дал «добро» Мирному, и мальчуган прилетел в Павлович. Его взяли в свою семью добрые, одинокие старики, он оттаял, оказался добрым и поверил: может, и в самом деле это его родные дед и бабушка?

старой хаты. Я рассказываю детям о большом горе: дети этой женщины пали на фронте, братья и сестры умерли. Мы здороваемся с ней и украдкой смотрим ей в глаза. Дети потрясены. Столы глубокого и безысходного страдания они никогда еще не видели.

«Помните, дети,— говорю я,— что у старой женщины четыре сына были храбрыми солдатами, один за другим они пали героической смертью».

Я вижу: у детей моих как бы открываются глаза на мир. Их глаза становятся большими и чуткими к тому, что происходит в окружающем мире. Ночью мы выкапываем куст цветущей розы — приносим ее с землей и сажаем у самой хаты старой женщины.

Как важно, чтобы уже в детские годы человек принял близко к сердцу чужую человеческую жизнь, чтобы величие подвига и горя потрясло его, открыло в его сердце те сокровенные уголки, где возникают узы, навеки связывающие человека с идеей, с подвигом и самопожертвованием. Познать по-настоящему человека — это значит познать мир, потому что «каждый человек — это мир, который с ним рождается и с ним умирает» (Генрих Гейне).

Я твердо убежден, что лишь сердце, способное откликнуться на такие тонкие движения души, открыто возвышенным идеям, только в таком сердце живет любовь к добру и красоте во всех ее проявлениях, непримиримость к злу. Еще и еще раз повторяю: богатая идеяная жизнь немыслима без познания человека; путешествие к человеку — это та передача юным сердцам моральных богатств, добытых старшими поколениями, без которой не может быть коммунистического воспитания.

Одной из истин моей педагогической веры является безграницовая вера в воспитательную силу книги. Школа — это прежде всего книга. Воспитание — прежде всего слово, книга и живые человеческие отношения. К сожалению, книга еще не заняла надлежащего места в воспитании и особенно в самовоспитании детей и юношества. Во многих школах нет умного подбора книг для идеального самовоспитания, а если они и есть, то зачастую стоят на библиотечных полках, как спящие великаны. Мы в своем педагогическом коллективе стремимся к тому, чтобы в школе были все хорошие книги о жизни и борьбе людей, которые являются образцом, путеводной звездой для молодого поколения.

Книга — это могучее орудие, без нее я был бы немым или косноязычным; я не мог бы сказать юному сердцу и сотовой доли того, что ему надо сказать и что я говорю. Умная, вдохновенная книга нередко решает судьбу человека.

Я считаю бесценной сокровищницей книги о жизни

и борьбе таких людей, как Александр Ульянов и Николай Кибальчик, Дзержинский и Свердлов, Камо и Сергей Лазо, Бабушкин и Юлиус Фучик, Николай Островский и Муса Джалиль, Зоя Космодемьянская и Александр Матросов, Карл Маркс и Владимир Ильин Ленин. Чтение книги о человеке, жизнь которого является образцом, идеалом, — это не только один из этапов познания человека, это важнейший момент самовоспитания. Мы считали бы воспитание неполноценным, если бы в годы отрочества и ранней юности каждый человек не был одухотворен удивительной книгой об удивительной человеческой судьбе, если бы не просидел ночь над этой книгой, встретив рассвет в раздумьях о самом себе, в первой попытке ответить на вопрос: кто я и где мой корень, зачем я живу на свете, что я сделал для своего Отечества и что должен сделать?

Прочитав книгу о настоящем человеке, юный питомец берет в руки мерку, с помощью которой измеряет сам себя. С момента встречи со своей книгой к юному гражданину приходит зрелость мыслей и убеждений, расширяется его горизонт. Он видит себя гражданином своего Отечества, сыном своего народа.

Вот здесь-то и наступает тот период духовного развития, когда от воспитателя в огромной мере зависит, каким станет его питомец. Одухотворенный гражданским видением мира, человек хочет в чем-то прозреть и оставить самого себя, в чем-то увидеть свои силы, свой труд и мудрость, свое творчество.

В связи с этим приобретает большое значение духовный, моральный смысл того, что делают руки. Важным для моей педагогической веры является глубокое убеждение, что настоящеое педагогическое мастерство начинается там, где нашему питомцу хочется стать хорошим; желание же это утверждается лишь тогда, когда человек в чем-то созданном собственными руками и разумом видит самого себя, гордится собой, переживает ни с чем не сравнимое чувство достоинства творца, созидателя. Отсюда идет начало человеческой неповторимости, его индивидуальности. В переживании гордости творца — источник непримиримости к порокам, рождающим зло: лени, нерадивости, безделью, безразличному отношению к самому себе и к тому, что сделано собственными руками.

Важнейшей сферой духовной жизни моих питомцев является труд. С малых лет наши питомцы трудятся во имя того, чтобы социалистическое Отечество становилось богаче и могущественнее.

Чувствование Отечества — чувствование сердцем, всеми силами души — уходит корнями в раннее дет-

— Что ты сегодня делал? — спросил директор.

— Купался, играл, с дедом рыбку ловил, дрова пилили, воду носили... Теперь вот книжки вязл.

— Ну, молодец!

...Мы подолгу беседовали с Сухомлинским на разные темы педагогики, и о любви тоже. Очень существенную мыслью поделился тогда со мной Василий Александрович: в павловской школе не говорят на комсомольских собраниях о любви — из уважения к этому высокому чувству, из благоговения. А разве мало мы знаем о любви — из повестной дня: первое — сбор металлом, второе — любовь (*«Сказки нам прямые, Маша, что у вас было?»*). Педагогика Сухомлинского строго берегет первое чувство и столь

легкоранимое достоинство подростка.

Потом директор сказал мне: «У нас, если хотите, культ женщины — одна из основ воспитания...» В тихом уголке школьного сада есть Сад матери. Каждый класс, каждое новое поколение сажает там яблоню. Ежегодно в День матери дети несут мамам яблоки из этого сада. «Чтоб было святое на душах!» И добавил: «Никогда наши женщины, учительницы, не ходят на воскресники и субботники, мы берем их долю на себя...»

Есть еще один культ в павловской школе — культ книги. Недаром растут в селе семейные библиотеки, и не случайно пошел по деревне и по району новый обычай — книжное приданое! Жениху и невесте дарят книги. Каж-

дый год школа устраивает День книги: настоящий праздник, в котором участвуют и старые и малые.

И еще нечто новое: все лето ходят в школу малыши, которым осенью в первый класс, постоянно действует дошкольный сектор павловской педагогики. Этим малышам открывается волшебная премудрость алфавита, для них в школе Комната сказок, для них и кукольный театр.

...Вдебавон к охапке своих книжек дал мне Василий Александрович почтить четыре рукописных тома ребячих сказок. Трогательные эти сочинения любовно оформлены и искусно переплетены. Не отрываясь, читал я это удивительное собрание наивных фантазий, серьезных и шутливых, поэтических и глубокомысленных.

ство. Патриотические мысли в годы ранней юности становятся важнейшим духовным богатством человека при том условии, когда юноша, оглядываясь на свой пока еще небольшой пройденный путь, уже имеет моральное право сказать: это я сделал для людей своими руками. Это мой труд в гектаре тучной нивы на том месте, где была бесплодная глина. Это благодаря моему труду умирающая река снова открыла свои родники, потому что мы одели ее берега в зеленый наряд.

Труд, созидание, творчество — понятия многогранные. Человек оставляет себя не только в материальных ценностях, но и в слове, в художественном образе, в другом человеке. Одну из самых тонких граней воспитания я вижу в том, чтобы в годы школьного обучения каждый человек оставлял свою мысль, творческие способности, игру своих внутренних духовных сил в слове. Это тоже настолько широкая и сложная проблема духовной жизни человека, что для полного раскрытия ее нужна большая книга.

Творчество словом — это сторона воспитательной работы, которая в нашем коллективе считается одной из самых важных. Составляя сказки, рассказы, создавая словесный образ того, что человек видит, выражая словом движения своей души, человек не просто упражняется в словесном творчестве. Он выявляет свой интеллектуальный мир, утверждает свое достоинство.

Непоколебимая истина моей педагогической веры заключается в том, что по-настоящему воспитываетя лишь тот, кто воспитывает другого человека. Мы заботимся о таких коллективистских взаимоотношениях, при которых бы каждый подросток вкладывал свои силы в воспитание младшего товарища, утверждая в нем лучшие нравственные черты, развивая в нем способности, наклонности, талант.

Мы стоим на пороге осуществления всеобщего среднего образования. Как заставить каждого учиться усердно, как приобщить юношу к богатствам духовной культуры? Эти вопросы волнуют сейчас и учителей, и родителей, и общественность. Я твердо убежден, что надо думать прежде всего о прочной духовно-психологической основе учения. Знания, образованность, книга — все это должно стать для человека духовной потребностью на всю жизнь. Пребывание в стенах школы должно быть не завершением, а лишь началом всестороннего образования, интеллектуального и эстетического совершенствования человека в течение всей его жизни.

Что же является краеугольными камнями этой духовно-психологической основы школы? Идейная жизнь, гражданские убеждения и стремления, чувст-

во гражданского достоинства, человеческая гордость от сознания того, что я не безвестная пылинка, не слабая былинка, а сильная ветвь на могучем дереве, имя которому — Отечество. Духовная, моральная зрелость — это огонек, от которого зажигается порох усердия и прилежания; это свет, при котором перед человеком открывается красота богатой, полноценной жизни, красота познания, красота труда для Отечества, труда пахаря и строителя, инженера и философа, музыканта и астронома.

Со дня основания я читаю журнал «Юность» от корки до корки. Меня радует, что и в «Юности» и в других молодежных журналах и в газетах, особенно в «Комсомольской правде», много хороших, умных статей о воспитании детей и юношества. Но вот что огорчает: несмотря на эти умные статьи и правильные педагогические размышления, еще нередко слышишь от того или иного обывателя о том, что юное поколение нынче не то, что много, мол, развелось пьяницами, подонками и хулиганами и что пора их «скрутить в бараний рог», применить более строгие меры наказания, и все будет хорошо...

Верно, бывают у нас еще и пьяницы и хулиганы, можно встретить, к сожалению, и подонка, но давайте, как писал Ф. М. Достоевский, войдем в зал суда с мыслью о том, что и мы виноваты. Где же они бегутся, эти подонки 1950, 1951, 1952 годов рождения? И что с ними делать, куда с ними податься, на Луну отправить, что ли? Как бороться с этими тревожными явлениями: пьянством, хулиганством, цинизмом отдельных наших юношей и девушек?

Я не верю в спасительную силу наказаний, в «закручивание гаек». Да, скальпель необходим, но необходим он тогда, когда есть гнойник. Я не верю в то, что уберечь молодежь от водки можно регламентацией: продавать водку разрешается с такого-то и по такой-то час. Эти меры кажутся мне наивной детской игрой. Они порождают еще большее тяготение к водке у тех, кто жаждет выпить.

Я верю в могучую силу коммунистического воспитания. Верю в то, что детей и юношество можно воспитывать так, чтобы надобности в наказаниях вообще не было. Верю в то, что бутылка водки будет стоять в шкафу много месяцев и молодому человеку не захочется даже вспомнить о ней. Верю в то, что счастье и наслаждение для человека в полной мере открываются в духовной полноте и насыщенности жизни, в идейном богатстве мыслей, стремлений, порывов, в познании красоты и величия бытия, в желании стать завтра лучше, чем сегодня, в повторении собственной красоты в детях, в нетленном и вечном труде на благо людей и Отечества.

Вот где исток подлинного душевного богатства!..

Алеша Скалецкий из четвертого класса написал сказку о книге. Я приведу ее всю: «Стояли в шкафу две книги. Одна была новенькая, красавица, а другая старая, с потертой обложкой. «Ну, ты же и плоха! — сказала новая книга старой. — Если бы я была такой, то и жить бы не захотела». Старая книга молчала. А на другой день ее взяли читать. Через короткое время она снова вернулась в библиотеку и стала ненадолго около новой книги. «А ты все стоишь, красуешься, пылишься! — спросила старая. Новая книга молчала. Ей было стыдно».

При педсовете школы работает психологическая комиссия — научный центр исследования психологии школьника.

Кто же они, педсовет? Александр Александрович Филиппов — физик, энтузиаст изобретательства и конструирования; Ольга Иосифовна Степанова — биолог, руководитель кружка юных исследователей; Евдокия Евдокимовна Коломийченко, старейшая учительница Павловска, химик, инициатор многих «геологических походов»; Андрей Федорович Барвинский — математик; Ольга Амосовна Письменная — преподавательница французского языка («французские» вечера, утренники, спектакли); Анна Ивановна Сухомлинская, жена Василия Александровича, — учительница русского языка и литературы; Виктория Трофимовна Дараган — тоже словесница... А старейший из ветеранов — завуч Аким Иванович Лысак (и словесник, и математик, и знаток края).

А во главе — Сухомлинский, воспитатель и ученый, директор и литератор. А в тяжелом сорок первом юношей командовал стрелковый ротой под Москвой.

Целый день наблюдал я веселую суету перед выпускным школьным балом. А вечером началось торжество вручения аттестатов зрелости. Каждому — доброе слово напутствия. Весело и мягко Сухомлинский провожает во взрослую жизнь своих питомцев. Назовет имя и прибавит:

— Окончил на пятерки и четверки. Троек нет. А если где-нибудь затесалась, так я молчу.

...Москвичи идут встречать рассвет на Красную площадь, в других городах — на набережные, в парки, а павловская юность пошла навстречу своей заре далеко в степь...

Юрий Тепляков



ПОНЕДЕЛЬНИК —

ДЕНЬ СЧАСТЛИВЫЙ

Я поначалу не хотел писать об этой ночи в океане. Признаюсь, боялся, что личные переживания помешают объективно восстановить события, рассказать о них спокойно и точно. Но однажды случайно услышанный разговор заставил изменить решение.

У газетной витрины (кажется, это были «Известия») стояли двое ребят. Оба только что прочитали крохотное сообщение, что у берегов Камчатки погибла японская шхуна.

— Слышишь, Валерка, как же это? Ведь у самого берега! Неужели ничего нельзя было сделать?

— Не знаю, я там не был...

Оба парня хмыкнули и ушли. А мне вдруг остро захотелось рассказать, как это бывает, когда гибнут суда «у самого берега», потому что однажды это едва не случилось с траулером «Семипалатинск», на борту которого были двадцать четыре человека, и среди них я...

Через три дня надо передавать в редакцию репортаж о первом улове, а я еще на суше. С невеселыми думами брошу по Петропавловску. Вверх — вниз по улицам, похожим на волны. Где-то над головой вечерами горит красное ожерелье телевизионной вышки.

На Камчатке грустно шутят: «Москва — город на семи холмах, Петропавловск — семь деревень на одном холме».

Явно кокетничают. Город своеобразный и неповторимый, как и многое на востоке. Каждый холм здесь — история, каждое имя — воспоминание...

Иду вдоль причала. Корабельные огни плавают рядом в черной и вязкой, как нефть, воде.

И вдруг из иллюминатора корабля, что стоит прямо у стенки, высовывается кудлатая голова.

— Что грустим, братишко, али посудину свою прозевал? Давай к нам. Перепрыгнешь?

— А можно?

— Да я вижу, ты еще салажонок. Сейчас пойду к кэпу, и все будет ладушки, жили мы у бабушки, кушали оладушки.

Волшебник мой был явно «под мухой». И я думал, что все это трэп. Но голова скрылась. Я решила подождать просто из любопытства: терять-то все равно было нечего. Минут через пять меня окликнули уже с палубы:

— Эй, адмирал, топай сюда, кэп зовет!

По широкой треснутой доске, переброшенной с берега на борт, я поднялся на палубу.

На мостице увидел молодого капитана. Наверное, ему не больше двадцати восьми. Одет он даже слишком изящно для такого махонького корабля. Белая накрахмаленная рубашка, на костюме ни единой помятости. Такими обычно рисуют молодых штурманов с какого-нибудь комфортабельного пассажирского лайнера. Капитан, наверно, уже устал, хлопот перед отходом всегда слишком много. Длинные пальцы перебирали цветные карандаши на разложенной карте. Были у него скучающие, не замечавшие меня глаза. Может, поэтому я подумал я о нем с неприязнью: наверное, случайный тип на рыбаком сейнере, спит и видит, как бы смыться с этой пропахшей борщом, селедкой и резиной посудины.

Я ждал, что он почувствует мою неприязнь и прогонит меня с корабля, но он бросил карандаши и улыбнулся.

— Так, значит, в Бристоле плавали вместе с Каляшниковым... А сейчас на каком судне?

Я опешил:

— Это вы ко мне?

— А к кому же? По-моему, нас здесь двое.
Пришлось рассказывать, кто я и что мне надо.
— Сукин сын Калашников, опять напале чорт
знает что, — беззлобно и легко засмеялся капитан.—
Прибежал, говорит, дружка встретил. Надо взять...
Ладно, коли пришли, оставайтесь. Только удобств у
нас никаких. Будете спать у меня в каюте на диване.
Документы покажите старпому. Сейчас отходим.
А пока ступайте в радиорубку, там, кажется, прощаются с берегом. Да не обращайте внимания, что
ребята выпили, теперь месяцев пять не увидят ни
капли. Договорились? Ну и отлично.

Он вежливо козырнул и сразу забыл обо мне, сно-
ва углубившись в лоцманскую карту.

В радиорубке действительно шел пир горой. Каю-
та — метров пять, не больше. Теснота: не то что
яблоку, окурку негде упасть. Но чудо морского го-
степримства: мне нашли место на койке у самого
иллюминатора.

Мой спаситель и враль Саша Калашников обни-
мал радиста Васю Харитончика, щуплого парнишку
в клетчатой ковбойке.

— Васька, милый, помнишь, у Итурупа нас при-
хватило? Нет, ты помнишь?

— Конечно, Сань, конечно, — кивал тот головой
и, шмыгая носом, все хотел поправить съехавшие
очки в тонкой проволочной оправе.

Вася тычется носом в Сашкину грудь и вместе с
ним вспоминает, как волна давила выше мостика,—
под небом остались одни антенны, — вспоминает
девочку с Сероглазки и сколько они оставили прош-
лый раз в Петропавловском ресторане «Океан», где
за их столиком вот сейчас, в эту минуту, кто-то гу-
ляет, а им уходить на запад.

Да, нам пора. Сброшена разбитая доска, служив-
шая трапом, и вот уже поплыл причал, и черная по-
лоса все шире и шире между нами и берегом.

Последний раз мигнул маяк у створа. И исчез. Ре-
бята разошлись спать. Завтра работа, завтра начнутся
бесконечные вахты. Кончилась земля.

Перед выходом капитаны получили штурмовое
предупреждение.

— В море двенадцать баллов. При опасности —
заход в бухту Русская.

Другие бы рыбаки корабли не покинули порт
с таким прогнозом. Но у наших СРТ¹ морским ре-
гистром черным по белому записано: неограничен-
ный район плавания. Значит, можешь уйти в любую
точку мирового океана. Ну, а как доберешься до
этой точки, если все время будешь ждать у моря
погоды? Вот и ходят рыбаки — план-то выполняют
надо. Шторм? Какой пустяк! Ведь у твоего пусты
даже маленько корабля в сердце бьется триста ло-
шадиных сил. Да еще неограниченный район пла-
вания. Гордись, дружище!

Свободная от вахты команда спит. А на мостице
жизнь. Часа в два ночи наш капитан запросил
обстановку у кораблей, что вышли из Петропав-
ловска раньше нас. Ответ добрый. А назавтра...

Скоро уже на траверзе должен появиться мыс
Крестовый. Справа по борту в разрывах белесого ту-
мана угадываются его скалы, тяжелые и холодные.
Море по сравнению с ними казалось теплым и на-
дежным, как родной материнский дом.

И вдруг... Именно вдруг, я помню это отлично,
налетел ледяной заряд, будто ахнула по кораблю
оттуда, со скалы, тысяча пушек жесткой картечью.

¹ СРТ — средний рыболовный траулер.

Исчезли скалы, погас день, а волна, словно обож-
женная градом, закипела, заметалась, увлекая в кру-
говорот наш маленький корабль.

— Капитан, норд-вест! — кричит штурман.
— Знаю, держать генеральный.
— Есть держать генеральный.

Норд-вест! Я слышал о нем в здешних краях не-
мало разговоров — тяжелых, разрывающих сердце
разговоров. Я видел вдов, потерявших мужей после
зимнего норд-веста. Они торопливой походкой спе-
шили мимо Петропавловского порта и никогда не
взглядывают на длинный ряд рыбакских кораблей, при-
жавшихся к стенке, не взглянут, чтобы не бередить
свою память. Я видел молодых петропавловских ре-
бят, для которых зимний норд-вест звучит, как война.
Ведь после него они не увидели своих отцов, и все
же, окончив училище, по семейной традиции, парни
меняют землю на зыбкую палубу рыбакского кора-
бля. Земля надежнее, чем море, но почему же они туда?!
Никто не ответит, никто не остановит, даже
страшный зимний норд-вест, что обрушился так
неожиданно сейчас на наш «Семипалатинск».

Целый час еще пытаемся идти своим курсом. Но
судно все тяжелее валится на борт, все чаще при-
нимает кормой страшный удар. А моряки знают,
что такое удар в корму.

— Нос на волну, ложиться в дрейф...

Это слова капитана. Теперь он в кожаной ушанке
и черном кожаном полушубке. Прошел мимо руле-
вого, положил ему руку на плечо:

— Боря, ты все знаешь. Левый крен градусов пять-
надцать. Будь внимательней.

И уже свободному матросу:

— «Деда» на мостик!

— Есть «деда» на мостик.

Пришел «дед» — щупленький, невысокий маль-
чишка, наверное, только-только после института.
Двадцать пять лет. Впрочем, и того меньше. Но уже
«дед». Ничего не поделаешь: всех главных механи-
ков так крестят на море.

Пришел, вытер цветной ветошью мазутные руки.
Ждет.

— «Дедушка», как машина?

— Дышит, Семеныч.

— Пропшу тебя, все еще раз посмотри. Ложись
в дрейф. И, кажется, Алеша, надолго. Ну, ступай.
— Добрый!

А ветер ревет. И кой черт уже разберет, где
вода, где небо. Все смешалось, все стало одним цве-
том — черным.

Окна рубки покрылись толстым слоем льда: мо-
роз-то около двадцати, а воды вокруг хватает. На
мостице осталась лишь маленькая амбразура, да и ту
приходится уже пробивать ломом. Ведь надо сле-
дить за волной. Сейчас наш единственный курс —
против волн. Чуть в сторону — и мачты, словно
магнитом, тянут к воде.

Локатором ищем берег. Быстро определяем точку:
штурмим на траверзе мыса Крестовый. Минуту мы
видим его на зеленом экране, и все исчезает. Лока-
тор остановился, заковала льдом — мы ослепли.

А в три часа дня оборваны уже все антенны. На
каждом проводе столько льда — канаты не выдер-
жат, не то что тонкая проволока.

Вася Харитончик, привязав очки веревочкой, вы-
ходит наверх. Он цепляется за обледенелые стены
рубки, будто скалолаз. Ветер рвет его, валит с ног.
Что он делает в такой ураган? Провода похожи на
стопудовые ледяные цепи, неистово раскачиваемые
ветром. Они с бешеною скоростью проносятся над
Васиной макушкой, грозя не только снести очки,
наивно скрепленные веревочкой, но и голову наше-

го милого радиста. Через нескользко минут он похож уже на деда-мороза в ледяной шубе. Еще минута, и его снесет в море.

Два матроса, плечами отбросив дверь, втаскивают Васю в рубку. С него сдирают промокшую насквозь одежду, а он, стуча зубами и ничего не видя вокруг, только шепчет:

— Прости, Семеныч, не поймал. Я буду работать на коротких.

— Давай! Но связь должна быть.

Капитан резок. Мне трудно сейчас узнать в нем того штурмана с цветных проспектов международных круизов. Глаза уже не видны. Черный кожаный полушубок — сплошной кусок льда. Прижавшись к амбразуре, он видит только волну.

Команды меняются тут же, потому что все диктует волна.

Уцепившись за какой-то поручень, как ребенок за мамашину юбку, так что не оторвать, стою рядом. Ощущение пространства потеряно. Состояние такое, будто находишься в роторе, который раскручивают во всех плоскостях. Последним усилием хватаю ртом соленый снег и скатываюсь по ступеням вниз в коридор.

До капитанской каюты мне помогает дойти наш кок Виктор Шевцов, приземистый крепыш, сильный, как сто львов. На проваливающейся палубе он стоит, не дрогнув, будто не ботинки у него, а огромные магниты, намертво связавшие его с железным полом.

— Ты что, впервые в море?

— В таком море — да. Плавал по Черному на «России».

— А-а! — хочет Боря. Он втигивает меня в капитансскую каюту, и я падаю на черный дерматиновый диван.

Я лежу здесь внизу и не слышу воя ветра, только чувствую, как корабль давят невидимыми железными лапами. Все трещит, скрипит. А над самым ухом в железо переборки бьют стопудовым молотом. Это волна...

— Ты с кем это говоришь? — В каюту вваливается ледяной полушубок капитана. Садится на свою койку.

— А, бредишь? Я сразу и не догадался. Не плавал с рыбаками? Теперь посмотришь... Ты только не стесняйся, трави прямо здесь. Все равно разгром.

Он сбрасывает шапку. Красными, обмороженными пальцами достает папирус и закуривает. Смотрит на меня, как бы изучая, боюсь ли я за свою шкуру...

Я пытаюсь приподнять голову, но у меня сразу же выворачивает все нутро наизнанку. Противно до ужаса. И стыдно: вот сидит напротив человек, мой сверстник, весь заледенелый, обмороженный, и красными пальцами затягивается по-мужски сладко-сладко, как перед атакой, последней папирской.

Стучит, стучит молот, не уставая. И единственная мысль бьет в виски: когда же и чем это кончится?

Не знал я тогда, что и в Петропавловске тоже гудит штормовой ветер. И весь уже город знает: в море корабли накрыл жестокий норд-вест. Откуда и почему, по каким земным и неземным законам в семьях рыбаков беду чувствуют за сотни миль?! Не нужны им никакие радиограммы. Только позвонят диспетчеру, что держит связь с кораблями, и спросят:

— Ну, что там?

И пусть диспетчер говорит любые слова, веселые, глупые, пусть вообще ничего не говорит: люди все равно услышат беду.

Вася Харитончик натянул в своей рубке, как бельевую веревку, кусок проволоки и через эту горячую антенну пытается связаться с кораблями, узнать, что происходит вокруг. По коротким обрывкам чых-то

радиограмм мы начинаем понимать опасность, свалившуюся на корабли.

«Кавран», что вышел из порта часом раньше, лежит в дрейфе. Там уже начали окальвяться. «Киту» повезло: он опустился до самых Курил. Попал ледовое поле, и у него, спокойно. Попытался пойти дальше, но прихватило, и снова спрятался. Мы ему завидуем. Нам прятаться некуда.

На «Барабуле» уже потеряли одного человека. При облокте смыло матроса.

Вася мрачнеет и все упорнее ищет голоса кораблей. Вдруг он замирает и начинает что-то судорожно писать. Теплоход «Тулома» говорит с Петропавловском.

«ТУЛОМА». «Прошу сообщить обстановку».

«КАРАГА». «Нахожусь трех милях Уташуда, сильное обмерзание. Необходима немедленная помощь. Прошу связаться с плавбазой «Десна», направить ее нам. Так же прошу вас идти нам».

«ТУЛОМА». «На ходу ли машина, можете ли двигаться. Советую выбрасываться берег».

«КАРАГА». «Продвигаюсь берегу, машина ходу, бегу вижу локатору, связи постоянно держите мною частоте 3 120. Поторопите «Десну».

«ТУЛОМА». «Пытаюсь вызвать «Карагу» через 10—15 минут. Связи больше не добился».

Молчит «Тулома». Молчит Петропавловск. Мы их уже не слышим. Потеряли. А что же с «Карагой»? Может, наш Вася ошибся, может, он все перепутал? Нет! Позже, на берегу, радиограмму с «Туломы» я сверил до последней запятой. Все верно.

Наш капитан пришел в каюту и показал мне радиограмму про «Карагу».

— Понимаешь?

— Да.

Минуту он молчит. Я чувствую, он хочет что-то сказать и не решается. Сильный человек сейчас не может набраться храбрости, чтобы сказать несколько слов. Он поправляет ногой разбитые куски стекла. Тянет минуту, другую... На меня нахлынула вдруг нежность к этому человеку. Сейчас мне кажется, что знаю я его тысячу лет. И я сам выхожу ему навстречу:

— Андрей, ты ребятам не говори. Ну, а мне можно. Я орать не буду. Значит, просто не повезло.

Андрей долго смотрит мне в глаза и спрашивает:

— Боишься?

— Обидно.

Сейчас локатор снова работает минут пять. Мы там же, у Крестового. Только нас уже тащит в океан. Вся надежда на машину. Будем выбрасываться на берег. Ты поднимайся в радиорубку к Васе. Там веселей.. Там и...

Он хотел что-то добавить, но лишь вытащил папирус и снова закурил. Мы молчали, затягиваясь теплым дымом. Мы оба были далеки от океана. Мы оба на минуту забыли о нем, чтобы вспомнить самое родное, самое близкое.

— Тебя кто-нибудь ждет? — спросил он.

— Наташка.

— Красивая?

— Сам понимаешь.

— Будет плакать?

— Ей двадцать... А тебя? — спросил я.

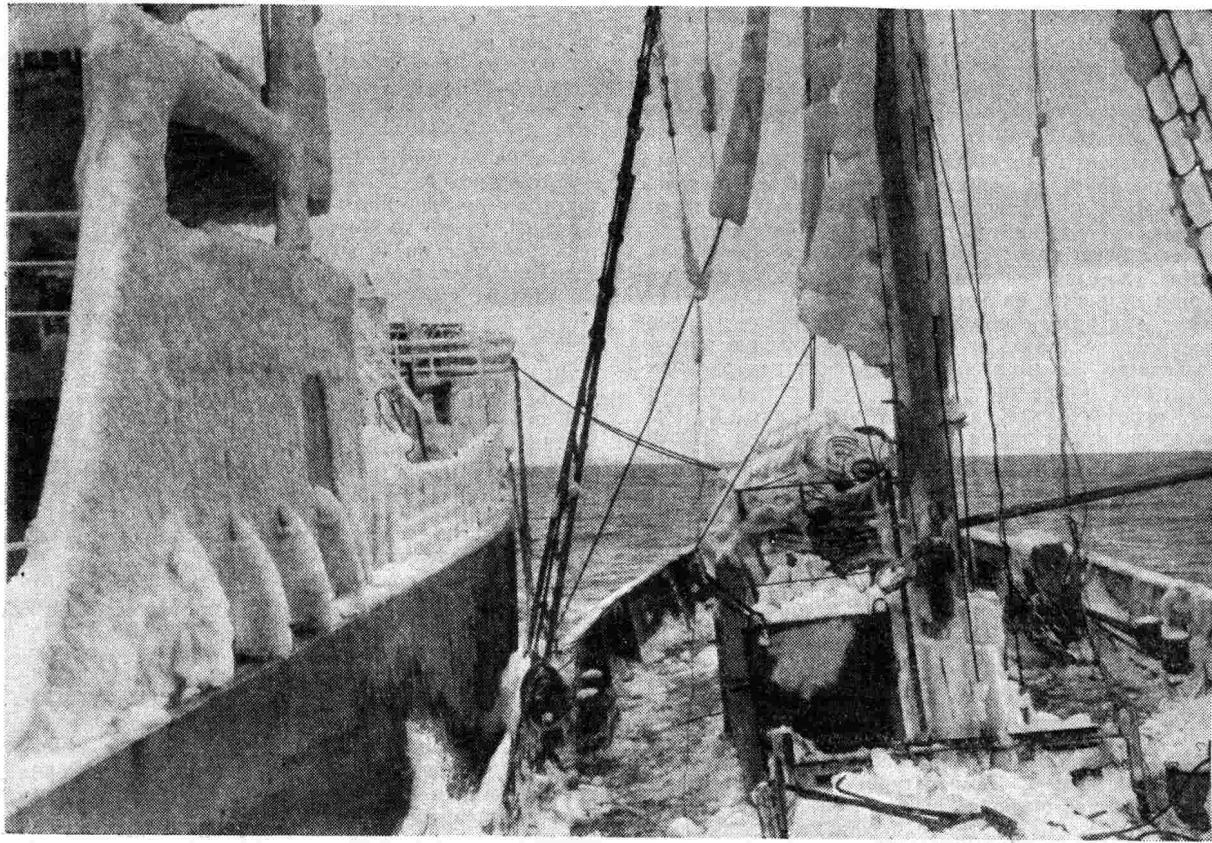
— У меня семья.

— А почему так грустно? Что-нибудь не клеится?

— Как у многих рыбаков. По полгода в море. Андрей поправил оранжевый спасательный жилет, бросил его на койку.

— Ребята мои, наверное, тоже сейчас думают о доме.

Он резко поднялся. Надвинул мокрую шапку. Улыбнулся, увидев разбитое зеркало, и сказал:



Это наш «Семипалатинск», в тот самый понедельник, утром...

Фото автора.

— Ну, что ж, пойдем драться за твою Наташку. Может, нас еще увидят те, кто ждет и верит. Пойдем!

Хватаясь за железные поручни, цепляясь за переборки, выбираемся на мостик. Пока я валялся в каюте, здесь уже и снега и льда по колено. В штурманской рубке разбросаны карты: сейчас не до них. Лишь в каюте Вася тепло и светло. Идеальный порядок. Сам же Вася осунулся, и очки спали на самый кончик носа.

Я сажусь на койку. Слева от меня, в метре у амбразуры, капитан, справа Вася, сгорбившийся в три погибели над своим ключом. Кому он стучит? Я не знаю. Но он стучит и стучит. И летит по маленькой проволоке через сотни миль голос нашего «Семипалатинска»: «Ветер северо-восток ураганной силы. Сильное обмерзание. Прошу установить постоянную связь. Следить за мной. Оказать помощь».

Я знаю, как тяжело было капитану писать эту радиограмму. Но ветер действительно уже достиг силы урагана. Есть такая таблица Бофорта. Чтобы хоть как-то понять, что происходило в те часы, я приведу для сравнения несколько цифр. По этой таблице двенадцатибалльный шторм — это ветер, дующий со скоростью до 21 метра в секунду. Жестокий шторм — 29 метров в секунду. Свыше тридцати метров — уже ураган. А над нашим кораблем ревел ветер более пятидесяти метров в секунду. Позже мы узнали, что на берегу ураган поднимал в воздух бочки, полные горючего. А бочка весит семьсот килограммов.

Там в ту ночь мы еще не знали, что на земле для нас делали все возможное. Бросив свои маршруты, в район бедствия по приказу земли уже спешили «Зевс», «Черняховск», «Десна», «Хатангальес», «Тулома», «Сергей Лазо», «Куинджи», «Болид», «Кустай», «Алаид», «Абагур». И каждый из этих кораблей готов был, забыв обо всем, искать, искать и искать в черном ревущем океане маленькие ледяшки, в которые уже превратились наши траулеры.

Застыл на руле Боря Киселев. Вот уже десять часов он не отпускает штурвал. Через амбразуру я вижу, как боцман на носу, то исчезая в волне, то вновь появляясь на свет, неистово колет лед. Колет ломом, который сейчас у него не вырвет из рук даже девятый вал.

— Всей команде на палубу! — кричит капитан. — Всем оканчиваться!

Связавшиеся пятерками — одному не устоять, сметет, — ребята в оранжевых костюмах, как в атаку, выходят на палубу.

В луче прожектора мелькают ломы. Потом все накрывает черная волна, и я вижу, как оранжевый густок людей, прижаввшись друг к другу, катится к фальшборту. Потом вновь поднимаются и вновь берутся за ломы. Через десять минут они вваливаются в коридор и падают здесь же, у двери, в которой исчезает новая смена. Они сидят молча, без единого слова, и только жадно хватают обмороженными пальцами сигареты.

Не потерять остойчивость! Не лечь на бок!

За борт летит не только лед. Какие-то бочки, мешки, даже ящик сливочного масла, что был привязан наверху, у мостика. До масла ли сейчас! Все выбросить. Хоть на один килограмм наш «Семипалатинск» станет легче, хоть на один сантиметр будет меньше валиться на бок.

Окальваемся час. Окальваемся три. У рыбмастера разбита голова, у двоих ребят сломаны руки, волна бьет людей о железо. На палубу выходят все, у кого хоть сколько-нибудь осталось сил, чтобы ударить ломом об этот проклятый лед.

Нас уже дважды положили на борт, да так, что мачты чуть-чуть не коснулись воды. Я видел глаза ребят, они видели мои. В них не было ужаса, в них была только печаль и спокойное ожидание чего-то последнего. Но что это последнее и как оно придет к нам, мы не знали. Мы не верили, что вот сейчас, через секунду, а может, через пять, корабль перевернется, и хлынет в коридор соленая ледяная вода, поднимется до колена, потом по грудь, и потом мы последний раз увидим глаза друг друга. И вот так, обнявшись, мы навсегда застынем в молчании.

И вода хлынула через борт. Но она лишь покрыла палубу и остановилась. Корабль наши снова поднимался, и мачты вновь тянулись к небу.

Я заглянул в открытый люк машинного отделения. Там грохот дизелей, в сплошном пару мелькающие руки. Механики дрались не хуже матросов, и, может быть, только поэтому «Семипалатинск» не показал черному небу свой киль.

В два часа ночи на мостик пришел «дедушка». Вытер цветной ветошью руки и сказал капитану:

— При таких оборотах машине осталось работать минут пятнадцать. Температура — 600 градусов. И потом мы все равно не выбреем. Кажется, удается только стоять на месте, до берега не дотянем.

— Алеша, «дед», ты у меня мудрый. Я тоже не дурак. Остановить дизель — сразу положит. Делай все, что хочешь, но обороты держи.

И только «дед» успел сказать свое «добрό» и слететь вниз по трапу в свой машинный ад, полный пара и грохота, как нас снова положило на борт.

Капитан, ухватившись за какую-то железку, висит надо мной и кричит в амбразуру:

— Ну, старина, родной, держись!

Это он кораблю.

И корабль будто услышал капитана. Сбрасывая воду, словно тягучий расплавленный вар, он снова поднял мачты.

— Еще один такой крен — и конец. Я знаю, он выжал из себя все.

Андрей говорит о корабле, как о живом человеке. Может, поэтому «Семипалатинск» и услышал его: он тоже не хотел умирать.

— Ты знаешь, о чем я подумал, когда мачты легли на воду?

Это капитан уже ко мне.

— Снимать валенки или не снимать? Дурацкая мысль, а вот пришла. Но будь ты чемпионом мира, все равно через двадцать минут замерзишь в этой чертовой воде. Если что, не прыгай за борт. Просто незачем... Через полчаса нас, наверное, опять положит.

— Слушай, Андрей, может, мне записку написать? Ну, знаешь, там всем родным...

— Не распускай юни. Если не выбреем — и корпуса не найдут. Какая, к черту, записка...

Капитан сплевывает кровь. Губы у него разбиты. Лица не видать из-за ледяной корки. А корабль снова ложится на левый борт. Прибегает матрос:

— Андрей, Брыков надевает чистое белье.

— Набей рожу и запри в каюте. Сволочь!

Капитан снова сплевывает кровь и спрашивает:

— Как ребята?

— Человек пять обморожены. Остальные...

Капитан, не дослушав, тихо приказывает:

— Остальным всем за ломы — и на палубу...

«Я «Семипалатинск», я, «Семипалатинск»... Окальваться не успеваем. Главный двигатель охлаждаем забортной водой. Почти потеряли остойчивость. Крен достигает критического. Вынужден был дать сигнал бедствия. Судно плохо управляемся. Главный двигатель работает на пределе. Обмерзание».

Андрей ждет, пока радиостанция отстучит последнее слово. Медлит еще секунду, будто решаясь.

— А теперь СОС! Может, кто-нибудь услышит. Все!

Он растирает кровь по ледяной корке лица и уходит к своей амбразуре.

Я смотрю на часы: два часа ночи. А в Москве, далекой Москве, лишь пять часов вечера. Кончили люди работу. Люди, неужели вы не слышите, что мы зовем вас на помощь?! Неужели вы не слышите, как над черными ревущими волнами наш радиокричит, задыхаясь, в микрофон: «Я «Семипалатинск», СОС! Я «Семипалатинск», СОС!»??

Он кричит, а наши ребята — обмороженные, измученные — еще колют лед и, как солдаты в бою, падают, теряя последние силы. И все меньше и меньше солдат поднимаются в атаку. Ведь мы не виноваты, что нас всего двадцать четыре вышло в океан.

— Я «Семипалатинск», СОС! Я «Семипалатинск», СОС!

Мы ждем ответа минут пятнадцать. Но в эфире по-прежнему беззаботная музыка: у английской королевы сегодня большой прием. А нам наплевать на всех королев мира, только услышьте наш голос, люди!

— Я «Семипалатинск», СОС!..

И снова в ответ молчание.

— Капитан, на горизонте огни! — Это кричит матрос.

Мы лезем все в амбразуру. И правда, не видение, не «Летучий голландец» — огни большого всамделишного корабля.

— Ракеты! Все ракеты на мостик!

В черное небо летят красные ракеты. Одна, вторая... пятая...

Нет, нас не видят. Огни все дальше и дальше... Огни пропадают в ночи.

И снова над океаном по короткой проволоке лежит наш сигнал бедствия.

Бася осекся на полуслове и будто влез в передатчик. Сквозь непрерывный треск и писк мы слышим слабый голос.

— Я «Абагур», я «Абагур»! «Семипалатинск», слышу вас. Сообщите свои координаты...

Капитан вырывается из микрофона, кричит:

— Я «Семипалатинск»! Машина может отказаться в любую минуту, охлаждает забортной водой. Последний крен был шестьдесят градусов. Окальваться больше не можем. Если что, команду подбирайте на плаву. Скажите ваш ход. Прием.

Треск, писк, грохот. «Абагур» молчит. Неужели пропал?! Целую вечность молчал «Абагур» и снова вынырнул из бездны:

— Я «Абагур»! «Семипалатинск», почему не отвечает? (Это мы-то не отвечаем!) Включите все огни. Даю пятнадцать миль. Скоро буду вашей точке. Держитесь. Мы рядом!

Я не видел войны, я видел только хронику, отнятую убитым оператором: лейтенант, залитый кро-

вью, поднимает свой взвод в последнюю (наверное, последнюю) атаку.

Я вспомнил того лейтенанта, когда увидел нашего капитана, тоже залитого кровью. Он первым ушел на палубу колоть проклятый лед; сейчас он был солдат, он был в бою, и не важно, что вместо винтовки в руках чугунный лом. И ребята пошли за ним. Это тоже была последняя атака. Мы обязаны были держаться.

Моряки рождаются на свет по несколько раз. И только судовые журналы отмечают эти даты. Больше они никому не известны.

«21 февраля в семь тридцать пять встали под борт танкера «Абагур». Это из судового журнала «Семипалатинска». В эту минуту мы поняли, что родились вновь. Был понедельник.

С танкера прямо на палубу «Семипалатинска» пригнуло человека двадцать. Вооруженные лопатами и ломами, рубили лед.

Андрей, «дед» и я перелезли на «Абагур». В теплой, отделанной под светлый орех капитанской каюте закружила голова. В унтах, полушибах, с воспаленными, красными глазами, какие-то еще отрешенные, мы сидели, прижавшись друг к другу, и буквально глотали тепло и покой.

Мы по привычке жались друг к другу. Неужели уже все позади? Мы не верили. Мы поверили только, когда в каюту вошла заспанная, в светлом халатике, девочка, такая земная, такая спокойная. Мы взглянули на нее и засмеялись. Ну, конечно, теперь все позади!

— Томочка, — обратился к ней капитан «Абагура» Петр Семенович Шварцман, — ты накрой. И чего-нибудь вкусненького вот для этих новорожденных бродяг.

Ты прав, капитан. Ты во всем прав.

— Черти вы полосатые, — обратился он к нам, — давайте выпьем за вас. Давайте выпьем за всех, кто сегодня родился.

Он разлил по стаканам спирт и поставил на стол банку воблы. Девчонка принесла нам картошки. Горячей, с паром, земной картошки.

— А теперь второй тост по традиции — за «родителей»? — улыбнулся Андрей.

— Принимаю. Жалко, радист мой свалился. Это он вас рождал. Пять часов орал на всю вселенную. Ну, пусть спит после родов. Мы ему потом нальем.

И мы выпили за «родителей» — за команду танкера «Абагур».

Петр Семенович отодвинул пустой стакан, закурил.

— Да, прости, забыл, у вас никого не смыво?

— Нет.

— Вот и чудесно. Сейчас обколем вас хорошенко. Потом на веревочку и потащим в Петропавловск. А теперь по последней — и спать. У меня места много. Оставайтесь.

— Спасибо, капитан. Мы уж к себе. Ребята там одни.

— И то правильно. Пойдем лагом. Торопиться теперь некуда. Я получил погоду: часа через два все утихнет.

Мы пожали руку капитану. И простились.

Проснулся я вечером. Проснулся от тишины. Вышел на палубу. «Семипалатинск» прижался к танкеру, как прижимаются к матери малые дети, когда страшно. Но страха уже не было.

Мы шли в Петропавловск. И был понедельник. Счастливый день!..

Мой самолет на Магадан уходил лишь в субботу. Делать было нечего, и я несколько дней бродил по городу. Курил сигареты у кинотеатра «Камчатка» вместе с сезонниками и за двадцать копеек, одолженных до «завтра», слушал их страшные морские истории, которые почему-то все происходили где-нибудь у коралловых рифов.

Потом я прибежал в порт и даже не удивился, что сторож не спросил у меня пропуск (какой же пропуск, если человек идет домой?), не удивился, когда и вахтенный сказал, что капитан сейчас на судне, и только что поднимался на палубу, и, наверное, еще не спит.

Нет, капитан не спал. Он сидел на моем дерматиновом диване в белоснежной крахмальной рубашке и в костюме без единой измятости.

— Нет, ты понимаешь, как он спросил, — сразу обратился ко мне капитан, будто я не только что вошел в каюту, а уже давно сижу вместе с ними и слушаю все подробности о заседании морской инспекции, которая собралась после нашего порт-визита, — нет, ты понимаешь, этот, который видит море из своего кабинета, понимаешь, этот встал и спросил прокурорским голосом: «Скажите, капитан, о чем вы думали в самую критическую минуту?» Но ты-то знаешь, что я тогда подумал, когда нас положило на борт и мачты уже целовались с водой. Так я ему и ответил: «Я думал, снимать валенки или нет». Обиделся: «Что ж, так и прикажете записать?» Да, так, говорю, и запишите. А что, я врать буду? Байку тратить?

Андрей замолчал, вытащил из пачки папиросу. Вытащил неловко, потому что пальцы были красные и еще плохо слушались после той ночи.

— В общем, ну его к черту. Вот подлечим свою посудину и снова потопаем на запад. Правда, старпом?

— Вот те крест, — ответил старпом. И засмеялся.

Самолет из Петропавловска в Магадан идет над океаном. Я сижу у окошка и думаю: в моем блокноте ни единой строчки о высоких уловах отважных рыбаков. В моем блокноте ни строчки об отважном капитане, который в самый критический момент думает «высоким штилем» о перевыполнении месячного плана. Сижу и смотрю вниз на зеленое поле воды. В моем блокноте ничего, потому что и блокнота нет: я потерял его в ту ночь... Все в памяти.

Что же такое наша память? Говорят, морская волна выбрасывает на берег остатки погибших кораблей. Наверное, с памятью происходит что-то похожее. Ушла в прошлое моя ночь в океане. Я живу дальше. Но порой в самую неожиданную минуту память выбросит к самому сердцу и горечь и гордость жестоких часов, прожитых в ураганный нордвест на обледенелом, гибнущем траулере. И тогда, в который уж раз, ищешь по карте махонький кусочек земли — мыс Крестовый — неведомый для других, но близкий для нас, двадцати четырех: ведь здесь, в четырех милях от скал, мы заново родились... А где-то в огромном море идет сейчас мой «Семипалатинск», идут мои ребята, мой капитан.

Позовите меня с собой!





Лев Рошаль

МГНОВЕНИЕ И ВРЕМЯ

Заметки
о документальных
фильмах



Всякого времени свои пристрастия. Одно из пристрастий наших дней — стремление к документальному познанию жизни, истории. Это стремление особенно заметно проявляется в искусстве, вдруг разрушая, казалось, традиционные представления о великом и незыблемом праве художника на вымысел.

...Драматические хроники на театре.

...Мемуарно-очерковый жанр в литературе.

...Документальность игрового кино.

...И, наконец, бурное развитие документального кинематографа.

Вряд ли этот все возрастающий интерес к искусству, построенному на подлинных, невымышленных фактах, объясняется лишь чисто эстетическим увлечением узкого круга любителей историко-документальных жанров. Само понятие «история» теперь имеет отнюдь не только тот смысл, каким его преимущественно наделяли еще в прошлом столетии и на заре нынешнего. История перестала быть лишь воспоминанием о давно минувшей старине. Зависимость личной жизни человека от событий современной истории, даже если они разворачиваются

на какой-нибудь отдаленной окраине земли, стала аксиомой века. Французский режиссер Ален Рене назвал свой документальный фильм о фашистских лагерях смерти «Ночь и туман», имея в виду тот сугубо современный факт, что в одно мгновение мир может быть окутан непроницаемым туманом, а ночь может поглотить примерно столько жизней, сколько все великие битвы предшествующих эпох.

Стремлением разобраться в потоке фактов, найти связующие нити в кажущейся бессвязности объясняется прежде всего широкий интерес к документальному искусству. Стремлением человека понять и определить свое место и предназначение в истории.

Но не только этим.

Настоящая, непридуманная жизнь порой разыгрывает такие драмы, какие не могла бы предугадать даже самая необузданно талантливая фантазия. Помнится, в одну из интересных в целом постановок брехтовской «Карьера Артуро Уи» были включены эпизоды кинохроники, как бы выявлявшие историческую подоплеку событий на сцене. Но в тот момент, когда в глубине кулис вспыхивал экран, происходило нечто неожиданное. Брехтовские коллизии вдруг начинали казаться почти за-

бавой рядом с мелькнувшим всего лишь на мгновение кадром, с грудой женских волос, срезанных с голов узниц.

К этому можно было бы добавить, что в вымышленном повествовании для нас всегда остается некая психологическая «лазейка», позволяющая где-то подсознательно находить в событиях, изображенных пусть даже великим мастером, некоторую предположительность, необязательность. Финал «Гамлета», сцена в Мокром, смерть Горио — это все минуты высочайших потрясений. И все же мы имеем возможность хотя бы слегка успокоить свои взбудораженные чувства: могло быть, а могло и не быть, ведь выдумано! Но, узнав, что комендант одного из фашистских лагерей после очередной экзекуции преследовано пошел обедать, получив особое удовольствие от мороженого, поданного на десерт, мы успокоить себя не можем. Потому что это не выдумка, а факт, документально подтвержденный его собственноручной записью в дневнике. Это факт, не оставляющий для нас никаких иллюзий.

Самопознание каждого человека в отдельности и человечества в целом, их нравственное очищение и развитие сегодня происходят через правду, и только через нее.

Через правду, лишенную догматических, предвзятых настроений. Само время потребовало вернуть документальному факту его честь и достоинство.

С помощью документального кино появилась возможность продлить жизнь мгновения. Продлить не символически, а впрямую. Не умозрительно, как это и раньше удавалось другим искусствам, а зрительно, с документальной точностью. Зафиксированное на пленке мгновение становится памятью истории. Причем документальное кино продлевает не только прекрасные, но и низменные, страшные, трагические мгновения. И потому, наверное, нет более безжалостного и вместе с тем более правого суда, чем суд памяти.

СУД ИСТОРИИ

Силу подлинного факта прекрасно знали гитлеровцы. На них работали отличные в своей области профессионалы. Среди них — Лени Рифеншталь, которая нет-нет да обратится в судеб-

одного нормального, живого человеческого лица. Не в минуту всеобщего экстаза, горлодерущих воплей, а в минуту тишины. Тогда, когда человек, оставаясь наедине с самим собой, становился бы самим собой. Фашисты высоко ценили значение пропаганды, и во имя пропаганды снимали одни лишь массовые церемониалы, тяжеловесная помпезность которых как бы подтверждала незыблемость существования рейха и прежде всего основного государственного принципа: «ты — ничто, народ — все!» Были марширующие вдоль широких аллей Унтер ден Линден воинские подразделения. Были истерически рыдающие девицы в национальных костюмах, жаждавшие прикоснуться к вялой руке фюрера. Мелькали подброшенные носки до блеска начищенных сапог. Взлетали руки, целый лес рук, в знак установленного приветствия. Тяжелые подбородки... Белокурые волосы на правильных арийских черепах... Анфасы, профи, неотличимые друг от друга... А человека не было!

Конечно же, все эти барабанные

бутафоров. Правда документа оказалась шире бутафорской правды. Документально зафиксированные факты дали основание для обобщений, противоположных, нежели те, о которых думали операторы, снимавшие эти факты. Гитлеровские парады и многотысячные фашистские манифестации входят большой составной частью в картину «Обыкновенный фашизм». Но они лишены какого бы то ни было величия. Здесь они помогают раскрыть основную задачу фильма — рассказать, как чувство стыда лишает человека чувства стыда. Обретя первое, нетрудно вытравить второе. Расстояние крайне невелико, как раз не больше одного прусского парадного шага. И теперь уже совсем легко, мальчишески улыбаясь, сфотографироваться таким образом, чтобы твоя юная морда была бы на одном уровне с босыми ногами повешенного. И женщину, многих женщин раздеть донага теперь проще простого (вы, конечно, помните: «Святая ХХ века»!). И уж совсем как просто, расстреляв некоторое количество лагерных узников, затем сытный обед заесть мороженым.

Кинохронику, рассказывающую о фашизме, часто называют «свидетель обвинения»¹. И это справедливо, тем более что документальные кадры выступали в такой роли на Нюрнбергском процессе. Но в отличие от многих весьма талантливых кинолент о фашизме особенность картины М. Ромма в том, что он сам выступает в ней в роли обвинителя. Как ходатай, возбудитель дела. В фильме нет обязательной всеохватывающей обстоятельности, потому что истоки его пафоса находятся не только в исторической, а прежде всего в нравственной сфере. Физический разгром фашизма еще не означал его полного морального уничтожения. Для некоторых людей дух нацистских идей и сегодня обольстительнее исторических уроков. М. Ромм еще раз, с неопровергими документами в руках развенчал фашизм морально, изнутри. Высмеял и выпотрошил его. Вывернул наизнанку его тоталитарную сущность. М. Ромм ведет сражение с фашизмом, с его чумовыми предначертаниями и его чу-



Кадр из фильма «Гренада, Гренада, Гренада моя...». Справа: Илья Эренбург.

ные инстанции, требуя уплаты по-тиражных за использование в современных картинах снятых ею эпизодов периода нацизма. И вот что важно. М. Ромм в «Обыкновенном фашизме» сообщает, что в тысячах километров нацистской хроники есть великое множество парадов, факельных шествий, массовых сбörищ, победоносное движение фронтовых колонн по дорогам Западной Европы. Но нет ни

торжества, отснятые на пленку, были правдой. Правдой третьего рейха. Но она не оказалась правдой истории. Обещанное «великое тысячелетнее государство» рухнуло через 12 лет, оставив необъятный кровавый след. Документальное же кино сделало свое дело. Оно остановило и продлило жизнь мгновения. Возник замечательный парадокс, недоступный пониманию любых — даже самых великих —

¹ Под таким заголовком в издательстве «Искусство» в 1966 году вышла книга советского киноведа Б. Медведева. Тем, кто интересуется нашими и зарубежными фильмами о фашизме, советую прочитать эту книгу. В ней содержится обширный материал, интересно проанализированный и своеобразно поданный.

мовой моралью. Ведет сражение новыми средствами, на новом историческом этапе. И тем убедительнее победа фильма, что он весь построен на документальном материале. Что поразительный авторский комментарий никогда не называется документу, а всегда вырастает из него.

Молодые ассистенты М. Ромма С. Кулиш и Х. Стойчев — авторы фильма «Последние письма», сделанного на остатках материала, не попавшего в «Обыкновенный фашизм», — идут еще дальше. В картине, рассказывающей о нескольких письмах немецких солдат, окруженных в Сталинграде, словесного комментария нет вообще. Размышляя об истоках фашизма, авторы показывают нам в начале картины обыкновенную баварскую пивную кружку. Узкая и вытянутая, с рисунками на стенках: остроконечные кирхи, домики под черепицей в овале лепных виньеток. Если коснется солнечный луч, рисунок, облитый глазурью, засветится... Впрочем, кружка не совсем обыкновенная. Снизу есть ключик. Его можно несколько раз повернуть, и тогда внутри, в дне кружки, что-то хрестит, а потом... потом заиграет музыка. Мелодия, конечно, тоже самая незатейливая. Чуть-чуть сентиментальная, немного в духе любимых вальсов, немного в духе любимых маршей. Потягивая пиво, услаждай себя искусством. Хочешь — грусти, хочешь — вальсirуй, хочешь — маршуй.

Кружка — заставка ко всей картине и к каждому письму, прочитанному в ней. Правда, придумали ее, наверное, раньше фашизма. Но, может быть, обыкновенный фашизм с этого и начался. С того, когда пивная кружка и музыкальная шкатулка слились воедино. И когда в этом перестали видеть нечто удивительное. И когда все осталось, что прежде казалось по меньшей мере странным, если не сказать — чудовищным, превратилось в обыденное, обыкновенное.

Верные современным принципам документализма, авторы ни разу не прибегают к отвлеченной символике. Мысли фильма вырастают из неожиданных, часто контрастных соединений текста писем с документальными кадрами хроники, из глубоких ассоциативных сопоставлений самих кадров. Один из удивительнейших эпизодов фильма связан с Гитлером. Пожалуй, такого Гитлера не было еще ни в одной картине. Он появляется всего лишь в нескольких кадрах — на трибунах огромного олимпийского

стадиона. Гитлер-болельщик — зрелище в своей заурядности уникальное. Он нетерпеливо бьет себя по колену, в волнении приподнимается с места. Но авторы монтируют эту сцену не с кадрами берлинских олимпийских игр, а с эпизодами другой «олимпиады», устроенной фашистами во время войны с пропагандистскими целями. На экране соревнуются чудом уцелевшие в боях инвалиды — одиозные толкватели ядра, одногоние жокеи — мол, видите, они хоть и пострадали за «Великую Германию», но не утратили ни вкуса к жизни, ни возможности наслаждаться ею. И сразу же только что виденное волнение Гитлера, эти переживания обычного, заштатного любителя, могущего часами рассуждать у ворот стадиона, кто забьет гол в ближайшем матче, приобретает зловещий характер. Монтажом эпизодов здесь руководила страсть ненависть к фашизму. Тот пафос горечи и горя, который художники обнаружили в себе, отнюдь не в сценах, снятых фашистскими операторами совсем с другими намерениями. Так сделан весь фильм. Происходящее на экране — не иллюстрация к тексту писем. Картина (кстати, отмеченная многими высшими наградами международных кинофестивалей) построена на ассоциациях, позволяющих осмысливать драматические события истории, почувствовать безнравственную, античеловеческую сущность фашизма.

Тема борьбы с фашизмом — одна из постоянных тем документального кинематографа. К ней он обращался и еще будет обращаться не раз. Совсем недавно Р. Кармен и К. Симонов в фильме «Гренада, Гренада, Гренада моя...» напомнили о том, как эта борьба начиналась. На каменистой, выжженной солнцем земле Испании первый бой с фашизмом принял отряды, не слишком-то обученные военному делу. Со всего мира им на помощь съезжались люди, облик которых менее всего вязался с представлением о воинственности. Комитет по невмешательству сделал все для поражения республики, и У. Черчилль со дня на день ждал сообщения о падении Мадрида. Но столица держалась еще многие дни, недели, месяцы. Не обученные военному делу люди отдали все, чтобы фашисты не прошли...

И все-таки они тогда прошли. Но идея осталась. Она выжила и победила. Сжатый в интербригадовском приветствии кулак оказался жестом мужества и жизнеутверж-

дения, а выброшенная вперед с криком «хайль» рука — всего лишь высокопарно разыгранной пантомимой.

Фильм рассказал о начале — в достаточной степени трагическом. Но в нем было все, что предопределило будущий конец. Военные советники — впоследствии маршалы и генералы, бойцы бригад, пехотинцы и летчики — в Отечественную будут опять сражаться так же бесстрашно, как под Бильбао и Уэской. А писатели снова будут писать фронтовые очерки. Как тогда М. Кольцов, И. Эренбург, Э. Хемингуэй. Впрочем, некоторые отложат на время перо, как писатель Мэтэ Залка, погибший генералом Лукачем. Отложат, как и А. Гайдар, и Николай Майоров, и многие другие, пришедшие и невернувшиеся. А фронтовые операторы оставят поразительную кинолетопись войны, как оставили И. Ивенс, Р. Кармен, Б. Макасеев зrimую память о неистовой Испании. И еще одну идею вынесут те, кто сражался там. Идею интернационального единства. Недаром с таким волнением вспоминает в картине генерал П. Батов о том, как пели «Интернационал» отправлявшиеся из Альбацеты на фронт батальоны. Они пели на разных языках, но одну песню. Они были достаточно трезвы, чтобы знать, что идут на решительный бой, и, пожалуй, слишком романтичны, думая, что этот бой последний. Но, может быть, в этой романтике было больше высокого смысла, нежели в хорошо взвешенных, осмотрительных поступках.

Сражение продолжается и сегодня. Поэтому-то документальное кино и обращается все время к теме борьбы с фашизмом. Ибо это не только тема памяти, но и тема напоминания.

ХРОНИКА БЕЗ СЕНСАЦИЙ

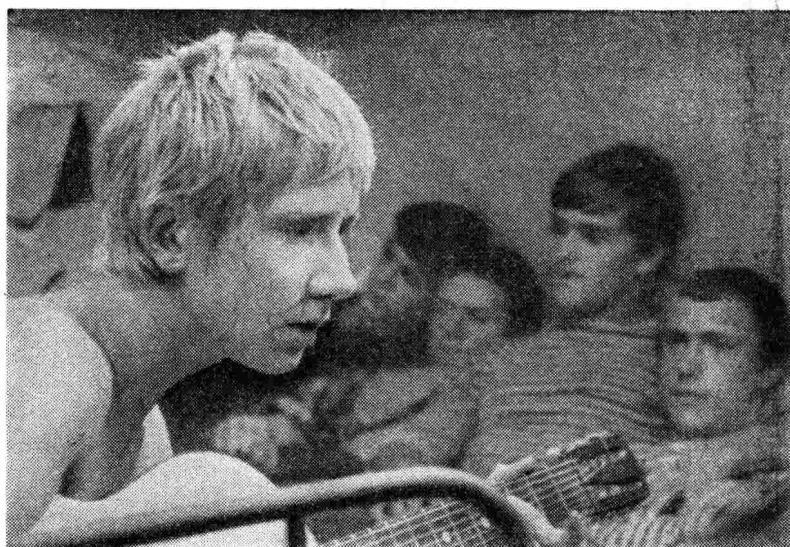
Можно сказать, что в этих словах — один из основных принципов нашего документального кино. Поэтому не удивительно, что сценарист К. Славин и режиссер В. Лисакович свою картину, посвященную советским документалистам, так и назвали — «Хроника без сенсаций». И они, конечно, правы. Но, думается, правы лишь отчасти. Потому что их небольшая картина, в сущности, вся состоит из сенсационного материала. Скажем, челюскинская эпопея и встреча челюскинцев в Москве, снятые нашими операторами, что может быть сенсаци-

оннее! Я имею в виду сенсацию, которая могла бы быть синонимом незаурядности, феноменальности.

Для документального кино это имеет особое значение. В противовес высенному, дидактике документальных фильмов прошлых лет лучше современные картины вполне подходят под определение «хроники без сенсаций». В них все просто и сокровенно. Похоже на обычную, повседневную жизнь. Героями этих картин могут быть молодые, бородатые гляциологи, спрашивающие о смысле жизни, и официантка из ленинградского кафе, посетители Эрмитажа и старый «хранитель маяка» на берегу Иссык-Куля, дети, брошенные материами, и ребята, пришедшие после школы на завод. Казалось бы, индивидуальность здесь определена самой жизнью, как говорится, только снимай. И, казалось бы, это облегчает задачу документального кино — показать события и человеческие характеры в их неповторимом облике. Однако это не так.

В фильме «Российские просторы», выпущенном Центральной студией, показаны Волга и зеленеющие дубравы, тройка с бубенцами и дубинские лаборатории, Ясная Поляна и памятник Пушкину в Москве. Все это, несомненно, имеет прямое отношение к среднерусской полосе нашей страны. Но частности, пусть даже точно, документально воспроизведенные, тем не менее не складываются в общую картину. Не создают главного — образа Родины. Ибо детали, обычные жизненные подробности — вокруг нас. А образ, в том числе и образ Родины, — это то, что художник вынашивает внутри себя. В настоящих произведениях документального кино всегда есть взаимопроникающая связь между художником и окружающей средой, активное единение художника и материала.

Картина режиссера А. Фреймана «Репортаж года», шедшая на весенне-зимнем экране, по своей задаче близка «Российским просторам» — рассказать о Латвии, празднующей свое двадцатипятилетие. Но фильм совсем не похож на традиционную юбилейную картину счастливых в таких случаях падающими. Этот репортаж лишен стандартности построения. Может показаться, что в нем вообще отсутствует организующее начало. Юноши и девушки, торжественно отмечающие совершеннолетие, веселое празднование Дня рыбака на побережье, проводы новобранцев, демонстрация на рижских



Кадр из фильма «Трудные ребята».

улицах, весенние соревнования на надувных лодках, встреча эмигрантов с родиной, многотысячный хор певцов. И все же в картине нет бездумного калейдоскопического смешения подробностей. Каждая деталь, любой эпизод согреты тем чувством, которое пронизывает картину, — чувством Родины. У каждого оно свое. В том числе и у авторов «Репортажа года». Это-то и определило особую непохожесть картины, рассказывающей, как живет и трудится народ, о чем постепенно забывает и чего забыть не хочет, чему печалится и чему радуется. В картине есть еще и очень важная тема времени. Вечно сменяющихся поколений, уходящего прошлого и новых традиций. В восстановленных кинокамерой мгновениях движение не умирает. В них угадывается перспектива. Время отразилось в этих мгновениях не как астрономическая, а как историческая категория.

Я специально рассказываю об этих двух картинах, чтобы читатель почувствовал два направления в современном документальном кино. Одно из них ограничивает свою задачу фиксацией фактов. Другое стремится раскрыть внутренний мир человека, дойти до сути явлений, постигнуть взаимосвязь событий, в которой выражаются нравственные и социальные закономерности. Бессспорно, каждое произведение искусства (документальный фильм в особенности) несет, как теперь принято

говорить, определенный объем информации. Но в искусстве этот объем чаще всего возрастает не за счет увеличения числа сообщаемых сведений, как это хотели сделать авторы «Российских просторов», а за счет художественного качества информации, как это сделано в «Репортаже года». Если этого нет, то объем информации не возрастает даже тогда, когда речь героя синхронно записана, а сами они сняты так называемой скрытой камерой.

Борьба этих двух линий в документальном кино выражает отнюдь не только эстетический спор по поводу тех или иных формальных проблем. Она выражает дух времени и связана с преодолением поверхностного подхода к различным явлениям жизни.

То, что глаз кинообъектива беспристрастен, известно. Плохо, когда холоден и глаз автора. Впрочем, как учили еще в школе, глаз — тоже объектив, оптический прибор. Не потому ли Роден говорил, что он видит всю правду, а не только ту, которая дается глазу? И не потому ли столь важно для документального кино сочетание жизненных наблюдений с их поэтическим осмыслением, помогающим проникнуть за документально воспроизведенную оболочку жизни?

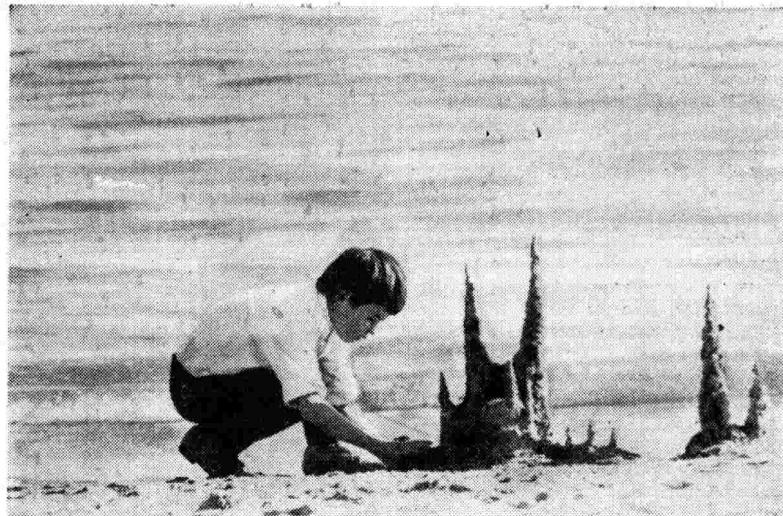
Такое сочетание есть в недавно выпущенной ленинградским режиссером М. Литвяковым десятиминутной ленте «Трудные ребята».

Она рассказывает, как комсо-

мольцы Ленинграда организовали трудовой лагерь для ребят, взятых на учет милицией. Впрочем, «рассказывает» — не совсем верное слово. Рассказа как такового нет. Есть отдельные зарисовки, внезапные переходы от эпизода к эпизоду. Бренчание на гитаре мальчишки в широко расклешенных брюках и в шляпах, какие носили головокружительные герои «Великолепной семерки»; пьяный подросток на одной из оживленных ленинградских улиц; потом лагерь, вернее, лес, а не лагерь, где мальчишки будут сами его строить. И еще по-мужски прямой и жесткий разговор с одним из юных «строителей», мечтающим о «вольном» житье. Но эти вроде бы разрозненные сцены связаны авторскими раздумьями о животрепещущей проблеме времени — детской безнадзорности и преступности, их причине. Я подчеркиваю, раздумьями, а не рассуждениями. Кроме нескольких информационных фраз, в картине нет дикторского текста. Экран говорит сам за себя. Картина по-настоящему человечна. В ней есть и необходимая злость к тунеядцам, и чуткость, доброта, тонкое понимание ребячих настроений. В лучшем эпизоде фильма возмущенные родительницы ведут строгую беседу с одной из мам, приехавшей в лагерь к сыну и выпившей по тому радостному случаю. Эту синхронно записанную беседу надо слышать, пересказ не даст и малейшего представления о ней. Слышать уверенные в своем справедливом гневе голоса мам и ответы провинившейся. И когда после всего случившегося диктор вдруг спрашивает сына захмелевшей женщины, кого он любит больше всех на свете, мы, казалось бы, должны были услышать если не сыновнее отречение, то, во всяком случае, признание в том, что для него нет ничего дороже коллектива. А он ответил коротко, со счастливой интонацией в голосе: «Маму».

Картина получилась, потому что ее авторы так же, как и те, кто организовал лагерь, видели в ребятах трудных, но не безнадежных людей. Они поверили в ребят. Потому что знают: где-то в глубине их душ есть подлинная чистота и непосредственность.

Поиски новых путей ведут все поколения кинематографистов. И все же мне особо хотелось бы подчеркнуть роль молодых художников. В их лучших работах ясно ощущается настойчивое стремление уйти от внешнего правдоподобия во имя действительной правды. При этом они умеют ценить



Кадр из фильма «Замки на песке».

красоту, стройность отдельного кадра и фильма в целом. Они смело берутся за решение новых задач. Смелость иногда по-молодому безоглядна. Это приводит к несомнительным потерям. Важно другое. Молодые художники умеют отбрасывать временное, случайное и в каждой последующей работе закреплять то ценное, что было найдено прежде. Поначалу почти все были увлечены синхронной записью звука. В результате слово стало активно вытеснять кинематограф. Он превратился, как заметил один режиссер, в своеобразный театр у микрофона, где герои, не умолкая, перебрасываются репликами, как теннисным мячом, или произносят длинные монологи. Но вот сценарист Вен. Горохов, режиссеры И. Герштейн и Б. Галант сделали на Фрунзенской студии картину «Там, за горами, горизонт», где есть то, чего недостает многим «говорящим» фильмам — борьба идей. Движение мысли происходит в драматическом столкновении различных взглядов, хотя во всей картине нет никаких видимых признаков внешнего действия. Вряд ли она снималась скрытой камерой, но острота спора настолько захватила четырех молодых гляциологов, что они просто перестали на нее обращать внимание. Это позволило раскрыть их характеры в незначительных, но живых и обаятельных мелочах. В нетерпеливой резкости одного и спокойной выдержанке другого. В том, как каждый из них строил речь, как обдумывал слова, как неожиданно оговаривался. Поэтому было интересно не только слушать этот спор, но и наблюдать за его

участниками. Спор затронул важные нравственные проблемы — совесть и долг человека, нежелание мириться с привычками, устаревшими, но порой возведенными в закон. При всей кажущейся авторской отчужденности картина с начала и до конца была продумана. Поэтому мысль в ней развивается с постоянным драматическим нарастанием.

Кинематограф берется за создание остро полемических драм, действующими лицами которых являются подлинные, живые люди.

Каким образом документальное киноискусство будет развиваться в дальнейшем, пока предугадать невозможно. Я думаю, документальное кино, по существу, еще только начинается. В лучших работах каждый раз есть новые, совершенно неожиданные открытия.

Ленинградские кинематографисты выпустили фильм «Маринино житье» (режиссер П. Коган). Это короткий, сдержанный рассказ уже немолодой официантки молодежного кафе о работе, о мечтах, о пережитой блокаде. Рассказ идет за кадром. А на экране — то веселые, то безразличные и немного хмельные лица танцующих, грустная девушка (ее никто не приглашает), дымок от сигарет и, наконец, сама Марина, старающаяся получше обслужить посетителей. Но ведь всем не угодишь, и тогда настроение надолго испорчено...

Слияние прозы и поэзии в современном документальном кино нередко происходит по глубоким внутренним законам. В только что выпущенной Фрунзенской студией

картине Я. Бронштейна и А. Виду-
гириса «Замки на песке» это слия-
ние мне кажется особенно впечат-
ляющим. Фильм получил первый
приз на Krakовском кинофестива-
ле. Авторы его—молодые худож-
ники, показавшие в нескольких
прежних работах вполне уже сло-
жившийся, сугубо «прозаический»
стиль,—вдруг удивляют фильмом,
который воспринимается, как сти-
хотворение. При этом рассказ о
киргизском мальчишке, возводя-
щем замки из мокрого песка на
берегу теплого Иссык-Куля, строго
документален. В своих истоках
картина может в чем-то ассоци-
ироваться со знаменитым «Крас-
ным шаром» француза Ламориса.
Отличие, собственно говоря, в од-
ном. Можно блестательно, с на-
стоящей детской непосредствен-
ностью сыграть радость мальчика,
когда шар стал повсюду следовать
за ним, как это сыграно в фильме
Ламориса. Можно сыграть и на-
стоящее мальчишеское горе, ког-
да шар лопнул, расстрелянnyй из
рогатки. Точно так же можно
разыграть сцены, где мальчик
подстраивает ловушку рыбаку,

проезжающему каждое утро по
мокрому песку пляжа и пре-
спокойно разрушающему все
замки, как сделано в киргизской
картине, хотя на самом деле эта
сцена не выдумана. Можно разыграть (или в данном случае более
точным было бы слово — спрово-
цировать) и другую сцену, когда
скучающие на пляже люди вдруг
тоже начинают азартно строить
песочные пирамиды, песочных мумий с недокуренными сигаретами на
месте рта. Когда они заполняют
все пространство широкого кадра
куличами из полизтиленовых веде-
рок, вытесняя растерявшегося от
этого нашествия мальчика.

Но одного нельзя ни спровоциро-
вать, ни сыграть. Акта вдохнове-
ния, совершающегося на ваших
глазах. Того оценивающего при-
щура, с которым мальчик смотрит
на только что сделанное им. Той отточенной пластичности движе-
ний, которые до этого были, как и у всех мальчишек, угловаты и
разбросаны. Того момента потря-
сения, когда вдруг набежавший
свежий ветерок приносит высокую
волну, в одно мгновение смыва-

ющую эти чудо-замки, выстроеп-
ные на песке. И того упорства, с
которым он начинает все сзынова.
Этого нельзя сыграть. Сила картины — в документальной подлинно-
сти таланта героя. В ней нет слов, одна лишь музыка А. Волконского,
но говорит она о многом. В доку-
ментальности фильма — истоки его
высокой поэзии.

...Я не зря рассказал о картинах
на современные темы, выпущен-
ные студиями Риги, Ленинграда и
Фрунзе. Потому что поиски новых
путей здесь особенно плодотворны. Я не претендовал на полноту
обзорности, а хотел лишь обратить
внимание читателя на некоторые
тенденции, тем более что докумен-
тальные фильмы пока еще очень
плохо знает зритель (поэтому, воз-
можно, я был слишком пространен
в пересказе отдельных картин). Мне хотелось обратить внимание на эти тенденции прежде всего
потому, что они неразрывно свя-
заны с переменами, происшедшими
в общественной психологии и в
общественном сознании за пос-
ледние годы.

Анастас Микоян



Бакинское подполье при английской оккупации (1919 год)

Из воспоминаний

Итак, мы снова в Баку. Я всегда любил этот город ветров, черного золота и вечных огней...

Баку — это город моей революционной юности. Все самые яркие и светлые воспоминания молодости связаны у меня с этим городом. Здесь впервые я встретил моих славных друзей — будущих бакинских комиссаров; прошел суровую, но прекрасную школу большевистского подполья; пережил незабываемые героические дни борьбы за Советскую власть, за торжество наших великих идей.

Современный Баку — это большой индустриальный и портовый город. По красоте Баку сравнивают то с Неаполем, то с Марселеем, то с Рио-де-Жанейро. Не знаю, насколько справедливы эти сравнения. Но хорошо помню, что таким величественным и совершенным, каким этот город стал за годы Советской власти, тогда, в 1918—1919 годах, он не грезился нам даже в мечтах...

Сейчас очень трудно представить себе Баку замуоренным, захламленным городом, вечно засыпаным мелким, я бы даже сказал, мельчайшим, песком, который неустанно несли сюда северные ураганные ветры...

Трудно представить современный Баку, например, без трамваев и автобусов, без троллейбусов и массы автомобилей, без метрополитена — с допотопной конкой (в которую иной раз «впрягались» сами пассажиры, чтобы помочь лошади вытащить вагон на горку), или с тоскливым перевозоном колокольцов, прикрепленных к шеям верблюдов, гордо шествующих ленивыми караванами по пустырям,— там, где сейчас так вольготно раскинулись массивы зеленых насаждений и красивых, удобных жилых домов... Трудно представить себе Баку без зелени парков и

садов, бульваров и скверов, без многолюдных стадионов, без фуникулера, без самой обыкновенной канализации и водопровода.

А именно таким утопающим в пыли городом и был Баку в годы моей юности. И все-таки я любил его...

Стоял яркий, солнечный мартовский день, когда наш пароход подошел к бакинской пристани. Сойдя на берег и разместившись на фаэтонах, мы поехали по улицам.

На душе у меня было хорошо. Я радовался, что снова в Баку, на свободе, что скоро опять буду среди своих близких друзей — бакинских коммунистов, рабочих. Но эта радость омрачалась сознанием, что нет уже среди нас Степана, Алеши, Азизбекова, Вани Фиолетова и других погибших товарищей — нет и никогда не будет... Тревожила мысль: «А что нас здесь ожидает? Хотелось поскорее узнать, какая обстановка сложилась за это время в Баку.

Перед нами мелькали знакомые улицы. Все вокруг было таким же, как и несколько месяцев назад, когда мы покидали город. Только значительно чаще попадались на глаза солдаты и офицеры в ладно пошитых английских военных костюмах или в коротких клетчатых пестрых юбках (форма шотландских стрелков), как-то нарочито по-хозяйски прогуливающиеся по улицам города. Горько было сознавать, что кованый сапог английских оккупантов продолжал топтать родную землю...

Получилось так, что после всего пережитого в Закаспии и трудного морского путешествия нам пришлось, как говорится, «с ходу» включиться в бурную революционную работу.

В Баку я остановился в семье моих старых друзей. От них и от подошедших вскоре товарищей я узнал подробности событий, которые произошли здесь за

Продолжение. Начало см. «Юность» за 1967 год, №№ 11, 12; за 1968 год — №№ 1, 2, 5, 6.

те несколько месяцев, что мы скитались по тюрьмам Закаспия.

Выяснилось, что общая обстановка в Баку стала еще более сложной и напряженной. Фактическим хозяином города уже совершенно открыто выступало оккупационное английское военное командование генерала Томсона, под дудку которого плясало и местное реакционное помещичье-буржуазное националистическое правительство Хойского и К⁰. Правда, наряду с этим еще со времен декабрьской (1918) политической забастовки продолжала существовать постоянно действующая легальная организация рабочих — Бакинская Рабочая конференция. К сожалению, в составе ее руководящего органа — Президиума — большинство составляли меньшевики и эсеры. Во главе его стоял способный рабочий Чураев, хороший оратор, который хотя и был меньшевиком, но пользовался у бакинских рабочих доверием — прежде всего из-за своего славного революционного прошлого: он участвовал в восстании на броненосце «Потемкин».

Экономическое положение рабочих, говорили мои друзья, ухудшается буквально с каждым днем.

Дело в том, что азербайджанские капиталисты, воспользовавшись поддержкой местного правительства и английских оккупационных властей, вновь захватили ранее национализированные предприятия и нефтяные промыслы, восстановили там старые порядки и фактически начисто ликвидировали те условия трудового договора, которые с таким трудом были завоеваны бакинскими рабочими еще при правительстве Керенского.

К тому же нефтяная промышленность переживала в ту пору острейший кризис. Добываемую нефть некуда было сбывать. Баку был отрезан от Советской России, а она являлась основным потребителем бакинской нефти. Зарплата рабочих на промыслах снижалась, а дороговизна в городе непрерывно росла. Кризис тяжело ударил и по работникам водного транспорта. Большинство нефтеналивных судов Каспийского флота, предназначенных для транспортировки нефти, бездействовало, было поставлено «на прикол». В городе росла армия безработных. Возмущение среди бакинских рабочих становилось всеобщим.

СПОРЫ О ЗАБАСТОВКЕ

В этих условиях и возник вопрос о рабочей забастовке. На ее проведение настаивали рабочие-нефтяники, рабочие торгового порта, матросы. У них на памяти еще были завоевания бакинской политической забастовки в декабре 1918 года, они надеялись победить и на этот раз. За проведение забастовки высказывались даже представители соглашательских партий; не рисковали выступать против стачки и меньшевики, которые хотя и не верили в успех забастовки, но не хотели идти против рабочих, стараясь сохранить среди них свое влияние.

Примерно за месяц до нашего прибытия в Баку Рабочая конференция приняла решение о проведении всеобщей стачки. Был создан Центральный Стачечный комитет. Все ждали, что этот комитет вот-вот объявит о начале всеобщей забастовки. Слова «забастовка», «стачка» в те дни были самыми популярными среди бакинцев.

Таким образом, приехав в Баку 6 марта 1919 года, мы прежде всего вплотную столкнулись с задачей организации всеобщей рабочей забастовки. В те дни это была проблема номер один.

Вечером того дня, когда мы прибыли в город, состоялось заседание Бакинского комитета партии. Естественно, что основным вопросом, который нам пришлось обсуждать, был вопрос о забастовке: на следующий день (7 марта) созывалось заседание Стачечного комитета, чтобы решить вопрос о сроках ее проведения. В этих условиях нам, большевикам, надо было определить свою позицию.

Мы много спорили, начинать ли забастовку немедленно, или по возможности оттянуть ее. Мне лично казалось, что начало забастовки в реально сложившихся в тот момент условиях было нежелательным и преждевременным. Особенно упорно защищал идею немедленной забастовки Леван Гогоберидзе, член Стакома, представлявший там нашу партию. Он горячо доказывал, что ему, как коммунисту, просто невозможно выступать на заседании Стакома за отсрочку. Он говорил, что все члены Стакома — за немедленное начало забастовки, что рабочие ждут ее со дня на день: чаша терпения у них переполнилась. Из выступлений других товарищей нетрудно было понять мнение большинства членов комитета. Понимая настроения и требования многих бакинских рабочих, они хотели начать забастовку как можно скорее. К тому же они считали себя обязанными проводить в жизнь решение, принятое по этому поводу Бакинской Рабочей конференцией.

Поэтому, когда я — человек «свежий» — стал задавать беспокоявшие меня вопросы, связанные со стачкой, кое-кто из них как-то даже несколько растерялся. Казалось, что эти товарищи попали под холодный душ. А между тем вопросы мои были очень реалистические, вполне «земные».

В ходе прений все мы выступали по нескольку раз. В своих выступлениях я спрашивал, есть ли у моих друзей уверенность в успехе забастовки, учитывая социальные, экономические и другие условия, которые сложились к тому времени в Баку. Не прежде-временно ли идти на забастовку, когда в Президиуме Рабочей конференции и в Стакоме большевики составляют еще незначительное меньшинство? Все ли рабочие пойдут за нами? Пойдут ли капиталисты на то, чтобы хоть частично удовлетворить требования бастующих? Я говорил, что нельзя не учитывать и той опасности, что английское оккупационное командование и реакционное азербайджанское правительство могут подавить забастовку, а заодно разгромить и Рабочую конференцию.

Все эти вопросы мы обсуждали до поздней ночи. В ходе возникших горячих споров мне удалось значительно глубже разобраться в реальной обстановке, а моим товарищам правильно понять мои сомнения и более критически посмотреть на свои собственные позиции.

Всем нам стало ясно — для успешного проведения забастовки необходимые условия еще не созданы. Не вся бакинская партийная организация была к тому времени восстановлена. Еще не на всех крупных предприятиях были созданы партийные ячейки. В Стачечном комитете и Президиуме Рабочей конференции коммунисты не имели большинства.

Бакинские профсоюзы, находясь в руках меньшевиков, были организационно и идеально еще очень слабы, а порой беспомощны.

Без твердого партийного руководства начинать стачку нельзя: меньшевики, эсеры, мусаватисты, дашнаки в ходе забастовки могут капитулировать и провалить все дело.

Мой аргумент состоял еще и в том, что если нам удастся оттянуть забастовку на два-три месяца, то мы не только организационно и политически станем крепче, но изменится вся ситуация: установится

связь с Астраханью, Красный флот сможет выйти из Волги и занять господствующее положение в Каспийском море, оказав соответствующее влияние на ход событий у нас.

Помню, что, взвесив все эти обстоятельства, я внес тогда предложение — сохраняя в силе решение Бакинской Рабочей конференции о проведении забастовки, не торопиться с определением ее конкретных сроков; использовать остающееся время для самой тщательной и всесторонней подготовки забастовки, для укрепления партийной организации, для завоевания большинства в Стачкоме, Президиуме Рабочей конференции, в руководстве профсоюзов; максимально оттянуть срок забастовки до начала речной навигации на Волге, когда нам реально сможет помочь Советский Военно-Морской Флот. Я считал, что тогда забастовка смогла бы стать уже не только экономической, но и политической.

После длительного обсуждения Бакинский комитет партии принял мои предложения. Но возник практический вопрос: как же их реализовать?

Сложность состояла в том, что бакинские рабочие были за проведение стачки. На рабочих собраниях никто не решался даже заикнуться о том, чтобы подождать с забастовкой. Как же нам, большевикам, представителям самой революционной партии рабочего класса, выступать в этих условиях против забастовки и притом выступать так, чтобы рабочие нас правильно поняли?

Сделать это было очень нелегко. Но мы решили преодолеть эту трудность. Мы понимали, что наша главнейшая тактическая задача состоит в том, чтобы изолировать меньшевиков и эсеров в Стачечном комитете и Президиуме Рабочей конференции, добиться руководящего влияния большевистской партии в этих опорных рабочих органах и сплотить вокруг них широкие рабочие массы.

Мы выдвинули тогда идею организации районных рабочих конференций и стачечных комитетов (как филиалов Центрального Стачечного комитета), непосредственно связанных с рабочими на предприятиях.

Наше предложение было дружно поддержано всеми рабочими.

Забегая несколько вперед, хочу сказать, что в течение марта — апреля мы, большевики, входившие в Президиум Бакинской Рабочей конференции, сумели провести большую и весьма плодотворную работу по созданию во всех районах Баку рабочих конференций, их президиумов, стачечных комитетов и значительно укрепить их организационные связи с предприятиями. При этом в руководство президиумов рабочих конференций и стачечных комитетов нам удалось почти повсеместно выдвинуть большевиков и идущих с ними передовых беспартийных рабочих.

Все это не могло не привести к общему укреплению влияния нашей партии на рабочие массы Баку.

Как я уже говорил, на следующий день (7 марта) было назначено заседание Стачечного комитета. Гогоберидзе — единственный представитель большевиков в Стачкоме, спросил у нас, как ему вести себя на заседании комитета, какой тактики придерживаться. Мы поручили ему прежде всего разоблачать двуличную политику меньшевиков и эсеров: с одной стороны, они входят в Стачечный комитет и выступают в нем за проведение стачки, а с другой стороны, ведут закулисные, унизительные переговоры с английским командованием, а также выступают в своих газетах со статьями, подрывающими у рабочих веру в успех забастовки. Гогоберидзе должен был по-

требовать прекращения переговоров с английским командованием, а в случае отклонения этого предложения — покинуть заседание.

Гогоберидзе успешно выполнил это поручение. Меньшевики и эсеры были ошеломлены такой неожиданной постановкой этого вопроса и, боясь, что перерыв в переговорах с английским командованием означает немедленную забастовку, отказались принять ультимативные требования Гогоберидзе. Тогда он демонстративно покинул заседание Стачечного комитета.

БОИ НА РАБОЧЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Оставались считанные дни до 11 марта, дня, на который было назначено заседание Бакинской Рабочей конференции. Мы решили предельно использовать это время для подготовки к предстоящему «сражению» с меньшевиками и эсерами.

Рабочая конференция состояла примерно из 500 делегатов, избранных фабрично-заводскими, промышленными и судовыми комитетами или непосредственно общими собраниями рабочих. Кроме того, семь политических партий, активно действовавших тогда в Баку (большевики, «Гуммет», меньшевики, эсеры, дашинаки и мусаватисты), могли направить на Рабочую конференцию по одному представителю, который имел право, по регламенту конференции, выступить в течение 10 минут.

Обсуждая линию своего поведения на предстоящей Рабочей конференции, мы решили, что в первый же день ее работы поставим перед делегатами несколько принципиальных вопросов. Первый из них касался представителей партий дашинаков и мусаватистов на конференции. Ввиду того, что обе эти партии не являлись рабочими ни по своему составу, ни по программе, мы решили добиться, чтобы представители этих партий были лишены права участвовать на Рабочей конференции. Второй вопрос был связан с Президиумом конференции. Мы решили внести предложение о переизбрании существовавшего тогда состава этого Президиума, поскольку его большинство составляли люди, далекие от действительных интересов рабочего класса, принадлежащие к соглашательским партиям, которым нельзя было доверять.

Мы повели переговоры с представителем «Гуммет» Каравеем, входившим в состав социалистической фракции азербайджанского парламента. Тогда я впервые с ним и познакомился. В 1917—1918 годах он жил в Тифлисе и входил тогда в тифлисский меньшевистский «Гуммет» (большевистского «Гуммет» там не было).

Каравеев оказался политически хорошо настроенным; он согласился с нашей позицией и выразил свою готовность идти с большевиками. Кроме того, он сообщил мне, что его взгляды разделяет и другой гумметист, Гусейнов.

Такие же примерно переговоры состоялись у нас с Бахрамом Агаевым, большевиком, одним из руководителей «Адалет» — партии персидских рабочих. Еще в 1918 году Агаев и его организация были вместе с нами. В нынешних условиях он мог быть нашим надежным соратником.

Условившись обо всем с Каравеем и Агаевым, мы решили выдвинуть их кандидатуры в новый состав Президиума Рабочей конференции. Председателем Президиума Рабочей конференции в ту пору был, как я уже говорил раньше, рабочий Чураев. Мы считали возможным сохранить Чураева в новом составе Президиума в качестве его пред-

седателя. Я имел по этому поводу конфиденциальную беседу с Чураевым, объяснив ему, что мы хотим сохранить его председателем Президиума конференции, при том, однако, условии, чтобы он проводил там не политику меньшевистской партии и указания ее комитета, а решения, принимаемые большинством Президиума Рабочей конференции. Он дал на это согласие. Ему можно было верить.

Сохранение Чураева во главе Рабочей конференции было тогда очень важно еще и потому, что нам надо было оградить конференцию от травли, которую неизбежно организовало бы оккупационное английское военное командование и азербайджанское буржуазное правительство, избери мы руководителем Президиума Рабочей конференции какого-нибудь видного большевика. Оставление же на этом посту Чураева вносило известное « успокоение ». Через него нам было во много раз легче вести переговоры и с английским командованием и с местным правительством: они к нему уже успели привыкнуть.

Кроме того, Чураев мог оказаться очень полезным нам для дальнейшего привлечения рабочих, и прежде всего меньшевистски настроенных рабочих: мы ни на минуту не забывали о необходимости борьбы и за эту часть бакинского пролетариата.

Из эсеров мы решили поддержать кандидатуру Ильина. Это был «случайный» эсер, скорее он принадлежал к передовым интеллигентам-народникам. Во всяком случае, человек он был вполне порядочный. Мы поставили перед ним те же условия, что и перед Чураевым. Он охотно их принял.

Помню, что, обсуждая все эти кандидатуры, мы думали и о том, чтобы впоследствии перетянуть этих людей полностью на свою сторону. С Чураевым так вскоре и произошло: он вступил в большевистскую партию. Ильин в партию не вступил.

В состав членов Президиума конференции были намечены также кандидатуры: молодого коммуниста Левона Мирзояна, который в то время был членом Бакинского Совета профсоюзов и входил в новый состав Бакинского комитета партии, а также беспартийного рабочего Ковала, который очень хорошо зарекомендовал себя на посту председателя Бакинского Совета профсоюзов и пользовался большим авторитетом у рабочих (через год Коваль вступил в ряды Коммунистической партии). Кроме того, кандидатами в члены Президиума нами были намечены еще три товарища, в их числе два большевика: Леван Гогоберидзе и Иван Анашкин.

Таким образом, по нашему проекту из десяти членов и кандидатов в члены Президиума шестеро были большевиками, один прымкающий к ним беспартийный, два эсера и один меньшевик.

Такой состав вполне обеспечивал нам необходимое большинство в руководстве Бакинской Рабочей конференцией.

К открытию Рабочей конференции собралось немногим больше 300 делегатов. Когда председательствовавший Чураев объявил об открытии конференции, поднялся представитель партии мусаватистов и заявил, что заседание нельзя признать правомочным, так как присутствует неполный состав делегатов.

Председательствующий и некоторые делегаты выступили с обоснованным протестом против этого заявления. Подавляющим большинством голосов конференция была признана правомочной, и ее работа началась.

Первым выступил от большевиков Леван Гогоберидзе — о порядке ведения заседания. Прежде всего он потребовал лишить права присутствовать и вы-

ступать на конференции представителей партий дашнаков и мусаватистов, как представителей буржуазно-националистических партий. При этом он добавил, что тем рабочим и служащим, которые выбраны делегатами на конференцию, принадлежность к этим партиям не должна мешать при выполнении их делегатских обязанностей. Таким образом, самих делегатов, примыкающих к партиям дашнаков и мусаватистов, Гогоберидзе не отводил.

Это предложение было принято конференцией. Представители партий дашнаков и мусаватистов покинули заседание Рабочей конференции.

Так была одержана наша первая победа. Предстояли еще очень сложные бои.

Бакинский комитет партий поручил мне выступить на конференции с большой программной речью от большевиков. Я должен был подробно рассказать об обстоятельствах гибели бакинских комиссаров и разоблачить при этом не только гнусную роль английского командования, но и подлог лиц эсеров, меньшевиков и дашнаков, чтобы подготовить обстановку, при которой будет легче изгнать представителей этих партий из Президиума Рабочей конференции.

Надо сказать, что бакинские рабочие толком еще не знали, как произошла кровавая трагедия с их комиссарами и кто был подлинным ее виновником; их всячески обманывали лидеры соглашательских партий, взваливая всю вину только на англичан и умалчивая об ответственности их партий.

По установленному регламенту наряду с представителями других партий я мог говорить лишь 10 минут. Зная настроение большинства делегатов конференции, Гогоберидзе выступил от имени Бакинского комитета партии большевиков с предложением, чтобы мне, только что вернувшемуся из тюрьмы, где я находился вместе с бакинскими комиссарами и, следовательно, был в курсе всех событий, дали для выступления не 10 минут, а полчаса. Самая мотивировка предложения Гогоберидзе вызвала большой интерес делегатов конференции, которым надоели скучные выступления представителей соглашательских партий.

Раздались дружные голоса: «Дать, дать! Не надо его ограничивать во времени!» Предложение «не ограничивать во времени» было принято подавляющим большинством делегатов конференции. Это решение само по себе оказалось уже первым серьезным ударом по меньшевикам и эсерам.

Прежде чем перейти к изложению политической обстановки и задачам, стоящим перед бакинским пролетариатом, я остановился на обстоятельствах временного падения Советской власти в Баку и трагической гибели 26 бакинских комиссаров. Я разоблачил предательскую роль партий эсеров, меньшевиков и дашнаков, которые нанесли удар в спину Советской власти, став на сторону англичан, и указал на них, как на подлинных виновников — наряду с английским командованием — гибели наших товарищей. Когда я заявил, что «руки господ лидеров меньшевиков и эсеров, сидящих в этом зале, обагрены кровью бакинских комиссаров», — это вызвало большое волнение среди делегатов. Все встали с криками: «Палачи! Позор! Долой эсера, меньшевика и дашнаков!» Я заметил, что при этом лица многих меньшевиков покрылись смертельной бледностью. Они были буквально раздавлены всеобщим гневом и возмущением делегатов.

Потом я перешел к анализу обстановки, создавшейся в Баку, в свете общего положения, в котором тог-

да находилась Советская Россия, и стал говорить о задачах, стоящих перед бакинским пролетариатом.

В ту пору у нас, большевиков, не было еще в Баку своей газеты. Эсеровская же газета «Знамя труда», умолчав о самой политически острой части моего выступления (которое продолжалось около часа), опубликовала краткое изложение моего выступления. Привожу публикацию этой газеты полностью:

«Российский пролетариат является отрядом мирового пролетариата, борется за то, чтобы уничтожить класс угнетателей, чтобы установить справедливый строй; застрельщиком этой борьбы является партия коммунистов. Лозунги партии коммунистов являются лозунгами международного пролетариата. Пролетариат идет по пути классовой борьбы. Советская власть за полтора года показала мировому пролетариату, что можно установить справедливый строй; она борется с контрреволюционерами и будет бороться с ними. Пример российского пролетариата заставил и на Западе сделать то же, что делает у нас Советская власть,— как, например, разгон германского Учредительного собрания. Дело революции идет успешно, и близна мировая революция. Если российские рабочие борются на Мурмане с англичанами, то бакинские рабочие не могут не быть врагами англичан здесь. Бакинский пролетариат является отрядом мирового пролетариата, и не при помощи разговора с английским командованием можно одержать победу. Мы можем победить лишь при помощи испытанного средства — забастовки. Стачечный комитет не оказался на высоте своего положения. Вместо активной борьбы Стажком согласился на уничижительные переговоры с генералом Томсоном. Меньшевики на заседании Стажкома вели себя изменнически. Они в своих газетах пишут против забастовки, подготавливая этим почву для провала забастовки, унижая достоинство рабочих и подготавливая лишь поражение.

— Какова должна быть наша политика? Прав был товарищ Чураев, сказав, что лучше быть побежденным в неравной борьбе, чем сдаться без борьбы. Коммунисты поддерживают требование забастовки, но думают, что забастовка пройдет только тогда, когда будет организованность.

Предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. И на это надо смотреть серьезно. Пусть лучше будет меньше солдат в нашей среде, но чтобы эти солдаты были преданы делу рабочих. И с этими солдатами мы можем смело идти в бой.

Я полагаю, что данный Стачечный комитет должен быть переизбран. Туда не должны войти люди, которые скомпрометировали себя уничижительными переговорами с генералом Томсоном.

Также необходимо переизбрать президиум конференции. Только при таких условиях мы можем одержать фактическую и моральную победу».

После меня слово было дано представителю меньшевиков Рохлину, который, рьяно выступая против меня, назвал мою речь провокационной, угрожающей расколом рядов рабочих, их разложением и т. п. Все это он говорил с обычной для меньшевиков болтливостью. Нужно сказать, что вначале аудитория слушала Рохлина довольно спокойно, но постепенно стало чувствоваться недовольство делегатов, с мест все чаще стал доноситься шум. Один из делегатов крикнул председателю: «Держитесь регламента, время вышло!» Председательствующий вынужден был поставить на голосование просьбу Рохлина о продлении ему регламента. Конференция подавляющим большинством отвергла эту просьбу. В момент голосования Рохлин, разгоряченный, снял пиджак, будучи уверен, что ему продлят время для выступления: видимо, он готовился к «большому бою». Однако собрание, не желая его слушать, отвергло и второе предложение председателя — дать возможность Рохлину закончить свое выступление. Весь в поту, разбитый и жалкий, Рохлин вынужден был вновь надеть пиджак и удалиться...

«Сюрпризом» для меньшевиков и эсеров явились результаты обсуждения на конференции вопроса о стачке. От большевиков по этому вопросу выступил Гогоберидзе с заявлением приблизительно такого

содержания: «Ввиду того, что Центральный Стачечный комитет в большинстве своем состоит из меньшевиков и эсеров, которые, с одной стороны, ведут закулисные переговоры с английским командованием, а с другой стороны, на страницах своей прессы доказывают невозможность всеобщей забастовки, тем самым идя на срыв и поражение забастовки, фракция большевиков была вынуждена уйти с заседания Стачечного комитета.

Мы заявляем Рабочей конференции, что до тех пор, пока Стачечным комитетом руководят меньшевики и эсеры, — партия большевиков будет выступать против всякой забастовки под руководством такого Стажкома. Пока в нашем боевом штабе сидят агенты буржуазии, заигрывающие с английским военным командованием, всякие забастовки являются провокацией. Поэтому фракция большевиков требует немедленных перевыборов Стачечного комитета и удаления оттуда меньшевиков и эсеров».

Вокруг заявления Гогоберидзе разгорелся бой.

В конце концов конференция большинством голосов приняла наше предложение об избрании нового состава Президиума Рабочей конференции и поручила Президиуму образовать Центральный Стачечный комитет в составе всех членов Президиума конференции, а также введя в него по два представителя от каждого района. Персональным голосованием каждого кандидата предложенный нами список членов Президиума конференции был полностью принят. В новый состав Президиума наряду с другими товарищами был избран и я.

На заключительном заседании, по предложению ряда делегатов, Бакинская рабочая конференция единогласно постановила — послать приветствие Конгрессу Третьего Коммунистического Интернационала, который проходил в то время в Москве, и пожелать ему плодотворной работы и успехов в деле победы труда над капиталом.

Факт этот сам по себе был весьма знаменателен. Товарищи бакинцы рассказывали мне, что еще в середине января на заседании Рабочей конференции, по предложению меньшевиков (при протестах коммунистов), большинством в две трети голосов было принято решение послать приветствие Бернскому конгрессу Второго Интернационала. И вот прошло каких-нибудь два месяца, и та же конференция, давляющим большинством приветствует Третий, Ленинский, Коммунистический Интернационал!

Помню, все это произвело на меня огромное впечатление. Я думал о том, как же выросло политическое сознание бакинских рабочих, как высоко поднялся их боевой революционный дух, как укрепилась их вера в свои собственные силы и в нашу Коммунистическую партию!

Невольно вспомнился Степан Шаумян. Еще в тяжелые дни временного падения Советской власти в Баку он с необыкновенной уверенностью говорил о том, что бакинские рабочие очень скоро убедятся на жизненном опыте, в какую пропасть тащат их все эти правые соглашательские партии.

Он оказался прав.

О том, как политически прозревали бакинские рабочие, свидетельствует и такой факт. Еще в декабре 1918 года, выступая на Бакинской Рабочей конференции, рабочий завода «Электросила» говорил: «...Мы призывали англичан для порядка, а они нас душат. Мы ошиблись, когда, веря в демократичность английской нации, думали, что приход англичан будет днем расцвета истинного демократизма в России... Я предлагаю, товарищи, завтра все застопорить, а водный транспорт отправить за большевиками в Астрахань».

Это выступление было встречено долго не смолкавшими аплодисментами делегатов конференции. Рабочий «Электросилы» очень точно отразил общее отношение рабочих делегатов к английским оккупантам. Простой рабочий, ранее выступавший вопреки позиции большевиков — за приглашение англичан, — под воздействием реальных политических фактов коренным образом изменил свое мировоззрение. А ведь Рабочая конференция в декабре 1918 года проходила под руководством меньшевистских лидеров; от большевиков на ней выступал только один — рабочий Анашкин, член Бакинского комитета нашей партии.

Выступление представителя «Электросилы» прозвучало для эсеро-меньшевистских лидеров, как гром среди ясного неба. В газете «Известия Стакчома» они вынуждены были сказать по этому поводу следующее:

«На последней Рабочей конференции один из ораторов обмолвился, что надо послать водный транспорт за большевиками, причем его наградили аплодисментами. Почему бы это? Почему аплодировали тому, что несколько месяцев назад встретили бы шиканьем и свистками? Да очень просто. Наши иностранцы-губернаторы делают все от них зависящее, чтобы оправдать положение, высказанное большевиками относительно их. И как бы по существу ни неприемлемы остальные положения большевизма, но справедливость их суждения о роли и задачах «союзников» возвращается к ним симпатии некоторой части рабочих масс. Знатные иностранцы явились к нам, чтобы заарестовать анархобольшевизм, а на деле занимаются совсем другим... Не лучше ли было бы им, этим лучшим агитаторам за дело большевизма, сказать прямо, чью работу они делают — дело демократии, дело анархии, или дело мировой реакции?.. Мы это знаем, но пусть это не будет секретом и для других».

Все эти вольные или невольные признания отражали процесс окончательного прозрения большинства бакинских рабочих, в том числе и тех, кто ещешел, скорее по инерции, за меньшевиками и эсерами. Сама реальная жизнь ежедневно давала рабочим материал для такого прозрения.

Взять хотя бы факты преступной, предательской деятельности, которую в период английской оккупации проводило азербайджанское буржуазно-помещичье правительство Хойского и К°. На какую бесстыдную ложь и жульнический обман народа оказалось способным это «правительство», видно хотя бы из того «Объявления», которое оно опубликовало после второго прихода оккупантов в Баку:

«К населению гор. Баку.

В результате переговоров между азербайджанским правительством и представителем союзных войск в Энзели генералом Томсоном, достигнуто соглашение, в силу которого сегодня, 17-го ноября, утром в столицу Азербайджана вступит отряд союзных войск во главе с генералом Томсоном.

Это вступление союзного отряда не является враждебным актом, могущим нарушить независимость и территориальную неприкосновенность Азербайджана.

Все государственные и общественные учреждения будут функционировать нормально, как и раньше.

Правительством приняты все меры для поддержания порядка в городе.

Правительство призывает всех граждан к сохранению спокойствия и порядка, а также дружественной встрече союзного отряда.

Председатель Совета министров
Ф. Х. ХОЙСКИЙ

Министр внутренних дел
Б. ДЖЕВАНШИР».

Конечно, господа Хойские прекрасно знали, на каких условиях пришли эти «спасители»-англичане. Не случайно они посыпали своего представителя к англичанам в Энзели, где у них все было заранее обусловлено. Англичане брали под свой непосредствен-

ный контроль весь водный и железнодорожный транспорт, нефтяную промышленность, государственный банк. Все это делалось без малейшей видимости хотя бы косвенного участия азербайджанского правительства в управлении. Более того, генерал Томсон своим приказом определил распорядок всей жизни бакинского населения.

Во всех документах нет даже упоминания об Азербайджане и его правительстве. И это делалось не при протестах и возражениях азербайджанского правительства, а с его полного одобрения.

Трудно представить себе более низкое моральное падение! Ложь и обман этого правительства, антинародный режим оккупантов постепенно раскрыли глаза рабочему классу Баку, вызвали у него бурю гнева и возмущения и в декабре 1918 года привели ко всеобщей политической забастовке.

Для бакинских рабочих все это было отличной школой классовой борьбы и роста их политического самосознания.

Перед заседанием Президиума Рабочей конференции состоялось заседание Бакинского комитета партии. На этом заседании был предварительно рассмотрен вопрос о распределении обязанностей в Президиуме Рабочей конференции, которое впоследствии и утвердило Президиум.

Рассматривался также вопрос о нашей тактике в связи с тем, что с отдельных предприятий поступали все новые и новые сведения о порыве рабочих все же начать забастовку немедленно. Мы решили всемерно препятствовать этому стихийному движению. Вместе с тем мы видели, что между нашей недостаточной организационной подготовленностью и нарастающим стихийным стремлением масс к борьбе образуется все больший и больший разрыв, что находит применение экстренные меры и в первую очередь срочно создавать и укреплять партийные организации в районах. Мы решили, чтобы Саркис Мамедьяров, Чикарев, Тюхтенев, Касумов, Плешаков и Якубов сосредоточили свои усилия на ведении нелегальной партийно-организационной работы, и в связи с этим запретили им проявлять активность в легальной работе. Были утверждены ответственные парторганизаторы по районам, а также определены формы сочетания легальной и нелегальной партийной работы. Мы понимали, что организация партийной работы и все наши связи должны быть строго законспирированы и что в случае провала легальных партийных работников нелегальная организация должна оставаться в неприкосновенности. Одна из первоочередных задач партийно-организационной работы заключалась тогда в том, чтобы собрать воедино всех коммунистов, которые в силу ряда обстоятельств еще не приобщились к активной партийной работе. По нашим подсчетам, таких коммунистов в Баку было не менее 200—300.

Вторая задача состояла в том, чтобы смело вовлекать в ряды партии беспартийных рабочих, а также бывших эсеров, которые за последнее время показали себя стойкими борцами против английской оккупации и активно участвовали в стачках.

Предметом особого обсуждения Президиума был вопрос о работе среди рабочих-азербайджанцев. По этому вопросу было решено созвать специальное совещание с участием Караева, Гусейнова и Агаева.

Комитет рассмотрел также конкретные предложения, связанные с более активным участием коммунистов в выдвижении кандидатур в руководящие органы районных рабочих конференций и стачкомов.

На другой день после Рабочей конференции мы собирались на первое заседание нового состава Президиума. Как и было предусмотрено Бакинским ко-

митетом партии, председателем Президиума был избран Чураев; меня и эсера Ильина избрали товарищами председателя. Мы сразу же и очень единодушно договорились о том, что председатель Президиума самостоятельно не будет принимать каких-либо решений без предварительного обсуждения с членами Президиума. Договорились и о том, что в случае ареста кого-либо из членов Президиума на место выбывшего автоматически заступает один из имеющихся трех кандидатов в члены Президиума, а в случае ареста председателя или товарища председателя их места занимают соответственно Гогоберидзе и Анашкин.

Надо сказать, что поведение нефтепромышленников, азербайджанского буржуазного правительства и английского оккупационного командования в отношении рабочих к тому времени стало носить все более провокационный характер. Промышленники не только отклоняли справедливые требования рабочих об улучшении условий их труда, но перестали платить им полагающуюся заработную плату.

Обстановка накалялась.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАЧЕЧНОМ КОМИТЕТЕ

15 марта собрался Центральный Стачечный комитет совместно с районными стачками. Представители районов рассказали о нетерпимом положении, которое создалось на предприятиях, о том возмущении, которым охвачены рабочие массы.

Представитель нефтеперерабатывающего предприятия Нобеля (в Черном городе) заявил, например, о том, что они уже начали забастовку и не прекратят ее до тех пор, пока рабочим не будет выплачена заработка плата. Ряд выступавших осуждал нобелевцев за такое сепаратное выступление, но вместе с тем предлагал, чтобы в случае неуплаты зарплаты рабочим в ближайшие два-три дня начать общую экономическую забастовку.

«Левее» всех оказался Ильин. Хотя он и отрицательно отнесся к сепаратному выступлению нобелевцев, но наряду с этим сам предложил, чтобы в предстоящей забастовке вместе с экономическими были выставлены и политические требования.

От большевиков выступили Гогоберидзе и Мирзоян. Они возражали против смешения экономических и политических требований и присоединились к тем, кто предлагал объявить всеобщую экономическую забастовку, если рабочим в течение двух-трех дней не будет выплачена зарплата.

Выступили также приглашенные на заседание Стажекома социалисты — члены азербайджанского парламента Абилов и Пипинов. Они решительно высказались против политической забастовки, но поддержали требование забастовки экономической. Убедительно говорили они о том, что задержка с выплатой зарплаты рабочим есть не что иное, как очередная интрига английского командования. В частности, Пипинов сообщил, что англичане взяли из банка на свои нужды 100 миллионов рублей, и в результате в банке не осталось денег для выплаты зарплаты рабочим.

Положительное отношение Пипинова и Абилова к экономической забастовке имело в тот момент существенное значение: оно способствовало уменьшению колебаний среди части рабочих-азербайджанцев (находившихся тогда еще под влиянием муса-

ватистов) и содействовало их сплочению со всеми остальными рабочими Баку.

Некоторое представление о спорах, проходивших на заседании Центрального Стачечного комитета, даёт сохранившаяся в архиве краткая запись одного из моих выступлений:

«МИКОЯН. Указывает, что задержка выпуска бон и выплаты жалованья вызвана именно английским командованием. Оно, видя, что бакинский пролетариат готовится к серьезному политическому бою, начиная с 7 по 17 марта нарочно не выдавало жалованья рабочим, с целью сорвать политическую забастовку Рябушинский, задушить революционное движение в Баку. Все это было известно и всемерно поддерживалось такоже азербайджанским правительством и нефтепромышленниками. Противодействуя всем этим интригам объединенной контрреволюции, мы не должны поддаваться их провокации и выступать тогда, когда им нужно. Но все-таки мы стоим перед фактом стихийной экономической забастовки нобелевцев. Сиюлька бы ни осуждали сепаратное выступление нобелевцев, нельзя отрицать, что у нобелевцев достаточно революционной энергии и внутренней «нобелевской» организованности, хотя и без тесной связи со всем бакинским пролетариатом, и что они целых 4 дня ждали от Совета профсоюзов ответа, но не дождались. Предлагаем всем товарищам отнести к этому важному вопросу серьезно и хладнокровно и не переводить его в область чести и самолюбия тех или других. Я высказываюсь категорически против предложения Ильина об объявлении экономической и политической забастовки одновременно. В данный момент, когда рабочий голодает, возможна только экономическая забастовка.

Но если возможно, мы должны избежать этой забастовки, так как перед нами стоит борьба за коллективный договор. Надо добиться путем ультимата немедленной выплаты жалованья. Должна быть создана конференция, и только в случае невыплаты зарплаты следует объявить общую экономическую забастовку...»

Соответствующее предложение, внесенное большевиками, было принято Стачечным комитетом.

Все это немедленно дало свои результаты. Азербайджанское правительство сразу же известило Президиум Рабочей конференции о том, что им приняты экстренные меры по обеспечению выплаты заработной платы. И действительно, вскоре зарплата была выплачена.

Через три дня состоялось экстренное заседание Президиума Рабочей конференции.

После заседания письма азербайджанского правительства о том, что большая часть денег на заработную плату рабочим уже переведена, а остальная часть будет полностью переведена в ближайшее время, Президиум принял решение общую забастовку не объявлять, но начавшиеся местные забастовки не прекращать до полной выплаты рабочим заработной платы. Вскоре этот конфликт был ликвидирован.

На этом заседании Президиума обсуждался также вопрос о коллективном договоре между профсоюзным союзом и нефтепромышленниками. Докладчик по этому вопросу — Ковалев — говорил о больших разногласиях, возникших во время переговоров между профсоюзами и нефтепромышленниками. Из 49 пунктов требований нового договора нефтепромышленники приняли только 7. Президиум решил — до окончательного подписания проекта коллективного договора вынести его на широкое обсуждение рабочих бакинских предприятий.

В ходе заседания мною было внесено еще одно предложение — об издании газеты «Известия Рабочей конференции» на русском и тюркском (азербайджанском) языках. Предложение было принято.

В тот же день все эти вопросы, рассмотренные на

Президиуме, были представлены на утверждение экстренно созванной Бакинской Рабочей конференции, которая полностью одобрила деятельность своего Президиума, Центрального Стачечного комитета и утвердила все принятые нами решения.

ПАМЯТИ БОРЦОВ

Через два дня, 20 марта, исполнялось шесть месяцев со дня трагической гибели 26 бакинских комиссаров. В связи с этим Бакинский комитет партии внес на обсуждение Рабочей конференции предложение— объявить день 20 марта днем траура, провести в этот день однодневную забастовку, а также митинги и собрания, посвященные памяти погибших товарищей. Конференция единодушно приняла это предложение.

В тот же день Президиум Бакинской Рабочей конференции принял обращение ко всем бакинским рабочим, которое заканчивалось призывом:

«Товарищи рабочие! Сегодня мы все, как один, должны заявить гнусным палачам, подлым изменникам, всем явным и тайным врагам пролетариата, что от грязных рук палачей пали наши вожди — великие борцы. Они пали, но их память вечно жива в наших сердцах, и святое дело их не умерло. Оно разрослось, приняло более широкие, могучие размеры, как наилучший способ увековечения их памяти. Мы будем теснее сплачиваться, энергичнее бороться за них и наши общие идеалы.

Пусть сегодняшний наш протест против международных империалистов послужит венком на свежих могилах павших борцов.

Дадим, товарищи, святую клятву, что так же самоотверженно и преданно будем продолжать ту борьбу, на терновом пути которой геройски пали наши вожди и товарищи!

Вечная память павшим борцам!»

Центральный Стачечный комитет объявил порядок проведения однодневной забастовки. Предусматривалось, что 20 марта прекратят работу все предприятия Баку, за исключением водопровода, больниц, аптек, телеграфа, части пекарен, а городская электростанция будет работать только вечером.

Бакинский комитет партии подготовил и издал большим тиражом специальный номер однодневной газеты, посвященной памяти погибших бакинских комиссаров. В подготовке этой газеты я принял непосредственное участие.

В большой статье, написанной тогда мною для этой газеты, подробно освещались события, связанные с гибелю бакинских комиссаров, и разоблачалась преступная, предательская роль в этом злодеянии лидеров бакинских правых партий, эсеров, меньшевиков и дашиаков.

«Ровно полгода тому назад,— писал я в этой статье,— в пустынной степи Закаспия, далеко от людских глаз, совершилось величайшее злодеяние. Кучкой контрреволюционных бандитов, без суда и следствия, по одному молчаливому жесту главарей южно-российских контрреволюционных шаек, были зверски расстреляны и растерзаны великие вожди партии коммунистов на Кавказе, руководившие революционным движением бакинского пролетариата в течение десятков лет. Трусливые преступники и подлые изменники с бесчеловечной жестокостью подвергли безоружных героев во время страшной казни невообразимым пыткам и грязным издевательствам. Равнодушными свидетелями этой гнусной, кошмарной трагедии были лишь безмолвная степь да бледная луна, освещавшая эту дикую расправу с великими носителями святых идей.

Сегодня, в день памяти геройски павших товарищ, бакинский пролетариат должен отложить всякую другую работу, все другие думы и с величим торжеством отметить светлую память своих павших вождей... Сегодня весь бакинский пролетариат должен проявить свою величайшую ненависть и презрение к наглым империалистам и их подголоскам. Он должен гордо и смело заявить во всеуслышание, что слова и деятельность его великих вождей не остались «гласом вопиющего в пустыне», а глубоко про никли в души и сознание широких масс пролетариа-

та, революционизируя и воспитывая их в духе коммунизма.

Да, мировые хищники империалисты, зверски расстреляли великих членов пролетарской коммунистической семьи, думали этим обезглавить рабочую массу. Но они ошиблись в своих расчетах, ибо пролетарскую семью обезглавить нельзя, ибо каждый член нашей великой Коммуны сам по себе, по природе своей — вождь и стойкий боец. Наши руководители ушли от нас — мы будем заменять их. Они боролись до конца своей жизни, и мы будем бороться до окончательного уничтожения власти наших трусливых врагов. Умерли они, да здравствуют они!»

Этот номер газеты стал гневным обвинительным актом, изобличающим зверское лицо английских оккупантов и их подручных — правые социалистические партии. Он доносил до каждого честного трудающеся большевистскую правду, вдохновляя на самоотверженную борьбу за великое дело коммунизма.

По существу, широкие массы бакинского пролетариата именно из этой газеты узнали все кошмарные подробности гибели бакинских комиссаров, узнали об истинных виновниках этой гибели: ведь мое выступление — неделей раньше, на заседании Рабочей конференции — было опубликовано без этой части и о нем знали лишь делегаты конференции и те немногие рабочие, которым они успели о нем рассказать.

Рабочие Баку дружно поддержали призыв нашей партии о проведении 20 марта однодневной забастовки. Почти на всех бакинских предприятиях рабочие в этот день была прекращена.

Город бурлил. Повсеместно шли многолюдные митинги. Выступали члены Бакинского комитета партии, делегаты Бакинской Рабочей конференции, передовые рабочие.

На улицах, в театрах, в столовых — всюду, где только могли собраться рабочие, они демонстрировали свое единство, солидарность, доверие к руководству Рабочей конференции и в конечном результате — к нашей большевистской партии.

Характерно, что ни английское оккупационное командование, ни местное азербайджанское правительство не осмелились чинить какие-либо препятствия проведению забастовки и митингов.

Мне довелось в тот день выступить в Черном городе, в столовой Нобеля. Столовая вмещала около тысячи человек. После наших речей выступали рабочие. При рассказах о том, как погибли бакинские комиссары, многие рабочие плакали. Чувствовалось, что гибель комиссаров рабочие воспринимали как свое величайшее горе. Мне помнится выступление одного старого рабочего, который сказал: «В смерти наших вождей мы должны винить самих себя: мы сами их не отстояли». Он напомнил митинг накануне падения Советской власти, 25 июля 1918 года. В этой самой столовой, при такой же массе рабочих, выступал в последний раз Алеша Джапаридзе. Старик вспомнил, как ему не давали говорить: «Мы отчаялись и разуверились тогда в способности Советской власти отстоять Баку, поддались обману эсеров и меньшевиков и голосовали за англичан, против наших вождей. Да, мы виновники их смерти, правда, слепые виновники. Но когда мы проснулись, когда мы прозрели, наших руководителей уже нет в живых. Своей смертью они раскрыли наши глаза и проложили нам путь борьбы. Так искупим свои грехи непоколебимой верой в то знамя, под которым они пали». Это выступление произвело огромное впечатление на всех.

После окончания митинга я направился в Маиловский театр, где тоже выступил на массовом митинге.

Театр был переполнен. На улице стояла большая толпа рабочих, которые никак не могли проникнуть в театр; вопреки объявленному плану, люди стихийно стекались сюда из других районов города. Прилегающие улицы были запруженены народом. Помню, я с трудом добрался до театра.

Митинг был здесь в полном разгаре. Собравшиеся рабочие были настолько возбуждены, что мне сперва показалось: вот-вот руководство митингом вырвется из наших рук. Возбуждение достигло высшего предела, когда один из выступавших водников сообщил, что прямые убийцы Шаумяна, Джапаридзе и других комиссаров — Дружкин и Алания — доставлены английским военным командованием в Баку для дальнейшего следования через Батум в Англию и в данный момент находятся на пароходной пристани. Тысячеголосый митинг загудел. Раздались голоса, предлагающие идти к зданию английского военного командования — требовать выдачи убийц, а в случае отказа — разгромить здание.

Поняв, что такой необдуманный стихийный порыв неизбежно закончится бесплодным кровопролитием и разгромом наших сил (ибо английскому 15-тысячному гарнизону не стоило большого труда расстрелять безоружную рабочую демонстрацию), мы, члены Бакинского комитета партии, находившиеся в театре, решили воспрепятствовать этому опасному шагу. От имени Бакинского комитета мы твердо заявили, что такое выступление будет выгодно только нашим врагам. Прольется рабочая кровь, а цели мы не достигнем. Мы говорили и о том, что павшие товарищи, память которых мы чтим сегодня, всегда были противниками такой неорганизованной борьбы рабочего класса. Мы предложили послать делегацию от участников митинга к английскому командованию с требованием выдать убийц для проведения над ними законного суда, а кроме того, организованно пройти массовой демонстрацией по главным улицам Баку, чтобы показать и свою мощь и свою ненависть к врагам рабочего класса.

Хотя многих все еще не оставляла мысль о «споконде» на английский штаб, митинг принял наше предложение. Кто-то из водников под одобрение всех присутствующих предложил, что если англичане захотят переправить Дружкина и Алания в Персию, то рабочие-водники должны отказаться их везти. О том же самое заявили и железнодорожники.

Делегация к английскому командованию была выделена и послана, а участники митинга, вместе со скопившимися на улицах тысячами рабочих, внушиительной демонстрацией, с пением революционных песен прошли по улицам Баку к рабочему клубу — резиденции Рабочей конференции и ее Президиума. Мне запомнился один характерный случай. Когда мы шли по улицам со снятыми шапками и пели «Вы жертвою пали», глазевшая на нас со стороны публика была вынуждена снимать шапки. Один белогвардейский офицер стоял на тротуаре и смотрел на проходящие колонны демонстрантов, не снимая фуражки. Раздались десятки голосов: «Шапку долой!» Офицер был смущен, однако фуражку не снял. Тогда последовал еще более грозный окрик. Поняв, что ему грозит опасность быть растерзанным толпой, офицер все же был вынужден снять фуражку.

Демонстрация мирно прошла по всем главным улицам города, дошла до рабочего клуба, где был проведен митинг.

Интересно, что железнодорожники сдержали свое слово: они аккуратно проверяли все составы поездов, чтобы не пропустить Дружкина — этого главного организатора расстрела комиссаров — и Алания, производившего их арест в Красноводске.



С. Г. Шаумян.

Английское командование отказалось их выдать. Испугавшись, чтобы Дружкина и Алания не растерзали в поезде, англичане все же перехитрили нас и, как нам потом стало известно, отправили их на броневомobile — через Шемаху на станцию Аджикаул, где железнодорожники их не ожидали. На этой станции им удалось посадить Дружкина и Алания в поезд незамеченными и отправить в Батум.

20 сентября 1968 года исполняется пятьдесят лет со дня гибели бакинских комиссаров. И хотя в своих воспоминаниях я уже довольно много рассказывал о них, мне хочется в связи с этой полувековой датой вновь вернуться к дорогим именам.

Время не стерло да и не может стереть в благодарной памяти народа светлые образы этих бесстрашных Рыцарей Революции. Нельзя забыть дела и саму жизнь этих людей — героическую, полную революционного накала, насыщенную борьбой и так беззаветно отданную на заре нашей победы, во имя грядущего торжества великих идей коммунизма.

Не могу не вспомнить вновь Степана Шаумяна. Сколько нереализованных человеческих возможностей ушло вместе с ним! Когда он погиб, ему было всего лишь сорок лет; для крупного государственного и политического деятеля — это лишь начало активной жизни. А Степан был богато наделен для такой жизни самыми разными талантами: образованный марксист, выдающийся организатор, блестящий оратор, человек идеально непоколебимый, решительный, смелый, принципиальный в политике и вместе с тем очень гибкий в вопросах стратегии и тактики классовой борьбы. Не случайно великий Ленин, который, как известно, не был излишне щедр на похвалы, писал в 1918 году Шаумяну: «Мы в восторге от вашей твердой и решительной политики...» В некоторых тогдашних газетах Шаумяна иначе и не называли, как «кавказский Ленин». И в этом было немало правды.

Шаумян счастливо соединял в себе высокие достоинства профессионального революционера с мягким, чистым, честным и каким-то по-особому очаровательным характером. Он располагал к себе каждого честного человека, с ним было легко, под его руководством каждый мог найти применение своим силам. Перед ним не только преклонялись



П.-Джапаридзе.



М. Азизбеков.



И. Фиолетов.



Я. Зевин.



Г. Корганов.



И. Малыгин.



Г. Петров.



А. Амирян.



М. Везиров.



В. Полухин.



С. Осепян.



Б. Авакян.



И. Габышев.



А. Борян.



М. Басин.



Э. Берг.



Ф. Солнцев.



А. Костандян.



М. Коганов.



С. Богданов.



И. Николашвили.



А. Богданов.



И. Метакса.



Т. Амиров.



И. Мишне.

единомышленники и друзья; его уважали идеиные противники и даже открытые враги.

Отмечая первое полугодие со дня гибели Степана, я писал о нем в 1919 году в газетном листке, специально изданном Бакинским комитетом партии в память погибших бакинских комиссаров:

«...Сколько горечи ни причиняли ему грязные потоки лжи и клеветы, пущенные в ход газетами «Бюллетень Диктаторы», «Вперед», и другие провокационные и просто хулиганские выступления проходимцев пе-чальной памяти Садовского и других, их открытые, наглые призыва к погрому и самосуду над большевиками,— он всегда одерживал верх над бурными взрывами негодования и ненависти к этим обнаглевшим хамам, выброшенным волнами человеческого моря вместе с грязью и сором на берег бакинской жизни и оказавшимся на час у власти. Он говорил мне на свидании в Байловской тюрьме: «Ты не очень поддавайся чувству возмущения и удерживай себя. Не забывай, что все это временно, что править, вести за собой массу наглой ложью и клеветой можно день, два, но не больше. Скоро откроется настоящая правда, и тогда одержанная таким подлым способом победа сменится потрясающим крахом и страшным провалом аферы всех этих проходимцев и лжецов...»

Пример неподкупной идеиной честности и беспредельной преданности идеям коммунизма являл собой и другой бакинский комиссар, Мешади Азизбеков.

Выходец из богатой семьи, получив высшее образование в царском Петербурге, он нашел в себе силы порвать все связи с породившей его средой и навсегда связать свою жизнь с трудовым народом. Участник революционного движения с 1890 года, он пронес через аресты и тюрьмы великую веру в рабочий класс и трудовое крестьянство. В Баку, по получению РСДРП, он создал боевую организацию мусульманских рабочих («Бейдаги Нурсерт», что значит «Знамя победы»).

«Мусульманская пролетарская демократия,— писал я о нем в 1919 году,— так хорошо знакомая с деятельностью своего вождя-революционера, с сознательным упорством посыпала Азизбекова в Совет рабочих депутатов... Но Азизбеков остался не только вождем и защитником интересов городского пролетариата; неизроя ни на какие опасности, ни на угрозы контрреволюционного «Мусавата», он ходил по деревням и селам, ведя энергичную социалистическую пропаганду в пользу Совета, связав тем самым терроризированный беками и ханами мусульманский деревенский пролетариат с революционными отрядами интернационального пролетариата».

Яркой звездой в великолепном созвездии бакинских коммунистов останется навсегда и Алеша Джапаридзе, прекрасный знаток закавказской жизни и души закавказского рабочего, председатель Бакинского Совета рабочих, крестьянских, солдатских и матросских депутатов.

«Кто из кавказских пролетариев не знал нашего Алешу?

Старые рабочие с особым энтузиазмом рассказывают, как он энергично и неустанно работал среди них, как организовывал рабочие профсоюзы и популяризовал идеи и основы научного социализма.

Молодые рабочие — рабочие второго периода жизни Алеши — отлично знают, как он совмещал одновременно три ответственных поста: он был председателем Исполкома Совета, комиссаром внутренних дел и продовольствия. Весь огонь, весь благородный порыв — он горел на революционно-созидательной работе... всюду вносил порядок, деловое оживление, честное отношение к своим обязанностям...»

С большой любовью и нежностью я вспоминаю всегда Ваню Фиолетова — сына бедного русского крестьянина, с юности связавшего свою жизнь с судьбами бакинского пролетариата. Участник знаменитой забастовки 1903 года в Баку, он не раз побывал в царских тюрьмах и ссылках. Вместе с Джапаридзе он был душой и подлинным организатором Союза нефтяных рабочих.

Все любили нашего Ванечку за его молодую кипучую энергию. Мимо него не проходило ни одно крупное событие общественной жизни Баку. Он был везде...

«...Несмотря на слабое здоровье, сильно подорванное вечным скитальничеством, Ваня Фиолетов поражал своей неутомимой трудоспособностью. Весь окунувшись в работу, он почти не замечал ту подлую, предательскую паутину, которой враги собирались опутать его и его единомышленников...»

Григорий Корганов еще юношей, при царизме, вступил в нашу большевистскую партию. Находясь в рядах старой армии, он завоевал сердца революционных солдат кавказского фронта, после революции возглавил Военно-Революционный Комитет Кавказской армии, а затем стал народным комиссаром по военно-морским делам Бакинской коммуны и командующим Кавказской Красной Армией.

Этот твердый и принципиальный революционер, выдающийся полководец, обладая обаятельным характером, был душой обороны советского Баку.

Жизнь каждого из 26 бакинских комиссаров — это яркая страница истории нашей Революции, нашего государства — великого братского многонационального содружества людей труда.

Да, жизнь таких людей, как Шаумян, Азизбеков, Джапаридзе, Фиолетов, Корганов, Петров, Полухин, Везиры, Зевин, Амирян, Берг, и других бакинских комиссаров, людей семи разных национальностей, которых Октябрьская революция сплотила в единое интернациональное братство, должна стать школой воспитания новых подрастающих поколений строителей коммунизма. Продолжать их славные революционные дела, их традиции, воспитывать в себе все те качества, которые так великолепно были воплощены в этих замечательных революционерах,— одна из первейших задач нашей советской молодежи.

Возвращаясь к своим воспоминаниям 1919 года, я должен сказать, что тогда день чествования памяти погибших вождей бакинского пролетариата стал днем массовой демонстрации торжества идей коммунизма в Баку. Мы воочию убедились, что дела и образы наших незабвенных друзей были живы в сердцах бакинских рабочих. Их жизнь и их великие революционные дела вдохновляли рабочих на дальнейшую борьбу за победу коммунизма. Они по-прежнему были с нами, они жили среди нас и вели бакинский пролетариат вперед. Каждый из нас, коммунистов, не мог не радоваться этому от всей души.

Коренные изменения, которые произошли в расстановке политических сил в Баку, хорошо понимали и наши враги. Но мы не упивались первыми успехами: достигнутый уровень рабочего революционного движения ставил перед нами, руководителями, исключительно высокие требования. Надо было стоять в главе этого движения.

БОРЬБА ЗА МАССЫ

Радостные и возбужденные собрались мы вечером того же дня в Бакинском комитете партии. Делились впечатлениями, давали оценки, высказывали прогнозы. Нам стало совершенно ясно, что необходимо развернуть еще более активную работу по созданию крепких партийных организаций во всех районах. Надо было переходить к завоеванию руководящего положения и в профсоюзах, взять под руководство партийных органов рабочие клубы во всех районах, превратив их в базы для развертывания массовой политической работы среди рабочих,

и вместе с тем использовать их как пункты связи и явок партийных организаций районов и предприятий. Нужно было во что бы то ни стало добиться связи с Астраханью, а через Астрахань — с Москвой, с ЦК партии.

До этого мы не получали указаний от руководства ни из края, ни из Советской России. Нам приходилось, как говорится, «вариться в собственном соку», самим определять свою тактику в ходе развивающихся событий, принимать самостоятельные решения. Нам казалось, что в общем-то мы не допустили больших ошибок, но это был, конечно, наш чисто субъективный взгляд. Ненароком мы могли допустить ту или иную серьезную ошибку в руководстве развернувшимся массовым движением в таком крупном промышленном центре, как Баку. Нельзя было забывать, что против малоопытных бакинских руководителей рабочего движения стояли материальные заправили нефтяной промышленности, буржуазно-помещичьи деятели азербайджанского правительства, прожженные лидеры соглашательских партий и, наконец, представители «цивилизованного» оккупационного английского командования.

События поднимали нас на новый, значительно более высокий гребень революционной волны.

В апреле на одном из заседаний Бакинского комитета партии я неожиданно узнал, что товарищи уже давно создали при Бакинском комитете партии боевую группу.

С одной стороны, это меня обрадовало. Но, с другой стороны, я был поражен, когда на заседании комитета стали выступать участники этой группы товарищи Гигоян, Ковалев и Алиханян. Они рассказали, что группа их организована хорошо, что у них имеется солидный запас оружия и надо лишь решать вопрос о том, когда начать вооруженное восстание для захвата власти в Баку. Еще больше меня удивило то, что многие члены партийного комитета поддерживали предложение о восстании. Мне показалось даже, что большинство членов комитета партии могут тут же проголосовать за это предложение.

Все это поразило меня. Положение, сложившееся в Баку, исключало всякую возможность успешного восстания в тот момент. Поэтому я резко выступил против этого предложения. Разгорелись острые споры. Я стал задавать членам боевой группы вопросы: сколько человек состоит в их группе, сколько и какого рода имеется у них оружия и т. д. Товарищи отказались отвечать на эти вопросы, заявив, что на таком широком заседании — с точки зрения конспирации — недопустимо называть все эти цифры и данные.

Тогда, не желая оспаривать этот справедливый принцип конспирации и одновременно стремясь дать товарищам возможность еще раз продумать эти вопросы в более спокойной обстановке, я предложил создать комиссию, поручив ей уточнить все эти данные. После долгих споров члены комитета решили комиссию не создавать, а поручили мне вместе с боевой группой проверить эти данные и свое мнение доложить на следующем заседании комитета.

Из боевой группы я лично хорошо знал Алиханяна — бывшего моего школьного товарища и близкого друга. Он был моложе меня на два-три года. Как преданный революционер, он пользовался у меня большим доверием. Правда, я знал, что Геворг Алиханян в юности увлекался анархизмом, читал много анархистских книг. Но то были «увлечения молодости», хотя в его характере было немало элементов

бунтарства. Гигояна я не знал. Когда я с ним познакомился, то выяснил, что он — бывший комиссар Красной Армии, был арестован вместе с бакинскими комиссарами в Красноводске, сидел в тюрьме. Из красноводской тюрьмы его освободили несколько раньше нашего возвращения в Баку, и, когда мы приехали, он уже месяца два работал там в подпольной партийной организации. Он был на несколько лет старше меня, служил в старой армии и считался достаточно опытным подпольщиком. Третий член боевой группы, Ковалев, был старше всех нас. Он прибыл из Петровска, где работал в Дагестанском обкоме партии. Выходец из партии максималистов, он и теперь придерживался несколько анархистских, левацких взглядов.

Когда вместе с этой тройкой я стал разбираться со всеми их делами, то приходилось просто поражаться, как можно было говорить серьезно о восстании при том ограниченном количестве оружия и столь малочисленных людских кадрах, которыми они располагали. Я стал их упрекать в несерьезном, авантюристическом отношении к подготовке вооруженного восстания. Они стали оправдываться, заявляя, что основная их ставка — на большевистски настроенных военных моряков. Но и этот аргумент не выдерживал никакой критики, потому что значительная часть военных моряков была к тому времени арестована, многие разоружены, а некоторые где-то скрывались. Законспирированных же моряков, еще не выявленных в военном флоте, было не так уж много. Моя «тройка» хотя и не сдалась, однако по всему было видно, что в душе все они сознают несостоятельность своих позиций.

На заседании Бакинского комитета партии в присутствии этой тройки я заявил, не раскрывая деталей, что у боевой группы нет реальной силы, способной на вооруженное восстание, и высказал свое мнение и о политической стороне этого вопроса.

Если бы, говорил я, у нас и было достаточно вооружения и боевых групп, то и тогда организовывать в данный момент вооруженное восстание для захвата власти было бы авантюрией, которая могла закончиться только одним — полным разгромом нашей организации. В составе Рабочей конференции немало меньшевиков и эсеров. Руководство профессиональных союзов в большинстве случаев тоже пока находится в их руках. Партийные организации в районах еще не созданы. Правда, настроение у рабочих боевое, но должной их организованности нет. Мы не имеем никакой связи ни с ЦК партии, ни с краевым комитетом в Тифлисе. Северный Кавказ и Закаспий находятся в руках контрреволюции. Одна Астрахань советская, но с ней мы никак не связаны. Мы не в силах сейчас сами одолеть имеющийся в Баку пятнадцатысячный гарнизон английских оккупационных войск и несколько тысяч азербайджанских солдат. А когда Советская Россия сможет прийти к нам на помощь, никому из нас не известно. Таковы были основные положения моего выступления.

Поэтому, заканчивая свою речь, я предложил, чтобы боевая группа продолжала работу по сориентации сил и оружия, а вопрос о вооруженном восстании был отложен до более подходящего времени.

Мне показалось, что члены комитета партии не только согласились со мной, но даже были довольны такой постановкой вопроса. По всему было видно, что «боевая тройка», состоящая из людей весьма напористых, но несколько забегающих вперед, оказывала до сих пор определенное влияние на членов партийного комитета. Наш разговор «начистоту» помог членам комитета избавиться от этого влияния.

(Продолжение следует.)



ТЕАТР

Рена Шейко,
Нина Плеханова

УЛНОВА

По утрам мы проходили глубокими театральными коридорами мимо комнат с звонящими телефонами, мимо артистических уборных, пахнущих гримом и духами, мимо группой стоящих контрабасов, в юбках, застегнутых золотой мелкой пуговкой; мимо статистов, певиц, массажисток, гладко причесанных актрис кордебалета с неестественно вывернутыми ногами; мимо сцены, ее дневной темени, тайны, сквозняка в ноги... мимо, мимо всего этого — и к узкой белой двери, перед которой все входящие оставляют свои титулы народных и заслуженных, сбывшиеся триумфы, блеск, мировую славу, обретая одну только равноту перед никогда не прекращающимся ученичеством, перед трудом, скрытым от соглядатаев.

Репетиции начинались с медленного возникновения в дальних дверях зала аккомпаниатора Надежды Степановны и через несколько торжественных минут ее приближения к роялю, когда мы хорошо успевали рассмотреть ее высокую фигуру, седину, высокопарность обветшалого банта, ее ноты, восковую лохматую пачку, которые она наставнически озвучивала уже нескольким поколениям балерин.

Уланова в этом зале, кажется, всегда была.

Кто-то из ее учениц приходил сюда после «класса», то есть откуда-то из соседнего зала, где только что вместе с другими отработал свою дневную норму прыжков, верчений, сгибаний и полетов под акцентированный, с музыкой, счет: «и-р-раз, и-два, и-три!..». И теперь предстояло повторить с Улановой, вернее, перед ней, то, что танцовано в спектаклях де-

сятки, если не сотни раз, и танцовано так, что, кажется, нет уже техники: такой воздух танца!

Нина Тимофеева, совсем не помня про гремящие аплодисментами залы и про бесконечные вызовы — спустя спектакли! — надевала податливую черновую пачку «Жизели» и шла на середину белого пола, чтобы повторить все тот же восторг существования, любовью подаренный и ею же отнятый вместе с жизнью.

— Корпус повыше, на себя, держи, держи! И прыжок делай на повороте, тогда он легче выглядит, — говорила Уланова. Она стояла спиной к зеркалу, прыгая, в голубеньком английском костюмчике, не сводя сосредоточенного взгляда с танцующей. — Руки после прыжка должны пройти медленнее, незаметнее.

Или она замечала:

— Ты очень глубоко приседаешь. А надо легко, легче: присела — и одно из другого пошло... Когда ты стоишь спиной, почти уже приставляешь ногу (показывает), то руку держи впереди себя, а не скобку.

И снова хорошо показывала ошибку, едва-едва шаржируя ее, но как-то нежно, не нарушая скромности.

Говорит Уланова негромко, приветливо, но всегда сдержанно, даже с близкими людьми. Спустя и десяток репетиций не припомним, чтобы была она как-то особенно оживлена или, наоборот, в дурном расположении духа. Чтобы ее сердили, выводили из себя чьи-то неудачи. Но сдержанность, которую легко можно было бы принять за равнодушие и даже холодность, означала, как мы потом убедились, редкую силу ее натуры.

— И лучше не всю спину держать, а только вот этот кусочек. Попробуй еще раз!

Уже совершенство, уже, кажется, лучше нельзя, невозможно, немыслимо.

— Нет, нет, руки «через верх»! Арабеск, руки «через низ»... Положи их мягче, плавнее...

В какой-то из дней не ладилось у Володи Васильева. (Они репетировали с Максимовой дузтную партию.) Не слаживалось до такой степени, что мы, столько раз вместе со всеми испытавшие в спектаклях молодую власть его таланта, теперь, на репетиции, боязливо думали: полноте, да как же сам он — такой весь в ошибках — решится танцевать? И ведь, боже мой, это не премьера, а «Дон-Кихот», в котором он вот уже десять лет триумфатор бессменный?..

Адски пролетев на высоте, ногой вперед, в два прыжка взяв огромность зала, он садился на скамейку, сидя на себе. И, посидев с минуту, вставал и снова пробовал. И снова отходил к стенке, мрачнея. Он был весь в черном: черное трико, черное коротенькое фигаро, завязанное узлом повыше живота; и над этим стройным, мускулистым, высоким телом — есенинская русость растрепанной головы.

Катя Максимова перед ним прокрутила тридцать два фуэте, от которых тапочки сразу сгорели вдребезги. Побежала к скамейке и, встав на нее по-детски коленками, дышала большими судорожными глотками, а вся спина залита была потом. Уланова сидела на той же скамейке, очень спокойная, спокойноглазая, постукивая туфелькой по полу. Потом встала, прошлась в глубь зала, как в глубь леса. И было в этом отдалении милосердие не смотреть, когда близкому тяжко.

Но, возвращаясь, она сказала аккомпаниатору:

— Надежда Степановна, будьте любезны, еще раз, это место третьего действия: та-та-там — пай-йям!

И обратилась к Кате:

— Фуэте было хорошее, а дальше хуже, мажешь...

Вверху и внизу слева:

Галина Уланова, Екатерина
Максимова и Нина Тимофеева
на репетиции.

Фото А. Макарова.

Внизу справа: Екатерина
Максимова.

Фото Л. Жданова.



Пируэт не так резко, растяни... (очень тихо). Еще раз...

Откуда, кажется, силам взяться, когда и тот пируэт был, как последний, на такой отдаче!

У Максимовой на репетиции, когда она без грима, голубенькое личико, косая челка, всем обликом — ребенок, подросток. Когда она стоит посреди голого объема зала, то кажется, что вся его огромность давит ей на плечи.

Силы приходят с первым звуком; силы и совершенная власть над телом, могущим все! Тут понимаешь, что прежде, собственно, была лишь иллюзия неуспеха; для других бы начисто, для них черновик; форма, еще чуть-чуть не вылеченная от бесформенности; изъян малейшего изгиба пальчика, линии спины, шеи...

Детское треугольное личико размыто в музыке. После преодоления — в жажде невозможного и потому возможного достигая — легкость, полет, воздух танца!



Но как они, Нина Тимофеева, Катя Максимова, Светлана Адырхаде, теперь солистки, примы, знаменитости, стали ее ученицами?

Максимова «с пеленок», ребенком, подающим большие надежды — прямо из хореографического училища, десять лет назад. И с тех пор все роли делала с Улановой.

Адырхаде заметила на осетинской декаде. И вскоре ей предложили становиться Одетту — Одилию в Большом театре.

Баловни судьбы...

Впрочем, нет.

Среди них трех была девочка, узколицая, смуглая до бледности, некрасивая. Но, обряженная в лебединые перышки, вдруг до чудной красоты преображавшаяся.

Эта девочка три года танцевала в Ленинграде. То дадут — раз в месяц даруют! — Одетту — Одилию, сольную, как для достижения вершины, то назавтра в том же «Лебедином» стоишь кордебалетным лебедем «у воды». Или вообще в «Дубровском» канделябр держишь...

Был день: приехала с вокзала, встала с чемоданчиком перед Большим театром. И ничего и никого больше нет во всей Москве. Только есть: Большой театр. Где Уланова... И куда скоро придет Юрий Григорович.

Койку снимала на Метростроевской.

«Уланова меня заметила,— говорит Тимофеева.— Она оглушила меня счастьем, сказав, что согласна со мной работать. Некому было становиться в «Дон-Кихоте», она предложила мне. Она стала отбирать из нашей работы то, что считала верным. В танце миллион вещей отвлекает! Как ногу поставил? Как тело повернуло? Как «форс» держать? Как в пируэте не упасть? Тут она высший авторитет. Она все знает, все чувствует и понимает, как будто танцует сама... Но при этом она требует, чтобы непременно было и состояние, душа образа. Она говорит, если делаешь фуэте, то пойми, для чего это делаешь. Иначе будет пустота.

Уланова говорит: в танце философствуй головой, а не ногами. Надо пластику тела подчинить разуму и движением вести мысль. Труднее этого ничего нет.

Она никогда ничего не навязывает, не поучает, но говорит: «Ищи сама!» И я ищу. Я могу уходить с репетиций в кровавом поту. Как в тысяче движений передать полноту образа? Драматически сыграть танцем так отчетливо, будто выговорить словом... И я думаю об этом всегда: за рулем машины, за тарелкой супа, когда разговариваю со знакомыми, когда слушаю музыку. Ночью, когда не приму снотворного...

Однажды Святослава Рихтера спросил молодой музыкант: как сыграть эту вещь? И тот ответил: «Сыграйте, как рука у Рафаэля...»

Множество людей поучает в искусстве. Но человек великий говорит: «Сыграйте, как рука у Рафаэля...»

Вот так и Уланова.

Она ведет путем мысли. Но всегда исходя только из твоей собственной индивидуальности.

Она никого не творит по образу и подобию своему. Не лепит худших или лучших Улановых. Но предоставляет свободу стать Максимовыми, Адырхадевыми, Тимофеевыми... Она бесконечно доверяет нашимисканиям. Она спрашивает с нас по тем законам, которые мы сами себе ставим. И мы верим ей.

Уланова не педагог, не репетитор, не наставник в обычном смысле слова, но творец творцов».



Ведь чтó, к примеру, танцует Катя Максимова, будь то «Спящая красавица», «Дон-Кихот» или «Щелкунчик»?

Она всегда танцует приглашение к радости.

Детский лоб умудрен: она знает, что в мире много зла, лжи, предрассудков, житейской скучи, пошлости и чего-то еще пострашнее, что разъединяет людей. Но, право же, ведь и во времена Моцарта была чума, долговая тюрьма, напыщенная твердьня властьдержащих титулованных особ, мрачные кладбища, где безымянную бедность хоронили вместе с собаками. Но ведь и тогда взошло солнце моцартовской музыки!..

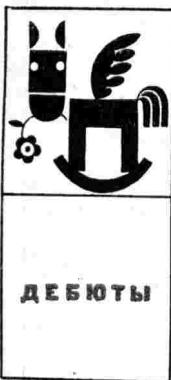
«Я улыбаюсь,—танцует она,— я непростительно, дерзки-счастлива. И, пожалуйста, о будьте так добры, войдите в эту радость вместе со мной».

Тимофеева вся в других красках. Они локальны, резки и дышат драматизмом. В громадном репертуаре «Асель», особенно любимая ею, стоит особняком. В этом хореографически очень сложном балете (она, с четырех — десяти репетиций делавшая все свои роли, эту мучительно готовила год) Тимофеева танцует нашу современницу. Она танцует ее непростую судьбу, страсть, отчаяние на грани смерти, утрату иллюзий, мужество выбора.

Сама личность, плоть от плоти своего времени, она такую же сильную личность танцует!



«И еще вот что, заметьте: нельзя сказать про Уланову, что она для нас сделала то-то и то-то. В прошедшем времени. Потому что конечности этого процесса нет (Тимофеева — нам). Она, например, меня учила, что основное в жизни — не терять трезвости в трудные моменты. Не осуждать горячих людей, но суметь их понять и относиться к ним с мудростью, не озлобляясь. Она такие вещи не говорит, она так живет! Она сообщает нам другое зрение на мир и на себя».



ДЕБЮТЫ

Катя Новицкая:

«Прежде всего — искренность»



Довольно трудно брать интервью у Кати Новицкой — 16-летней студентки («В октябре мне будет семнадцать») Московской консерватории, победившей недавно на конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Катя вся в музыке, и лучше всего говорить с ней именно об этом.

— Катя,— начинаю я,— как вам понравилась Бельгия?

— Там очень чуткая и отзывчивая публика.

К музыке, когда Кате было четыре года, ее приобщила мама. «Она тоже пианистка?» «Нет, как вам сказать, она любительница». В шесть лет Катю приняли в Центральную музыкальную школу (ЦМШ). «Окончилась, значит, ваша вольная детская жизнь?» «Да, но я об этом не жалею». Однажды на школьном концерте ее услышал знаменитый советский пианист Лев Николаевич Оборин. «Помню, играла что-то Шопена». Хотя Л. Н. Оборин в ЦМШ раньше никогда не преподавал, он стал заниматься специально с Новицкой.

— Вы даже представить себе не можете, я была так рада! И вот я уже четыре года, как учусь у Оборина: три года, еще числясь в школе, а последний год — уже как студентка Московской консерватории.

— Как приняли вас в Брюсселе?

— Я уже говорила о чуткости бельгийской публики. Мне было очень приятно играть.

— Кого из композиторов вы больше всего любите?

— Прокофьева. Это началось еще с детства, когда лет в девять я сыграла его «Джульетту-девочку».

— Согласны ли вы, что Прокофьев сложен для понимания?

— Наоборот, Прокофьев очень понятен даже детям. Они чувствуют его очень хорошо благодаря, может быть, какой-то особой, почти моцартовской солнечности его музыки.

— Кто ваш любимый исполнитель?

— Оборин. А если продолжать разговор о пианистах, то Софроницкий.

— Успех вам уже знаком, Катя. А неудачи?

— Серьезных срывов у меня не было. Хуже всего, конечно, когда не чувствуешь контакта со зрительным залом,— вот тогда мне бывает трудно. А еще это случается, когда исполнитель и дирижер (я говорю сейчас об оркестровых программах) по-разному смотрят на исполняемую вещь.

— На какой конкурс вы собираетесь теперь поехать?

— Я пока не собираюсь выступать на конкурсах.
— Почему?

— Программы конкурсов, как правило, однообразны, а мне не хочется играть одно и то же.

— Что вы считаете основным качеством музыканта и вообще человека искусства?

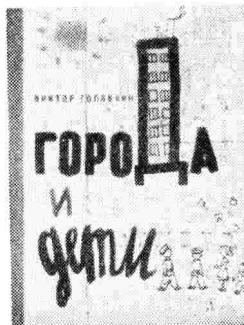
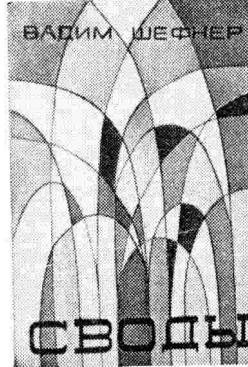
— В искусстве прежде всего важна искренность, иначе оно невозможно.

Интервью вел А. ПЧЕЛЯКОВ.

ДЕБЮТЫ.



СРЕДИ
КНИГ



Майя Данини развивает стиль, наметившийся за последние годы в прозе молодых ленинградских писателей. Особенности его уже ясно узнаются читателями: простота атмосферы повествования, подчеркнуто личная интонация, внимание к по-вседневности людских отношений.

Книга «Живые деньги» (изд-во «Советский писатель») открывается наиболее интересным произведением сборника — повестью «Дорога». Герои ее собираются поехать на юг. Долго, из года в год, поездка откладывалась. И вот, наконец, муж, жена и двенадцатилетняя их дочь заканчивают сборы в дорогу. Садятся в свою машину и едут. Поездка, привалы, мелкие дорожные происшествия, случайные встречи, города, отдых у моря и возвращение в Ленинград — таков несложный сюжет повести. По многим признакам это, пожалуй, даже очерки, в которых повествование развертывается подобно тому, как раскручивается лента шоссе, наплывающая на ветровое стекло автомобиля. Встречи с людьми во время путешествия и воспоминания детства под убаюкивающим гулом мотора превращаются во вставные новеллы.

Книга «Живые деньги» с не меньшим основанием могла бы называться «Живые вещи». У Володи, который самозабвенно ведет машину, она давно уже «стала его оболочкой», более того — его существом. Он не меняется на всем протяжении повести. Гораздо интереснее образ героини, от лица которой ведется рассказ.

У нее очень сложные отношения с миром вещей. То и дело встречаются фразы: «И веши кругом», «У меня полны руки вещей». Они стали содержанием сознания, пустили корни в нем. Мир сквозь них завесу кажется мельтешащим, раздробленным: мир в розницу. И, конечно, естественная реакция — избавиться от такого восприятия мира. Героиня повести не столько преодолевает расстояние на машине, сколько ищет в своем сознании преодоления уплотненной вещественности. Она хочет понять принцип детского восприятия мира. Поэтому часто уходит в воспоминания. Поэтому нередко вглядывается в дочь, для которой мир все еще гармоничен, а природа полна привлекательности.

Кроме повести «Дорога», в книге еще семь рассказов. Но я остановился именно на повести потому, что идеяней сторона каждого из рассказов имеет свои аналогии в «Дороге».

В. КРЕЙДЕНКОВ

Вадим Шефнер — поэт, о которых иногда говорят «негромкий». Вот и в новой своей книге «Своды» (изд-во «Советский писатель») он нигде ни разу не повышает, не форсирует голос. У него другое: тихо думать, видеть, слышать, помнить. Как правило, поэт берет какой-нибудь случай будничный, заурядный, но и за будничным, оказывается, можно многое увидеть, если посмотреть, так сказать, не со стороны, а в упор. Вот сносят старый дом — разобьешьнее дело: мальчишка

уже бьет из рогатки пыльные стекла. А поэт увидит в этом доме тех, «...кто в глубину погостя отошли на все века... (А под красной — метки роста у дверного косяка)».

Поэт, по его словам, идет
По теневой,
по непарадной
По ненаградной
стороне.
От мира глаз
не отрывая,
Всю жизнь шагаю
я по ней.

Одна из главных тем сборника — война, точнее, воспоминания о войне. Именно потому, что поэту самому приходилось в свое время бывать не раз на волоске от гибели и повидал он в свое время немало смертей и трагедий, на него «до сих пор военные сны, как пулеметы наяву». И потому, что земля до сих пор еще — «военная планета».

Общий настрой сборника немного грустный (особенно это касается стихов о природе и беззсловно лучшего стихотворения книги «Лилия»), но у Вадима Шефнера грусть — своеобразна и отказ от бесшабашного, бездумного оптимизма.

В. ДМИТРИЕВ

Мир детских книжек Виктора Голявкина вмещает такой поток живой реальности, столько глубоких движений души, что читатель, взрослея, продолжает открывать в нем новое. И делает это увлеченно — взрослые читатели Голявкина не редкость. Потому, например, что повести, рассказы и рисунки к ним

самого автора пронизаны юмором отличного качества. Свежим. Вневозрастным.

Новый сборник «Города и дети» (изд-во «Детская литература») объединил рассказы, повесть, путевые заметки. Рассказы есть в семи строк. Например, «Ех». Но всякие емкости ценны наполнением. И в семистрочном рассказе писатель не потратит строчки для скученного назидания. Облагораживающее действие, например, трагикомических «Серебряных туфель» сильное и без поучений, и в миниатюре Голявкин умеет вместить высокие нравственные ориентиры — самый простодушный читатель разглядит их за авторским лукавством, недоговоренностью.

«Замечательный парнишка, удивительный, редчайший!» — говорят о Сане Буртикове, герое повести «Ты приходи к нам, приходи!», гости пионерлагеря, перед которыми Буртиков пел, плясал, конферирувал, читал одно за другим свои стихи, начал фонузы показывать и показал бы, если бы подскочил из-за кулис вожатый и не стал что-то Сане шептать.

Голявкин говорит о Сане с улыбкой без нравоучительных педалей. Вот Саня обманул вместе с ребятами вожатого, не очень-то доброго человека, а вот комментарий событий, данный его другом Валькою: «Хороший у него (Сани) характер. Веселый такой, он так и не мог понять, что все-таки нечестно поступил. Он и этому так просто относился, как будто бы ничего и не было». Саня, бахвалясь, описывает, как... проиграла его футбольная команда нахимовцам. Почти рефреном — фраза: «Мы опять



переходим в наступление, но нахимовцы опять забивают нам гол».

Саня величественно смешон. А писатель... Он ничего, он дал человеку высказаться. Дневниковой записью Буртикова — капитана проигравшей команды — заканчивается глава «Матч».

В общем, герой пока ясен. А каким вырастет? Добрый по виду, а по сути холодным чинодарлом? «Смотрите сами, — улыбается в ответ автор. — Судите, а я... я ничего, описан, и все, а то, что вы что-то такое открыли и поняли, так ведь это ваше дело. Дело-то хозяйственное».

Л. БЕЛАЯ

О живописи прошлого века мы думаем в спокойном музейном порядке. Картины застыли на стенах Третьяковки и Русского музея. Остались давно и страсти, кипевшие вокруг них, вызвавшие когда-то их появление. Поэтому мы и сами частенько, проходя по залам, глядим на знаменные шедевры равнодушно-привычным взором, как студент на учебник только что сданной дисциплины.

Но когда на страницах книги развертывается поэтическое повествование о прошлом, воскресают не только дела давно минувших дней, но и наша способность различать за увлекательными сюжетами, за явлениями культуры живое борение человеческих страстей, поиски истинности, духовный мир мыслящей личности.

В книге Д. Сара比亚нова «Образы века», выпущенной издательством «Молодая гвардия», как бы снимается хроматоматический лак с известных картин,

обнаруживая их новизну. Читая ее, чувствуешь, как музейные залы гулко разносят голоса людей, спорящих и сомневающихся, терпящих поражения и одерживающих редкие, но великие победы над временем. Возникает мятущаяся, уязвимая для всех страданий века душа М. Брунеля и поиски В. Серовым светлой красоты и отрады, гигантская, экспрессивная и все еще не оцененная до конца натура Н. Ге и позднее творчество П. Федотова, насыщенное большими открытиями. Мы вместе с С. Щедриным совершаляем бегство из казенно-хмурого Петербурга в страну-мечту Италию, мучаемся трагедией «Великого Карла», терзаемся вместе с А. Ивановым, стоя у неононченного его полотна. Суть этих поисков и переживаний названа самим автором: «В те годы, когда волна за волной неслись события, изменившие облик России, когда рождались новые идеи жизненного переустройства и формировались силы, способные повести борьбу за него, художники становились истинными глашатаями этих новых идей, выразителями вена, творцами своей истории».

И. КУПЦОВ

Игорь Золотусский написал книгу «Фауст и физики» (изд-во «Искусство»). В конечном счете она не о герое Гете и не об учениках. Она прежде всего о нас с вами в той мере, в какой каждый еще живущий на земле человек задается вечными вопросами бытия и смерти и пытается вместе с Фа-

устом и Эйнштейном приблизиться к «конечному выводу земной мудрости». Такие размышления не одних философов привилегия — это вообще свойство развитого человеческого духа.

Книга И. Золотусского — о драме сознания и драме обстоятельств, которые так или иначе переживаем все мы, хотя порой и не подозреваем об этом.

Тот факт, что не подозреваем, существа дела не меняет. Драма все равно остается.

Человеку свойственно стремиться к жизни лучшей, чем она есть. «И он пробует преодолеть разрыв. И чего бы он ни желал при этом — клочка земли или свободы для общества, — это драма обстоятельств.

Драма сознания — это драма самой мысли, драма познающего духа... Конечны знания человека и бесконечны знания вообще. Человек при своей жизни (а он знает, что она у него одна) хочет знать всю истину. Но ему дано знать лишь часть истины».

В человеке эти драмы слиты нераздельно, ибо в реальной жизни невозможно оторвать мысль от практики. Другое дело — философия и поэзия. Они нередко прибегают к абстрагированию, разделению целого на части, чтобы отчетливее выявить смысл и душу предмета.

По такому принципу построена «Фауст» — позма философская.

Взяв за исходную точку трагедию Гете, автор книги ведет современного читателя путем ее героя.

Комментарий к «Фаусту» не носит литературо-творческого характера. И. Золотусского волнует проблема мировоззренческая: где исходит человек, который не в состоянии познать до конца природу и себя вней?

И тогда рядом с доктором Фаустом становятся ученыe XX века — Эйнштейн, Борн, Планк, Винер, для которых драма сознания разрешается в творчестве. Человек никогда не познает всего. «И ему остается одно — идти от незнания к знанию. Идти, ощущая, что шаг, который он делает, его шаг. Что до него этого шага никто не делал».

Иными словами, «важна битва за знание» (Норберт Винер), а не конечный его результат, который недостижим.

А драма обстоятельств? «Преодоление разрыва» здесь еще более заманчиво, ибо чело-

веку часто кажется, что оно может быть осуществлено еще при его жизни.

В широком общественном смысле ответ на этот вопрос дает марксистско-ленинская философия. В каждом конкретном случае мы обязаны решать его сами, своим личным поведением.

Здесь возникают не менее глубокие проблемы, чем при разрешении драмы идей.

Заочный нравственный спор Бруно и Галилея вновь вспыхнул в наши дни между американскими физиками Оппенгеймером и Теллером. Золотуский пишет об этом. Оппенгеймер, пережив Хиросиму, отказался делать водородное оружие. Он выбрал совесть. Теллер выбрал бомбу.

Проблема выбора — одна из главных моральных испытаний современного человека, преодолевающего драму обстоятельств.

Работа И. Золотусского не претендует на философские открытия. Ее сила в другом — в том глубоком чувстве, с которым автор пишет о человеке, рассматривая его как неразрывное единство творческого и нравственного начал.

Это бескомпромиссная книга. Она так и написана — стиль строг и академичен, фраза «отжата» до предела, до сухости. Иногда «афористичность» мешает — возникает ложная многозначительность. Но перед нами цельный характер, этого не отнимешь, а стало быть, его надо либо принимать, либо отвергать целиком.

Пусть читатель сам сделает выбор.

Но как же, однако, быть с «конечным выводом земной мудрости»? В чем он, и где выход из драмы существования, осознавшего себя конечным и неспособным разрешить главные вопросы даже для себя лично, не то что для человечества?

Выход — сама жизнь. «Это переживания и муки ее, это разрешение ее «старых» и «новых» проблем. На это человек кладет себя. На это он кладет весь свой срок, и это дает ему ощущение бытия — ощущение, которое пересиливает, пока он живет, чувство трагедии».

Ощущение бытия — великкая мудрость, делающая человека счастливым, несмотря ни на что.

Е. СИДОРОВ



Борис
Слуцкий

О ХАРМСЕ

В издательстве «Малыш» вышла книга. Спрашивается, зачем писать о ней в журнале «Юность»? «Малыш» издает для читателей от ноля до десяти лет, а «Юность» публикует для читателей от пятнадцати до двадцати пяти. Ответ: книга такая хорошая, что она для всех. О ней можно было бы писать и в журналах «Детство», «Отрочество», «Зрелость» и «Старость», если бы такие журналы были.

Эту книгу написал Даниил Иванович Ювачев, издававшийся под многими псевдонимами. Самый известный из них — Хармс. «Даниил Хармс» выставлено и на книге.

Я слышал множество рассказов о Хармсе от Н. А. Заболоцкого и С. Я. Маршака. Рассказывали о нем с неостыдившим восторгом. Видимо, Хармс был впечатлением из ряда вон выходящим.

Его стихи, его псевдонимы, его проза, его чуда-чества, его пьесы, его анекдоты о Пушкине, его анекдоты о Хармсе — это запомнилось.

Что же это в самом деле было — «Даниил Хармс»? Я его никогда не видел. Рассматриваю сейчас портрет — Хармс походил на чемпиона автомобильных гонок. Перечитываю стихи, которые потрясли меня в детстве. Как хорошо, что дети новейшего времени узнают Хармса!

Есть детские писатели, в том числе хорошие, у которых ум и ухватки педагогов. У Хармса — ум и ухватки мальчика, только необычайно умного, талантливого и веселого. Мальчика- заводили, естественного вожана своих сверстников.

Писатели-педагоги заботятся о том, чтобы ответить на вопросы ребенка. Это правильно и необходимо. Хармс сам задает вопросы. Он охвачен любопытством. Именно не любознательностью — свойством младшего школьного возраста, а любопытством — свойством дошкольников. Он всюду сует свой нос, как миллионы его читателей.

Писатели-педагоги вводят детское веселье в разумные рамки. Это правильно.

Хармс просто веселится вместе с детьми. Детский крик на лужайке, который он устраивает, бесценен только внешне. Потому что веселье — это форма счастья. Одна из самых важных форм. Ведь Хармс писал для возраста, от которого общество требует, чтобы он был здоров, весел и счастлив — и ничего более.

Хармс веселил и осчастливливал детей. Иногда слегка агитировал их против врунов и неумываков. Однако была в его книгах большая социальная польза — язык и стих.

Его читателей заливало половодье слов: звонких,

когда требовалось, новых. Они влезали в душу: читанное в восемь лет помнится и сейчас, в сорок восемь:

Иван Иваныч Самовар
был пузатый самовар,
трехведерный самовар.
В нем качался кипяток,
пыхал паром кипяток,
разъяренный кипяток,
лился в чашку через кран,
через дырку прямо в кран,
прямо в чашку через кран.

Слышать это — как выбежать под золотой дождик языка, русской речи. Сейчас вчитывается в эти стихи и понимаешь: они — новое слово в поэзии. Поглядите, какие рифмы, с какой дерзостью Хармс организует стих, троекратно повторяя одни и те же слова: самовар, самовар, самовар; кипяток, кипяток, кипяток; кран, кран, кран.

А тогда мне, восьмилетнему, просто казалось, идет золотой дождик, теплый, летний, дождик из слов или еще проще: слова вбегают в тебя, как снежинки в сугроб.

Вот начало еще одного стихотворения, «Игра»:

Бегал Петьяко по дороге,
по дороге,
по панели,
бегал Петьяко
по панели
и кричал он:
— Га-ра-рап!

Я теперь уже не Петьяко,
разойдитесь!
Разойдитесь!

Я теперь уже не Петьяко,
я теперь автомобиль.

А за Петьяком бегал Васька
по дороге,
по панели,
бегал Васька
по панели,
и кричал он:
— Ду-ду-ду!

Я теперь уже не Васька,
Сторонитесь!
Сторонитесь!

Я теперь уже не Васька,
я почтовый пароход.
А за Васькой бегал Мишка,

по дороге,
по панели,
бегал Мишка
по панели,
и кричал он:
— Жу-жу-жу!

Я теперь уже не Мишка,
берегитесь!
Берегитесь!

Я теперь уже не Мишка,
Я советский самолет.

Как эти стихи, если употребить термин Маяковского, сделаны?

Почему хореи Хармса так не похожи на хореи детского Маяковского, или Маршака, или на хореи «Конька-горбунка»? Какие обручи скрепляют стихи, в которых нет рифмы в обычном смысле этого слова? Как строгая симметрия в строфах позволяет забыть о нехватке рифм?

Поэтам — детским и взрослым — есть чему научиться у Хармса.

Книга «Что это было?» — самая большая из когда-либо выходивших книг Хармса. В ней собраны его детские стихи, и детская проза, и вещи, которые то бегут, как стихи, то отдыхают, как проза.

Последний в книге рассказ называется «Его звали — Даниил Хармс». Он написан составителем книги, главным хармсоведом Николаем Владимировичем Халатовым. Написан так, что читать интересно всем — от четырех до ста четырех лет.

Чего стоит одна история о том, как отец Хармса Иван Павлович Ювачев — моряк, потом народоволец, потом шлиссельбургский узник, потом писатель — переписывался с Львом Николаевичем Толстым, и, огорченный замечанием Софьи Андреевны о том, что Лев Николаевич «не любит ничего фантастичного», усаживал сына на колени и рассказывал ему одну фантастическую историю за другой?

У книги, изданной для малышей, — все достоинства академического издания. Читатели «Юности» — чей возраст как раз посередине между читателями издательства «Малыш» и читателями издательства Академии наук СССР — прочтут книгу с радостью.



Дмитрий
Рыжков

ДВАЖДЫ ДВА — ПЯТЬ

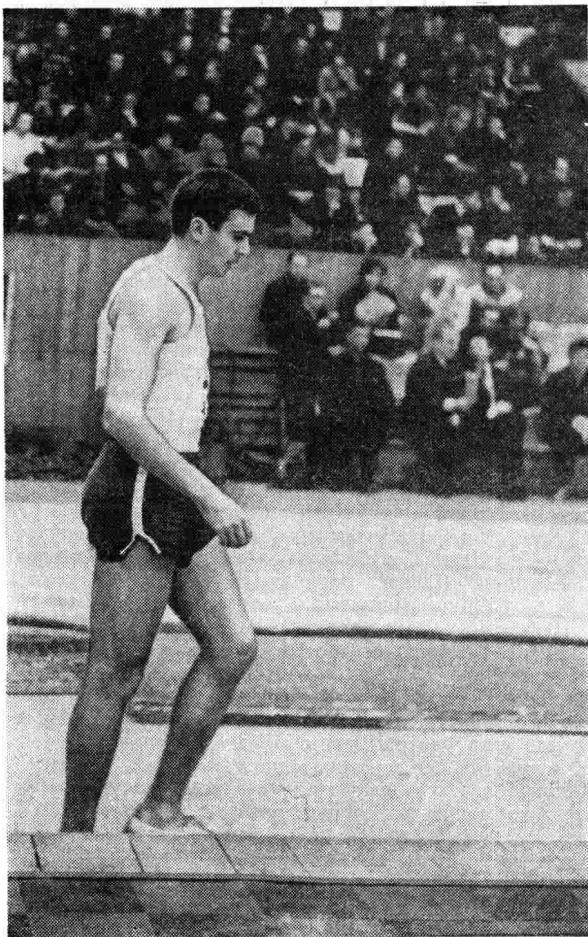
С толь же категорично, как таблица умножения, утверждающая, что дважды два — четыре, «знатоки» спорта не устают повторять, что сильному не страшны никакие испытания, что осторожность успеха не приносит и т. д. Ну, а исходя из этой «таблицы умножения», эти «знатоки» уже совсем просто выстраивают другую таблицу:

штангист А в этом сезоне три раза показал более высокий результат, нежели штангист Б, а потому штангист А получит олимпийскую медаль...
прыгун А в этом сезоне...
и так далее...

Разумеется, в каких-то случаях эти расчеты оправдываются. Но дело в том, что есть закономерности другого рода — психологические.

На Олимпийских играх, в частности, под влиянием этих самых таинственных сил человеческой психики начинают врать все и всяческие таблицы, и дважды два нередко равно пяти... Об этом мы и беседовали с Витольдом Креером, участником Олимпийских игр в Мельбурне, Риме и Токио. К поездке на свою четвертую Олимпиаду, в Мехико, Креер готовится уже как тренер.

В нашем разговоре о различного рода психологических парадоксах, естественно, прежде всего фигурируют имена мастеров тройного прыжка — того вида легкой атлетики, которому посвятил многие го-



ды жизни мой собеседник. Посему предваряю наш разговор краткой справкой.

Наши мастера тройного прыжка были всегда в числе сильнейших. С двукратным олимпийским чемпионом и рекордсменом мира бразильцем Да Сильва долгое время соперничал чемпион Европы Леонид Щербаков. В Риме вслед за поляком Шмидтом, успешно выступающим и по сей день, на пьедестал почета поднялись Креер и Горяев. А после Токио, когда ветераны уже сошли, уверенно заявили о себе новые прыгуны: сначала Золотарев, а затем Санеев, Дудкин, Куркевич. Эта четверка и готовится под руководством Витольда Креера к стартам в Мехико.

Так вот о психологических парадоксах. Креер привел по крайней мере три аргумента в пользу того, что дважды два порой равно пяти...

Первый:

— Высокие результаты, высокие титулы — это и груз, который давит на спортсмена.

Моя ребята боятся услышать что-либо вроде: «Что же ты, чемпион... Оказывается, и прыгать-то не можешь». Золотарев, так тот просто казнит себя, если результат неважный: «Я — и пятнадцать пятьдесят?»

На снимке — мастер спорта В. Санеев, один из четырех наших прыгунов, готовящихся к старту в Мехико.

Конечно же, он на метр дальше должен прыгать. И прыгает. Но с кем не бывает...

Золотарев в случае неудачи думает, что каждый встречный на стадионе только что по его адресу прошелся. И случись, что кто-нибудь так, мимоходом бросит: «Ну что же ты...» — и готово, убит человек.

Кстати, поэтому у нас многие опасаются «родных стен» — этой опоры футболистов. Правда, на легкой атлетике не силятся: либо аплодируют, либо молчат. И я, например, по тому, как трибуны ахнут, мог свой результат определить... Не глядя на табло. А если они, «родные стены», молчат, то невольно вспоминаешь, кто из знакомых сегодня собирался прийти, сколько раз придется выслушивать это: «Ну что же ты...» В общем, в гостях спокойнее.

Впрочем, лично я почти всегда выступал спокойно. Потому что в меня не очень-то верили. Никто, правда, не говорил об этом, но чувствовалось... Другие ребята — Ряховский, Федосеев, Горяев — рослые, сильные, а я... И я привык к тому, что надо спокойно доказывать свою силу. Есть своя выгода в том, что соперники не считают тебя фаворитом.

На Кубке Европы мы предварительно заявили двоих — Золотарева и Санеева, хотя выступать должен был один. Шмидт подходит, спрашивает: «Кто?» «Я», — говорю. Попнули, разошлись: он — разминаться, я — к Золотареву. А Саша выступать не может: дает себя знать травма. Я тихо — Санееву: «Витя, разминаешься...» В автобусе, по дороге на стадион, Шмидт весело так говорит: «Жарко. Я жару люблю». А Санеев (он сам из Сухуми) в ответ: «Некоторые еще больше жару любят». Невпопад сказал, неостроумно, но по-tonu я понял: «Готов. Полетит...»

Санеева никто всерьез не принимал, и, когда Золотарев пошел в сторону трибуны, все тройники — за ним: мол, наверное, туда нужно идти... А стоило Санееву улететь на шестнадцать шестьдесят семь, все стало ясно: медаль в кармане. Сыграло роль и то, что все киты собрались сражаться с Золотаревым, а на старт неожиданно вышел Санеев, и то, что Виктор имел худший в том сезоне результат среди финалистов. В общем, идеально все получилось. Если бы я всегда так мог разгрузить психику каждого из моей «великолепной четверки»!..

Груз того же самого «Как же ты?..» не раз делал неподъемной штангу Юрия Власова и висел на ногах у обладателя многочисленных рекордов и одновременно олимпийского неудачника Рона Кларка. А на Зимней олимпиаде в Grenoble жертвой собственных титулов, по-моему, пала чуть ли не вся наша олимпийская команда. Слишком многие из олимпийцев перед стартом слышали: «Ты же чемпион, рекордсмен. На тебя вся надежда...»

Второй аргумент:

— Часто мы забываем, что, кроме золотой медали, есть серебряная и бронзовая.

Вот в Риме мы, прыгуны, этого не забыли. А могло бы быть «Давай, давай!..» — и, попытавшись бороться со Шмидтом за золото, мы упустили бы и серебро и бронзу.

Правда, тогда мы поляку золото сами еще до олимпиады отдали. Показал он семнадцать три, и мы поняли: золота нам не видать. Шмидт — спортсмен волевой, стабильный. И нам оставалось только реально оценивать свои шансы.

Не подумайте только, что реально — это значит с оглядкой. Скажем, и сейчас кое-кто говорит: мол, Шмидт еще вам покажет, — действует, так сказать, гипноз имени. Но и я и ребята уверены — это трезвый расчет — в Мехико у Шмидта можно выиграть...

Я вообще не понимаю, как можно проигравшему спортсмену сказать: «Что же ты наделал?». Он отдал борьбе все. И если не получилось, это не его вина, а моя, тренера.

Встречаются, конечно, и «гусары». Но от таких мы избавляемся быстро. А я к ним, честно говоря, просто беспощаден... Был у нас в сборной Кравченко. Трудолюбивый парень. Стал чемпионом СССР. А потом... Он так приблизительно рассуждал: добился я всего — чемпион, член сборной, теперь можно и купоны стричь... Стриг — в развеселой компании — купоны он год. Терпели... Но в конце концов терпение лопнуло. И год-то зря терпели: если так изменилось у человека отношение к спорту, ничего из него не выйдет, никакого толку. Воспитание же такого рода — ты, мол, не пей, а, будь добр, тренируйся, — это не воспитание вовсе, а так, профанация...

— А ведь существуют тренеры, которые только и знают, что подхлестывать подопечных. Диктуют им, куда ногу поставить и куда мяч отдать...

— Есть и такие. Но все эти подсказки, они, по-моему, больше для самоуспокоения. Нет, если в тренировках (это я уже говорю как тренер) что-то недоработано, на соревнованиях кричи не кричи — ничего не поможет.

Жаль, что в тот день, когда мы беседовали с Креером, рядом не оказалось кого-нибудь из тех, кто этим же вечером в Ленинграде заставлял Вахонина тянуться за Фельди в европейском чемпионате по штанге. И в результате — ни золота, ни серебра...

Третий аргумент:

— Общая психологическая подготовка.

Она важна для всей «великолепной четверки». Особенно для Куркевича. В принципе-то они все четверо равны. Один сильнее в одном, другой — в другом. Но Санеев и Дудкин — оба бойцы. Такими родились. Золотарев тоже вырос, подвоспитался. А вот у Куркевича неуверенность просто патологическая. Никогда не знаешь, как он прыгнет. Поэтому что бороться разучился. Вообще спорт — это такое испытание характера, что лучшего не придумаешь. Тяжко это — готовиться годы, месяцы, недели, отказывая себе во всем. Но еще страшнее последние часы перед стартом: ждет человек, считает минуты... и ломается. Боязнь ожидания убивает.

У нас слишком часто полагаются на силу на качки, считая, что фраза: «Сегодня ты просто обязан победить!» — не может не вдохнуть в спортсмена уверенность. Но вот что интересно...

После выступления футболистов Бразилии в Москве в 1965 году врач-психолог бразильской сборной Гослинг увозил с собой пластинку «Подмосковные вечера».

— Отныне, — сказал он, — наши футболисты будут тренироваться под мелодию этой поэтической русской песни.

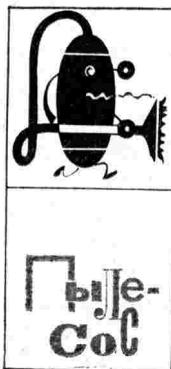
— Зачем?

— Считается, что в ней выражены основные черты русской души. Будущих же соперников надо знать. Изучать.

— С помощью пластинки?

— А почему бы и нет? Мои подопечные будут верить в то, что они знают душу или, если хотите, психологию ваших игроков. А уж знают ли они ее на самом деле, дело не в этом.

...Креер уклонился от олимпийских прогнозов. Но ясно, как дважды два — четыре (я, во всяком случае, в этом не сомневаюсь), что его подопечные привезут из Мехико... Впрочем, не будем гадать: ведь он только что доказывал, что дважды два может быть равно и пяти...



Марк Розовский

СЛАВА

Рисунок И. Бронникова.

Слава приходит неожиданно. Утром зазвонил телефон, и я услышал в трубке приятный голос:

— Алло! Это с вами говорят из Юго-Западного пароходства...

— Здравствуйте, товарищи моряки! — сказал я в трубку. — Чем могу служить?

— Видите ли... Мы вообще-то очень вас любим... И тут подумали и решили... если, конечно, вы не возражаете... если вы, конечно, в общем... хорошо к этому отнесетесь...

— Говорите, не тяните, — сказал я. — Что именно вы решили?

— Мы решили... мы решили... назвать вашим именем новый, только что спущенный на воду корабль...

— Ах вот оно что! — неуверенно промямлил я. — А не рано ли?

— Нет-нет. Самое время. Путаница еще не началась. И Пережогин в Африке.

— А кто такой Пережогин? — спросил я. — Он что, был бы против?

— Нет-нет... Товарища Пережогина мы бы всегда переубедили... Но без него нам как-то лучше... А капитан Харитонов будет за.

«Н-да, — подумал я. — Действительно... Когда еще у меня будет такой момент?..» Однако здравый смысл все же заставил меня ответить:

— Благодарю, конечно, но... я не заслуживаю... я не сделал в жизни еще ничего такого, чтобы...

— Как же не сделали, как же не сделали? — заволновался голос. — Нам лучше судить... И потом вы просто скромный человек... Мы наверняка знали, что вы будете отказываться!

— Честно говоря, я немного растерян...

— Да соглашайтесь, и баста! Не корову же прощаете. — Голос стал заметно настойчивей и грубее. — Скорее только, мы из автомата говорим!

— Право, как-то это все для меня неожиданно... А водоизмещение какое? — поинтересовался я вдруг.

— Двадцать тысяч тонн. Лайнер.

«Н-да, — подумал я. — Не часто мне такие звонки. И Пережогин в Африке. Редкий случай».

— А ход?

— Тридцать пять узлов. Двигатели дизельные.



«Ишь, черти, не могли электрические поставить. Я тут вкалываю, света божьего, можно сказать, не вижу... А для кого? Для себя, что ли?.. А они дизельные мне подсовывают, деятели!»

— Для вас у нас всегда, между прочим, каюта будет свободная. Избороздим с вами десятки морей! — Голос снова стал вежливым и приятным.

«Нет, нельзя мне от этого отказываться. В кои-то веки такая возможность. Нескромно, правда... Но ведь не я сам лезу... Мне предлагают!.. Чего ж я, дурак, буду идиотом?»

— Первый рейс намечен в Сан-Себастьян!.. В субботу уходим. И вы с нами тоже можете.

«Ну вот... А сегодня какой день?.. Понедельник. Успею. Но если соглашусь — одна беда: друзья ведь этого не поймут. Засмеют ведь меня друзья».

— А вообще-то куда захотите и когда понадобится... В любой момент без предупреждения... в кругосветку всей семьей. А?

«Ага, — думаю, — кругосветка — это хорошо. Жене моей это понравится. Жена моя любит кругосветки. И я к Сан-Себастьяну тоже хорошо отношусь».

— Ну, так что?.. Будете бороздить или нет?

— Видите ли... Я все-таки должен подумать, посоветоваться кое с кем. Я не могу вот так сразу. Это очень серьезный вопрос... Это большая ответственность...

— Ну, как хотите... Мы что?.. Наше дело — предложить!.. Мы можем и кому-нибудь другому!..

— Нет!.. Нет! — закричал я, испугавшись, что на том конце повесятся трубку. — Я согласен!.. Если вы так настаиваете и капитан Харитонов тоже за, я согласен!.. Будь что будет! Лайнер так лайнер!.. Лишь бы не баржа!.. Пусть весь мир узнает Марка Розовского!

— Какого Розульского? — услышал я вдруг. — Это разве не квартира товарища...

— Да... то есть нет!

— Ах, простите, мы не туда попали!..

Слава уходит тоже неожиданно. Но теперь я точно знаю звук ее шагов — короткие насмешливые гудки в телефонной трубке.



Я к вам пишу...

НЕ ПОД ТЕМ СОЛНЦЕМ КУПАЮТСЯ ДЕВУШКИ

*Открытое письмо Галки Галкиной
редакторам пекинской газеты «Гуанмин жибао»*

И право, не знаю, как начать... Обычно в моих письмах первыми идут слова: «Я к вам пишу». Но мне понятна вся бес tactность подобного обращения. Ведь это пушкинские слова, а, как известно, Пушкина вы уже давно разоблачили как черного автора, как буржуазного элемента, чья золотая рыбка не что иное, как ловко замаскированная акула империализма. Это убедительно доказано хунвэйбинами, которые уничтожили памятник великому русскому поэту в Шанхае.

В этом смысле мое положение действительно безвыходное. Каждое слово, которое «я к вам пишу», встречается у Пушкина, Горького, Стендоля, Ромена Роллана и других «современных ревизионистов» и «черных бандитов».

Я понимаю, вам было бы больше по душе, если бы я обращалась на языке ваших дацзыбао. Но тогда мне пришлось бы писать на заборе, употребляя соответствующую этому литературному жанру лексику, что, безусловно, затруднило бы перевод на китайский.

Поэтому приступим к делу.

Уже много лет со страниц вашей и других китайских газет не сходят имена виднейших писателей нашей страны, классиков и современных авторов, которых вы называете не иначе, как «ревизионистами», «черными писами», «собачими головами», «отвратительными чудовищами». А журнал «Юность», где я сотрудничаю уже тринадцать лет, до сих пор почему-то почти не пользовался вашим благосклонным вниманием,—так, иной раз между строк промелькнет знакомая фамилия, и только.

Работаем, работаем — и хоть бы хны! Ну, хоть бы раз предложили «размозжить собачью голову!.. Для вас же это пустяк...

И вдруг узнаю — свершилось!

В статье, кратко озаглавленной «ТРЕПЕЩА ОТ СТРАХА, СОВЕТСКАЯ РЕВИЗИОНИСТСКАЯ КЛИКА

БЕШЕНО АТАКУЕТ ШИРОКИЕ НАРОДНЫЕ МАССЫ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЛИШЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЯРОСТНЫЙ ИХ ПРОТЕСТ», ваша газета 10 мая наконец-то шарахнула и по моей «Юности».

Статья эта (почему-то анонимная, она дана как информация агентства Синьхуа) начинается так: «В последнем, третьем по счету журнале «Юность» за этот год советская ревизионистская клика выступила со статьей «Демоническая сила»...

Начало, прямо скажем, лихое.

Правда, в него вкрались определенные неточности. Дело в том, что «Демоническая сила» не статья, а фельетон, и автор его — писательница Наталия Ильина, о чем свидетельствует ее подпись в журнале,

Ну, да ладно, пойдем дальше.

«Смотрите! Вот оно, звериное обличье» (это еще раз об авторе, да простит меня Наталия Ильина за перепечатку).

«Яд ругани и проклятий в адрес советского трудового народа...» (это о стиле фельетона).

Наконец, «гневный голос рабоче-крестьянских масс Советского Союза...», «справедливый гневный голос широких масс трудового народа, выступающего против реставрации капитализма...» (это о двенадцати письмах читателей, по поводу которых Н. Ильина и написала фельетон).

Стоп! Что же это за фельетон, который вызвал такой поток браны и яростных политических обвинений? В чем, собственно говоря, мы провинились?..

В своем фельетоне Н. Ильина вела разговор с некоторыми читателями, приславшими письма в нашу редакцию и выступившими против картин, изображающих обнаженную натуру. Поводом послужила публикация «Юности» репродукции с картины советского художника А. Априля «Солнце, воздух и вода». В фельетоне «Демоническая сила» Наталия Ильина терпеливо объясняла не очень ис-

кушенным в искусстве людям их заблуждения, помогая разобраться в их сомнениях.

Причем фельетон этот отнюдь не редакционная программная статья или какое-то слово оракула, а выступление известной писательницы, имеющей право на свою личную точку зрения. Вот, собственно, и вся история обычной для юношеского журнала полемической переписки между писателем и читателями.

Так из-за чего же весь сыр-бор?.. При чем здесь «звериное обличье» и «реставрация капитализма»? Я еще раз взглянула на картину Априля «Солнце, воздух и вода». Картина как картина... Три обнаженные девушки на берегу реки... Ну и что? Здоровое, юное тело не может оскорбить нормального эстетического вкуса. Что еще на картине? Река! Смотрю на нее. Река как река... Течет. Над рекой — солнце. Не ревизионистское, не ренегатское, просто солнце. Обыкновенное солнце. Которое утром восходит на востоке и вечером заходит на западе.

Вот в чем дело!.. В солнце-то вся загвоздка! Не то солнце изобразил художник. Ведь существует одно, «самое-самое красивое солнце», которое никогда не заходит и расточает в Пекине свет своих «лучезарных идей» направо и налево круглые сутки в миллионах цитатников. А тут какое-то заурядное светило!.. Да, не под тем солнцем купаются наши девушки, явно не под тем!..

И все же напрасно «Гуанмин жибао» на них сердится... Девушки пришли к реке загорать, купаться. А под «солнцем», о котором только и пишут ваши газеты, загореть нельзя. Погореть можно.

И вообще спор из-за обнаженной натуры здесь абсолютно ни при чем. Когда-то все китайские газеты, включая вашу, поместили на первых страницах фотографию пожилого мужчины, переплывающего Янцзы. Купался он без кителя и без брюк, и те, кто плыл рядом с ним, тоже были обнаженными, если не считать цитат, которыми они обычно прикрываются.

Так что напрасно «Гуанмин жибао» ополчилась на Н. Ильину, писавшую в своем фельетоне: «Художники испокон веков лепили, рисовали, писали обнаженную натуру; пианисты играют гаммы, живописцы рисуют обнаженных — вот как обстоит дело...» Ваша газета считает эти слова «бредом», «несуразностью», «черным ревизионистским товаром» и во-

обще зачеркивает все, о чём «всплыла» статья в «Юности» (еще раз прошу у Натальи Ильиной прощения за эту перепечатку).

Ну хорошо, у каждого свое мнение, свой вкус. В конце концов я понимаю: вид юного женского тела может отвлечь население от созерцания портретов «Великого Кормчего». Но чем же тогда объяснить, что хунвэйбины заклеили своими хулиганскими дацзыбао фрески эпохи Сун (X—XIII вв.), где не было ни одной обнаженной фигуры? Почему разбиты памятники классического национального искусства XIV—XV веков в Летнем дворце? За что вы издевались над знаменитой картиной «Лошади на водопое» основоположника современной китайской живописи Сюй Бэй-хуна? А осквернение праха великого старца Ци Бай-ши, который всю свою долгую жизнь рисовал цветы, бабочек, птиц в национальном стиле гохуа?.. Какая логика может объяснить это? Ясно одно: вам безразлично все искусство. Потому что искусство вы правите людям, как выпрямляла Венера Милосская молодого русского учителя из рассказа нашего писателя-классика Глеба Успенского (о котором писала Н. Ильина и над которым вы издеваетесь в своей статье).

Выпрямляет! А вам, очевидно, нужен человек согнутый, ничего не видящий вокруг себя, кроме сияния «самого-самого красного», с головой, набитой его же «мудрыми изречениями». И только его. Поэтому что и Маркс вас уже не устраивает. Поместив в своей газете огромную, чуть ли не на всю полосу статью о фельетоне «Демоническая сила», вы даже не упомянули, что слова, вынесенные в заголовок фельетона, принадлежат Карлу Марксу и являются частью цитаты, которая полностью приводится в третьем за этот год журнале «Юность».

Повторим ее. Авось, на сей раз она до вас дойдет:

«Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий».

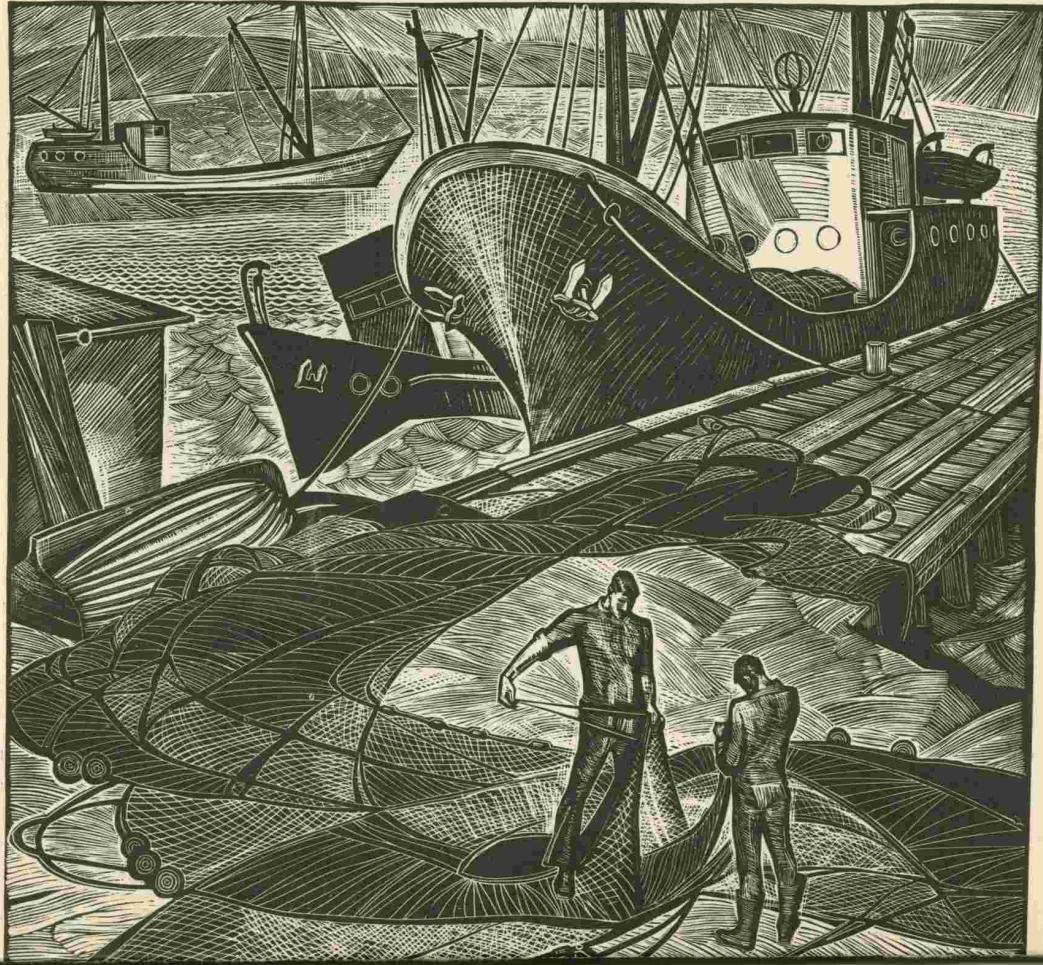
Как видно, слова Маркса оказались пророческими для сегодняшнего Китая.

Демоническая сила в Пекине правит бал.

Галка ГАЛКИНА

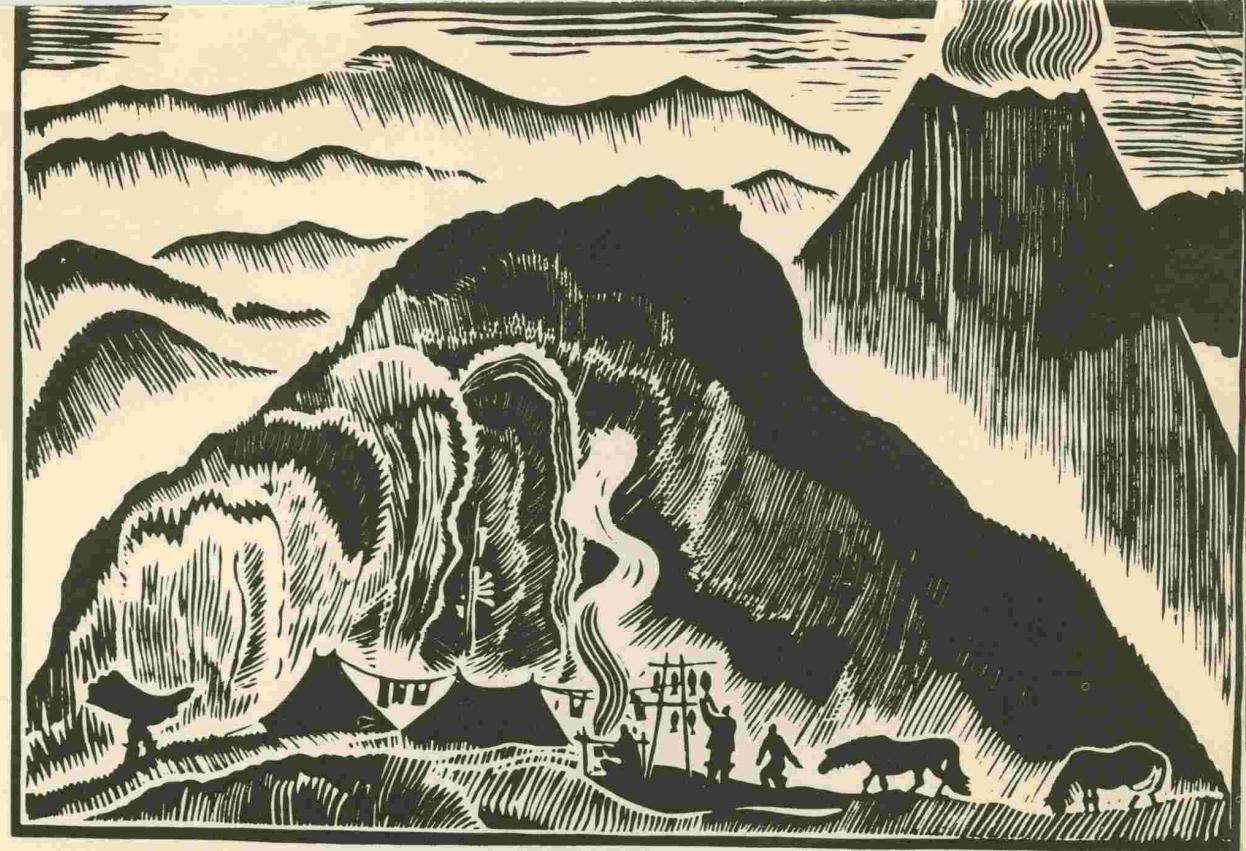
Ф. ЗИНАТУЛИН.

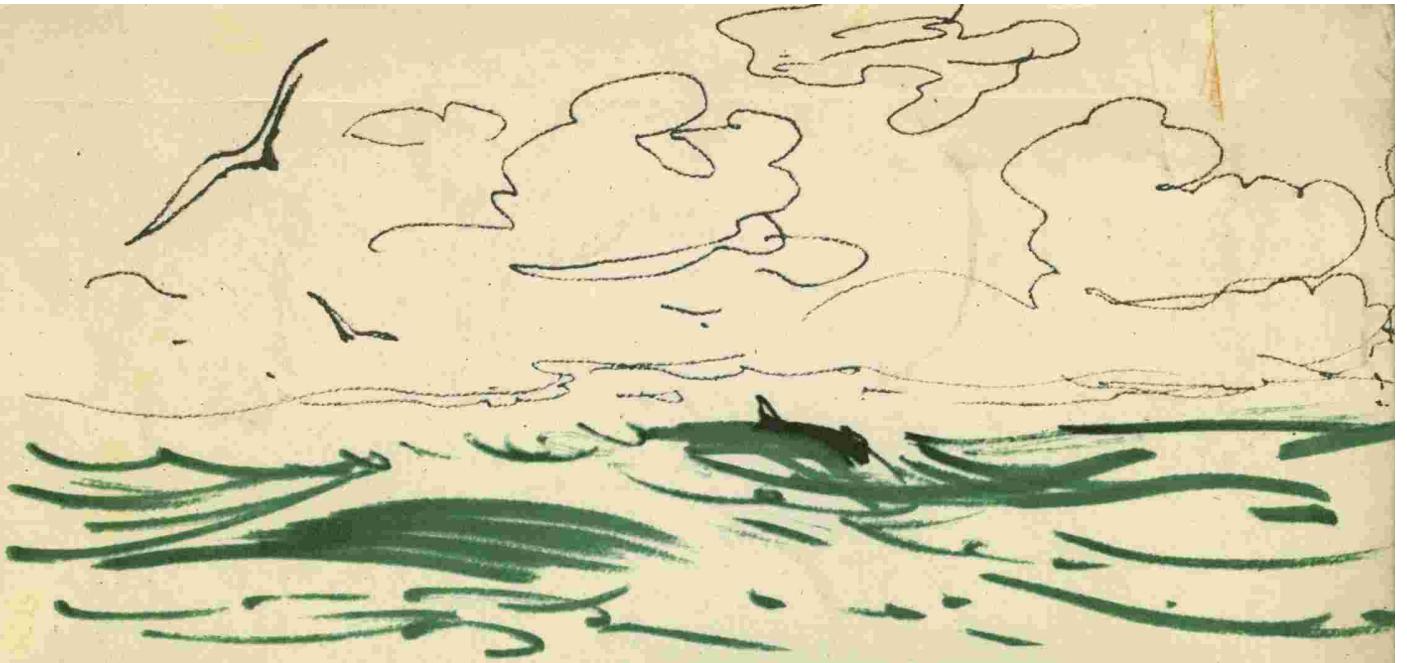
Приморские рыбаки (линогравюра).



В. ПЕТРОВ.

Геологи (линогравюра).





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ [зам. главного редактора], В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь],
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120